КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

АПРЕЛЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

ОТПЕЧАТАНО
в 1-й Образцовой типографии
Гиза. Москва, Пятницкая, 71.
Главлит А-9518. П. 13. Гиз 25880.
Заказ 790. Тираж 15.000 экз.

Тени стоящего впереди.

(Роман).

(Окончание).

Глеб Алексеев.

IX.

Глушков вернулся домой к вечеру, — в раскрытое, хлюпавшее под ветром окно наползла в комнату нежилая свежесть; на столе стыли неубранные чашки, — Надежды Борисовны еще не было.

От нежилой этой неуютности, от небрежности, с какой растыканы были по комнате вещи и предметы, стало даже весело. Глушков — разыскал щетку, — щетка оказалась засунутой под диван, вымел пол, убрал со стала посуду, прибрал кровать, — не без отвращения свернув желтые, давно не мытые простыни. Увлекшись, он ухватил было чайник, чтоб выйти в кухню, поставить на примус, но в коридоре у самой двери столкнулся с неизвестной, приземистой женщиной, равнодушно шаркавшей войлочными туфлями.

«Да — вот это! — подумал Глушков, подаваясь назад и плотно прикрывая за собой дверь, — это ведь тоже придется как-то регулировать». И он представил себе, чтó шепчут углы обоих учреждений. Странное дело:— но, сбившись в революцию в одну кучу, люди уже не могли разлипнуться. И немилая эта скученность, насильная сцепленность тысячей жизней тоже вырабатывала свои правила поведения, свою житейскую категорическую мораль. Хотя бы в эту, в данную минуту, собрались же в кухне женщины — в туфлях на босу ногу, в наспех накинутых платьях, в платках на нечесаных волосах, слепились в сторожкую овечью кучу, и говорят, говорят — говорят о нем; — и вот сейчас надо выйти, независимо насвистывая, в кухню, разжечь примус, попросить иголку для прочистки; — от этой дерзости они задохнутся, но гнев их в категорической морали немилой их сцепленности будет законен. Он чувствовал на себе: были как бы две жизни — одна для всех, — в строительстве, в работе, — другая для себя: — в нормированной тесноте, в кухне, в примусах, в человеческих отношениях. Строительство и работа стали иными, а человече-

ские отношения с их неписанными, жестокими жестокостью обычаев законами остались прежними.

Надежда Борисовна вернулась около восьми. Она вошла в комнату с мужской, развязной независимостью, как входит в свой дом рабочий после работы, знающий, что его ждет обед и отдых. Она не спеша сняла кепку и куртку, закурила, швырнув спичку в угол. Следя за полетом спички, Глушков подумал о том, что он только что вымел пол, а она и не заметила.

— Устала как чорт! — хрипловато и трудно сказала Надежда Борисовна. — А ты давно пришел?..

— Я недавно... ходил еще гулять...

— Ты обедал? Я ведь пообедала уже... Архип никогда не обедал дома! — она присела на кровать, резким движением заложив ногу на ногу.

— Нет, это же такие пустяки... — насмеливаясь, начал Глушков, чтобы сказать не об обеде, а о том большом, о чем надо сказать сейчас же, в этот первый день необычной их жизни.

Он подошел к ней, с доверчивостью положил на ее плечо руку, но она отвела руку и, как бы чувствуя, что не ему, а ей надо сказать первой, заговорила сразу и горячо:

— Саша, я много сегодня думала... И вот надо сказать о самом главном, и надо сказать сегодня же...

— Да, — обрадовался Глушков, — мы с тобой в сущности и не говорили... Так быстро, так катастрофически быстро все произошло...

— Архип — прав, — продолжала она глухо, — мы не имели права его обманывать... все это наше с тобой... — она опустила глаза, как бы стыдясь вчерашнего, — это наше с тобой завтра же поплыло бы по кухням, по общежитиям, а мы в жизни — и он, и ты, и, наконец, я, — добавила она строже, словно он мог не поверить этому, — мы не смеем быть смешными... Хотя бы в глазах друг друга... Мы строим не только фабрики и синдикаты, но и человеческие отношения.

Глушков с досадой отошел к окну, — в молочном месиве вечера уже зажглись неверным, подкошенным светом фонари, небо — как всегда перед ненужным апрельским заморозком — висело толстое, вымершее, все ниже, все тяжелее налегая на присмиревшие крыши.

— Ну, и пусть он прав хоть тысячу раз, — зло оборвал Глушков, — чорт с ним! Я хочу говорить о себе, а не о нем.

— О себе ты скажешь, — продолжала она с деревянной настойчивостью, — но сейчас надо говорить мне... Я молчала, когда вы оба, решая мою судьбу, не спросили меня: — чего хочу я? Вы оба, каждый посвоему, были честными, и оба принесли меня в жертву своей честности!

— Надежда Борисовна! — вскричал Глушков.

— Постой, Глушков... Мне, коммунистке, не к лицу напоминать тебе, коммунисту, о том, что я стою рядом с вами в жизни, но я напоминаю тебе об этом... Именно об этом я напоминаю тебе в первую очередь...

— Но кто же отрицает это?

— Жизнь! — сказала она глухо. — В революции мое место было рядом с вами, но революция кончилась... Жизнь принялась зализывать раны революции... Живая жизнь, — как часто говоришь ты... И вот в этой живой жизни с первого же дня не юридически, нет! — юридически за нами, женщинами, осталось то же место — в плечо вам, мужчинам, но водоворотом твоей «живой жизни», под флагом и во имя мирного строительства мы, женщины, вернулись к тому, что оставили во имя революции, что разбивали, что топтали из года в год! К очагу! Затушенный очаг семьи дымил, он погасал, и я — в силу атавистической привычки, — наперекор себе, раздула в нем огонь, притушенный мною же! Очаг так и остался в моих руках, и он уже засасывает меня до ног... не меня! — вызывающе усмехнулась она, — меня нет, — женщину! Постой, не перебивай меня! — вскрикнула она, — я и так начинаю путаться... Я два часа просидела на бульваре, — ждала, чтоб ты пришел раньше меня...

Она вобрала в себя плечи, стала маленькой и жалкой, как разогнувшаяся пружинка.

— О, как стыдно мне вчерашнего! Того, что я, как человек, не могла обуздать в себе женщину ни вчера, ни тогда в Крыму... И вот сейчас... Я ведь нарочно не убрала комнату!..

— Но это же пустяк! — рассмеялся Глушков.

— Нет, нет! Ты не воспользуйся этим... Ты видишь, я говорю тебе все! Но ты не воспользуйся моей слабостью, — ты выслушай меня...

— И не за себя лично, — в изнеможении продолжала Надежда Борисовна, — но с революцией во всех нас, в таких, как я, — решившихся женщинах, тех, что, закрывши глаза, пошли за вами, не спрашивая ничего авансом, — родилось новое, двенадцатое чувство... Не смейся надо мной, Глушков... Это оно выпрямило наши согнутые плечи, подняло вровень с мужской гордостью оттянутые материнством груди, самое нашу походку сделало хозяйской и крепкой. И что ж теперь? — спросила она оборвавшимся шопотом, и в этом придавленном шопоте, и в глазах, которые с усилием подняла она с полу, почувствовал Глушков какую-то новую, неизвестную ему, никогда еще не светившую из глаз женщины ненависть. — И вот теперь жизнь велит отказываться от того, что взято! Опять лезть в ярмо матери и жены! Начинать вить гнезда, садиться наседкой, счастливо кудахтать снесенному яйцу!.. Ах, Глушков, Глушков! Разве я не знаю! Я знаю все! Знаю, что тебя потянуло ко мне не то новое, что я пла́ча от радости, носила в себе как драгоценную каплю, боясь ее расплескать, а то, что вопреки моей воле пробивалось во мне страшным женским потоком... Ведь женщина, а? — с тоской спросила она, подходя к нему, кладя руки на его плечи. — Посмотри мне в глаза...

— Надя! — воскликнул Глушков.

Но она, не слушая его, качнула головой:

— Давно, не сегодня, не вчера это пришло... и не как женщина, — я хочу по-товарищески, по-человечески тебе сказать... Разве только за землю, за фабрики — мы вышли бороться?.. Вспомни праздник, — веч-

ный изо дня в день в самых суровых лишениях, всегдашний наш праздник на глазах смерти... Ведь каждый день мечталось: — только бы выжить, а выживем — начнется жизнь как праздник, — глазами к солнцу, а не спиной к нему... И вот мы победили — ты и я! И вот мы в жизни, а жизнь сильнее победителей... Нет, нет, — в страхе перебила она самое себя, — разве можно так говорить, — ведь тогда смерть?

— Говори, — завороженно прошептал Глушков, — говори о том, что не тенью, а солнцем должно встать в будущем...

— Ведь не комната... — продолжала она, — не в комнате дело... Ты не бойся: — я буду убирать ее ежедневно, ты придешь в нее — в чистую, в уютную, в ней не будет сора... Но из души, — как из души вымести сор? Пойми меня, милый, — вот я сижу с тобой, и я беру твою руку.. — она взяла его руку, положила себе на грудь, — я кладу ее на грудь, и видишь... видишь: — во мне растет женщина, потому что я положила твою руку на грудь, а не на сердце...

И в самом деле ощутил Глушков, как под его рукой грудь наливалась и бухла, как потухали ее глаза, — и тогда он крепче сдавил ее грудь рукой, и нагнулся к ней, захваченный неповторимым, и всегда таким знакомым порывом...

— И вот я чувствую, — просыпается во мне самое прекрасное, что дает жизнь всему, что нас с тобой — как ты сказал однажды — убережет в веках... И вот я падаю, — продолжала она, в забытьи прижимая его руку к груди и задыхаясь, — из меня уходит оно... То, что я не умею назвать никаким словом, то, что я подняла, как трофей, в битвах, что, может быть, еще прекраснее, чем сладчайший физиологический дурман...

— Дурман! — крикнула она, сбрасывая его руку с груди. Она пригнулась к его глазам, ища в них, как в реке, отсвета, и опять в ее глазах закипела желтая соленая ненависть, сущности которой Глушков не мог определить.

— Ну, будет... — сказала, наконец, Надежда Борисовна, закуривая новую папиросу, — ты хочешь обедать, не правда ли? Я приготовлю яичницу... Ты прости, — сегодня я заставила тебя голодать... Но завтра я буду варить суп...

Она отошла к стене, чтобы скрыть слезы.

— Ну, право же пустяки какие... И почему ты вспомнила про обед? Даже смешно!.. Хочешь? — я схожу в лавку...

И он с ласковой готовностью бросился за пальто. Но и здесь он хитрил: — он боялся женских слез, при них он становился беспомощным. Напряжение шло на убыль, — оно изойдет законной женской истерикой, и потому надо теперь же, пока она не расплакалась, — бежать прочь, чтоб не успокаивать ее первыми попавшимися словами, не жать ее рук, не гладить по ее волосам — жестким и тупым.

В этот момент в передней раздраженно зазвонил звонок: — два раза коротко и один длинно, как звонили к Бережным. Глушков вскинул глаза

на Надежду Борисовну, и по тому, как инстинктивно тронула она рукой волосы, Глушков догадался, что оба подумали об одном: — Архип.

Но в комнату уже входил Василий Петрович Лихобабин. Он был одет в совершенно невозможную крылатку, — рыжую, хлеставшую за его спиной, как сухое белье на заборе; в правой руке он сжимал палку. Василий Петрович снял шляпу и сказал ни к чему:

— А вот и я!

И, сказав, окончательно смешался, присел на диван, держа шляпу на отлете. Глаза его не мигая смотрели на Надежду Борисовну, рот под усами разъехался в улыбке, скалившей обломанные старостью зубы. Он задушливо дышал, словно только что поднялся на шестой этаж, и брови его при этом сходились к носу, как две воткнутых стрелы.

— Я пойду, Глушков! — сказала Надежда Борисовна и, улыбнувшись старику, добавила с иронической значительностью: — я принесу котлет...

Догадываясь, что старик пришел поговорить с ним о Тане, о том, что оставалось за плечами жизни, Глушков ее не удерживал. И все время, пока одевалась она перед зеркальцем, рассматривая наискось Глушкова, — еле уловимая, но странная, не женская висела на ее губах улыбка. Она вышла, прикрыв за собой дверь, и старик словно проснулся.

— Ну, батенька, и напугали же вы меня! — сразу заговорил он. Первоначальное, с чем бежал он по улице, ворвался с палкой — гнев, выпятивший его глаза и брови ткнувший к носу острейшими стрелами — выдохлось еще на лестнице. — Вчера вечером прибегает Танька — вся в слезах, сует вашу записку... Ну, знаете, это же ни на что не похоже... Это уж издевательство, а не шутка!..

— Это и есть не шутка! — подтвердил Глушков.

— Я так ей и сказал, — покорно смаргивая, согласился старик, и руки его опять сжали палку и шляпу, — я говорю, что это не шутка... Разве я не понимаю?!. Я и сам бывало, — заглядывая в глушковские глаза умоляющими, заслезившимися глазами, он иронически подмигнул, — уедет покойница к своим в деревню, я и сам то-сё... — он засмеялся нарочитым смешком, изображая, как он грешил в молодости, — знаете что?.. про меня так и говорили в гимназии, — ну, знаете, у Лихо́бабина не даром... хе-хе-хе... и фамилия такая... Лихой до баб, а?

Старик угодливо зарокотал меленьким, как гравий, старчески-шумливым смешком, похлопывая Глушкова по колену.

— Лихобабин, а! Подумать только, хе-хе-хе!..

И в смехе этом на его глаза выпала слеза, — ощущая ее тяжесть, старик захлебнулся.

— Но я всегда оберегал одно! Очаг... Быль молодцу не в укор, но очаг — не трожь! Очаг — святыня! Я так ей и сказал: — на очаг не посягнет! На очаг нельзя, а? — спросил он, срываясь, не в силах больше выдерживать прямой глушковский взгляд...

— Вот именно это и есть... — начал было Глушков.

— Разве я не понимаю... — продолжал старик, — верно, и мусальмане (он так и сказал: — мусальмане) они правы, а? Нельзя всю жизнь есть мясо, захочется и рыбки... Но раз есть дочь! Дочери... — вскричал он с ужаснувшей Глушкова тоской. — Я говорю ей: — я тебе сейчас не как дочери... не дочери, а вот объективно. Давай, — говорю ей, — объективно, а?.. Вот ушел человек от женщины, и уже не муж он женщине, нет... Но я, — так говорил я дочери, — не верю этому... Есть, — говорю, — философия прямой, неумытой жизни: — «да оставит человек отца и мать и да прилепится к жене своей»! Кто смеет встать к человеку ближе женщины, родившей ему ребенка?.. Танечка, — сказал я дочери, — ты неопытна в жизни, а я сед в ней и знаю: — не смеет перешагнуть человек через ребенка. И разве не верно? — Верно! Всего было вдосталь в революцию: братья расстреливали братьев, жена покидала мужа, и муж бежал от жены — но никогда не слышал я, чтобы сын мать или отец свою дочь предал! Нет, — замотал он головой, — не верю в самую возможность этого... И знаете что, товарищ Глушков? Что сказал своей дочери вот я, старенький старичек, который для революции сделал, быть может, даже больше, чем вы и Надежда Борисовна вместе взятые, которого вы же обокрали и выкинули за ненадобностью? Знаете, что сказал обокраденный старичек своей дочери?.. Он сказал ей, — с непереносимой торжественностью поддакивая себе шляпой и палкой, заговорил старик: — «Иди к нему, скажи, что ты — мать его ребенка... Забудь гордость, ибо когда уходит человек — десять раз останови его, прежде чем послать проклятие в спину»... Так нас, стариков, учила жизнь... И вот, товарищ Глушков, она заплакала, и по моей руке потекли ее слезы, и были они горячее льда. «Можно ли, — говорит она, — удержать человека, если он уходит? Но я прощаю, что он ушел, и не могу простить, что ушел с другой женщиной... Я дала ему все, что может дать женщина, — каждую его минуту, каждый жест стерегла как собака, всю себя принесла в жертву ему и его великому делу...» Глушков, запомните это! Не одному вам, — делу революции служила эта женщина через вас... И вот она дала вам самое большое, что смеет дать женщина — она дала ребенка... Маленькую белокурую девочку, которая, проснувшись сегодня утром, спросила: — где папа?

Слова у Василия Петровича трепыхались во рту как воробьи, одно догоняло другое. Глушков слушал его с напряженнейшим до недуга вниманием. Старик говорил о простых вещах: — о дочери, о жене, о привычном круге жизни, который вдруг вырвался из руки, будто камень из пращи. И вот под этот свистящий полет камня, который обязательно упадет, обязательно раздробит кому-нибудь голову, — пришел чудак доказывать законы параболы.

— Я бы сказал вам словом, которое ушло из нашей жизни, — продолжал старик, взмахивая шляпой, и Глушков невольно зажмурился: со шляпы облаками сдувалась пыль, — это слово — долг! Революция аннулировала наши долги перед жизнью, но значит ли это, что мы не должны самим себе и своим близким?.. Иди к нему, — сказал я дочери, —

взгляни в его глаза, не смеют моргать глаза человека, сопричастного величайшей в мире революции, и спроси его: — как же мне быть теперь в жизни?

«Как же ей быть в жизни?» — словами старика подумал Глушков.

— Утром проснулась девочка, подошла к столу, и, взявшись ручонками за край его, поднялась на цыпочках, а на столе ничего нет, — Таня проплакала всю ночь, и в комнате в беспорядке разбежались стулья, и не убрано, как перед отъездом на дачу. Нагнув голову, а на волосиках ее, безобидно-светлых, как пчелиный пушок, сигнализирует о девочкиной радости бант, — бежит девочка в колени отца, и отец видит только светлую, как пчелиный пушок, головку девочки. Когда-то и Таня бежала в эти стариковские, закапанные супом колени, — и так было от веков, и так шли века. Жизнь исходила кровью, революциями, войнами, люди создавали гигантские города, и разрушали их, люди создавали гигантские государства и свергали их — но всегда, во все века бежали девочки к коленям отцов, чтоб поздравить их с добрым утром, лопоча общим из века в век детским языком. Бывают в жизни человека минуты, когда веками настоенный на правде обжитых человеческих отношений мир вдруг приоткроет двери в мир иной, спящий за пределами понятного мира в самом человеке, и тогда в приоткрытые эти двери выглянет лицо единой правды, навсегда опаляющее глаза того, кто на нее посмотрит. И под взглядом этой правды маленькие человеческие истины разбегаются по углам как мешающие стулья, и нет сил собрать их воедино, чтоб опять в их комбинациях сложить человеческое лицо. И только тогда — в эти минуты величайших потрясений — вдруг начинает человек замечать, что органические и нажитые человечеством законы не совпадают, а трутся друг о друга, как жернова, и в этих жерновах перетирают человеческие души.

— Глушков! Дорогой товарищ! — в припадке смешной ласковости вскричал старик, дотрагиваясь до его коленей. И мы ведь тоже... мы тоже не умели обходиться без измен, без женщин на стороне, но в самой подлости мы умели сохранять оттенок благородства. Кому нужно, чтоб вы ушли, разбили жизнь Тане, дочери и себе? Да, да, да!.. — он закивал головой, словно разбивал ею камни, — не уверяйте меня... Главное — даже не вы, и не Таня, а оба вы — в дочери... А в этом случае... В этом случае самой жизнью предуказано спасение: — ложь!

— Лгать? Но кому же?

— Лгать всем... Я не смею посягать на ваши личные переживания! Надежда Борисовна? Ну, пусть Надежда Борисовна... Я не хочу даже говорить о ней! — и сейчас же с неудержимой ненавистью, от которой вскипали его усы, заговорил именно о ней. — Я не хочу говорить, что в ней и женственного только то, что надета юбка... Как вы не видите сами, что это даже не женщина, это просто — третий пол, который нагло влезает в жизнь?.. Вот жизнь идет, и мужчина бок о бок идет с женщиной, и это, наконец, не мое, а нового какого-нибудь Крафт-Эбинга дело рассказать,

что женщина, входя в мужскую жизнь, теряет женские черты, как это было в германскую войну в женских батальонах, или в революцию, когда женщина захватила ружье и портфель. Идет третий пол, отказавшийся от материнства во имя общественности. Он не хочет родить, он хочет делать жизнь! Он день за днем вырывает у мужчины его дела, лезет в тресты, на заводы, к власти, в трамвай... И вот! — с торжеством удачливого охотника захрипел старик. — Что они в общественности, в той, куда они уже влезли? Они нуль в общественности, — но это их дело... Пусть идут в сапогах, в кепках, с папиросами! Пусть крадут у человечества самое святое: — любовь и материнство, убивают поэзию и искусства, отменяют наряды и кружева — гибель свою они несут в себе же, в своей бесполости, и наше счастье в том, что они не рожают детей... Я пришел сказать вам о другом! Сказать, что вы...

— Ну, что же я? — с улыбкой переспросил Глушков, вплотную подходя к старику. Стариково лицо билось в неудержимом гневе, и пенснэ все спадало с носа, и старик машинально поправлял его, и оно опять съезжало с блестящего, потного носа. Забавно было бы сщелкнуть пенсне с противного этого носа!

— Я пришел спросить вас, — с достоинством выпрямился старик,— что вы намерены сделать с жизнью моей и своей дочери? Жизнь не игрушка, да!

Вот оно что? Старик допрашивал о том, на что Глушков сам себе боялся ответить. Он говорил с простотой, с какой говорят о котлетах, и не говорят о людях и их отношениях...

— Кто дал вам право допрашивать меня?

— Право? — изумился старик, топорща глаза, — жизнь!

— Жизнь?

— Да, жизнь! Жизнь — это одинаковый цвет крови! Жизнь — это утром умыться, пить чай, итти на службу!.. Жить — это родить детей и не бросать их под забором! Жить — значит, не мигая, смотреть в глаза человеку, который дышит одним воздухом с тобой... Кто сказал, что это отменено?.. Революция дала человеку белую булку к утреннему чаю, но она не отменила самого чаю... Пожалуйте пить чай! — сумасшедше поблескивая глазами, прошептал старик, — ибо пить чай вы обя-за-ны!..

— Глупости, — отвечал Глушков, пожимая плечами, — революция не смеет остановиться на полдороге и распивать чаи! Мы можем ошибаться и своими ошибками тормозить ее непреложное, ставшее механическим шествие, за эти свои ошибки мы будем гибнуть под ее колесами, но она будет, все будет и будет катиться через наши головы — до края, до неба, до господа саваофа. И как может остановиться она? Полноте, Василий Петрович! Разве не вы учили нас ненавидеть? Научившись у вас ненависти, мы сделали революцию. А сейчас мы хотим любить...

— Ну, конечно! Любите, неистовствуйте в своей любви, приносите в жертву себя... пожалуйста! Идите на пламенные костры, умирайте за счастье скопом, за новую мораль! Но не приносите в жертву других, —

жену и дочь! Не тащите их на мученический костер во имя нового бога, если они его не хотят...

— Я знаю свои обязанности по отношению к дочери и жене...

— Алименты! — с презрением вскричал старик. — Сорок рублей в месяц, и — квиты... Но ведь пока я! Пока я жив — пожалуйста, не беспокойтесь... Есть векселя, товарищ Глушков, по которым вам не заплатить... Девичью молодость не расценить на меру алиментов? Да позвольте же! Ужели и в самом деле умирает на земле человеческая порядочность, и можно людей, живых людей, выбрасывать, как негодные затертые тряпки? Не верю! Не верю! — в беспомощности потер он руками лоб, — она ведь придет сейчас? Она пошла за котлетами?

— Она сейчас вернется, — подтвердил Глушков.

— Александр Иванович, не милости, нет! не милости я прошу у вас... Ведь я только — обобранный, смешной старикан, которого из милости засунули в географию! Свет-то... блеснувший свет революции мне, как дохлой муже, опалил крылья. И вот, может быть, ни у кого еще, понимаете, ни у кого я так по-мушиному, как сейчас... Хотите — в пыль, на пол встану на колени, и лбом... глупым стареньким лбом буду стучать в землю, и не встану, пока не поймете, не исполните, что я по праву... по праву отцовства своего пришел требовать от вас...

И по тому, как разошлись в стороны его колени, и шляпа в решительной готовности отчаяния на унижение упала вместе с руками, Глушков понял: — не лжет, упадет на колени, будет неистово бить себя в растерзанную крылатку, разорвет рубашку на груди, и в рубашку проглянет старческая его, цыплячья грудь.

— Бросьте, Василий Петрович! — не дети мы с вами...

— Не дети, не дети! Но забудьте на одну только минуту про все: — про революцию, про мировые задачи... Ну, вот как я сейчас, закройте глаза... Не бойтесь же, — умоляюще прошептал старик, — закройте на минуту, чтобы не видеть, чтоб только слышать свою душу... ну, закройте же!

И, повинуясь его запальчивому безумию, Глушков прикрыл глаза.

— И вот теперь наедине с собой — подумайте! Подумайте на мгновение о теплой человеческой крови... о живой крови человека... Знаете ли, чем она пахнет? Или так много текло ее по вашим пальцам?..

Сквозь прищуренные веки Глушков видел, каким нестерпимым светом заблестели стариковы, ставшие по-вороньи желтыми и круглыми, глаза.

— Или так много текло ее по вашим пальцам, что вы перестали узнавать ее цвет?..

— Чего вы хотите от меня? — спросил Глушков, грубо, будто отбрасывая этим вопросом старика.

Старик качнулся назад, с нагловатой беспомощностью замахал на него шляпой:

— Что вы? Что вы?

— Чего вы хотите от меня? По какому праву пришли сюда?

— Пыль? — отвечал старик, щелчком сбивая пыль с ленты.

— А?

— Пыль набилась за ленту, знаете... — и жиденьким, бесцветным, как спитой чай, говорком заговорил о главном: — Я пришел просить вас о милости, что пройдет для вас, как дуновение ветра и вашей души не зацепит... Ах, товарищ Глушков, какая сложная вещь — человеческая душа!.. Давеча говорю я дочери: — «человеческая душа была сложна и раньше, когда держали ее в узле общепринятой морали, а сейчас она несется словно закусившая удила лошадь, и горе тому, кто сваливается под ее копыта»... «Зачем же, — отвечает мне дочь, — он выкинул меня как вещь, рассчитал резолюцией как курьера, — ужели, отдав ему молодость, я не заслужила выслушать приговор свой в лицо. Ведь это право не отнято даже у преступника, а в чем мое преступление перед ним?» И я не спорю, нет, нет! — боясь, что Глушков перебьет его, шляпой замахал старик, — я не знаю: — кто виноват? Пусть правы оба, пусть виновата она, если не сумела служить вашей цели. Но, товарищ Глушков, — если все женщины станут общественницами, пойдут по жизни плечо к плечу с мужчинами, кому ж тогда родить на земле? Или тем, худшим, — кому не по плечу мужской крест? Ведь ваша-то!.. Надежда Борисовна! Она только чужого... чужого ребеночка умеет погладить по головке! Верно, дорогой товарищ Глушков, от революции единственные у нас остались цветы — дети — и эти единственные цветы мы обязаны холить и растить... И не для себя, нет! Мне в этих цветах не жить! И дочери моей, которую растил я, как редкий любимый цветок, — не жить! А теперь и третьего — вашего ребенка — вы бросаете под колесницу будущего... Кому же тогда жить в алмазах революции, дорогой товарищ Глушков? Потомкам? Потомкам жить, но ведь и я в свое время ошибся в сроках. Верил, — не мне, так детям моим готовлю царствие небесное на земле. Но не пришлось и детям, — и эта вторая моя жертва была куда тяжелее первой... А сейчас вы хотите, чтоб я, обескрыленный жизнью воробей, принес в жертву детей моих детей, последнюю мою тень на земле?

— Но почему же?

— Постойте, постойте, — в упоении горечи продолжал старик, — вот бросили вы жену, оборвали все сразу, — никаких долгов ни ей, ни миру. А ведь у вас дочь осталась... Живое наследство! Без отца, — Тане самой придется зарабатывать хлеб, — следовательно, и без матери — примется расти новый, пущенный вами на землю человек, и ни одной каплей ласки не будет согрето его сердце!

— Василий Петрович! К чему эти педологические упражнения? — оставим это...

— Ну, конечно, конечно, — засуетился старик, — праздные вопросы, и не философствовать о жизни я пришел к вам... Кого же теперь убедить благородством, долгом, любовью к ближнему! Ближний покорно лег под ноги дальнему, — и вот идут по нем его братья, все ближние — заметьте, — идут в неистовой жажде подвига, ослепленные солнцем все-

:ловеческого счастья... Идут рабы счастья, и не знают, что каждый несет юе счастье в себе, расплескивая драгоценнейшее вино единственной :ловеческой правды: — «возлюби ближнего своего как самого себя»... цут и идут, не зная, что не в мыслях — как бы велики они ни были, — в крови людской — судьба земли. Так где же мне найти слова, чтоб оста-)вить безумцев? Они, даже не расслышав предостережения, пройдут по)ей голове, и глупая моя, стариковская голова треснет под их ногами как)буз. Я пришел умолять вас о маленьком, о возможном, — я никогда ичего не просил, товарищ Глушков, ни у вас, не у революции. А сейчас)ошу у вас о смелости, — чтоб хватило у вас смелости сказать в глаза ішей жене о том, что вас зовут иная жизнь и иная женщина. Ведь даже по ішей морали: — кто был всех ближе к вам, делил с вами молодость, унижения, бедность, кто помогал вам? Она придет сейчас? — опять забеспо-)ился старик, ухватывая Глушкова за руку.

И он побежал в угол, сорвал с вешалки глушковское пальто, — огля-ıваясь, потея от страха опоздать. И, поддаваясь вороватой этой торопли-)сти, холодея от мысли, что во второй раз в эти необыкновенные дни он подчиняется чужой воле, Глушков, не попадая, совал руки в болтавшиеся рукава, рвал подкладку.

— Верьте же мне, — вы придете домой, и ваша девочка заплачет от радости... да не дрожите же так! — зашептал старик, помогая Глушкову просунуть в рукав непослушную руку. — Разве уж такое малое дело — притти к человеку и вытереть ему слезы, и человек посмотрит на мир, который изломался в его слезах, сухими глазами?

Старик вился вокруг плеча, засматривал в глаза, и слова скакали у него во рту, перегоняли одно другое будто всполохнутые воробьи.

— Ну, где ж ее взять — радости для всех! Когда еще она засветит миру?.. И что ж тогда одному-то, — глаза выкалывать или слепнуть в ожидании? Или отменить? Издать декрет об отмене добра для отдельной человеческой единицы, если его не хватает для всех?

Ухватив Глушкова за руку, он повлек его к дверям.

— Ну, милый, мой, — лепетал он, — я ж как сына, да? Ты не верь, если я обижался... Мне трудно, — ох, как трудно не пригодиться тому, чему отдал жизнь! Но я снес это! Я простил! И дочь свою не кому-нибудь, нет! — я отдал дочь тебе, тому, кто обещал счастье в будущем, и не ей, заметь, а ее детям... Александр Иванович, милый — сейчас Таня сидит у окна, и окно раскрыто, и она плачет в окно. Разве хватит у нее слез, чтоб залить мир из окна?..

И он подвел Глушкова к двери и распахнул ее широко, как дорогу к добру, — когда в передней зазвонил звонок: два раза коротко и один длинно, как звонили к Бережным. Не выпуская глушковской руки, старик звериным жестом прихлопнул дверь и цепко, по-смертному сдавливал руку Глушкова в костенеющих своих пальцах, поехал вниз, на пол, теряя пенснэ, распластываясь крылаткой.

— Да постойте ж! — стряхнул его руку Глушков.

— Нет, нет! — залепетал старик, и глаза его вздулись поздней, пойманной злостью, — я не пущу вас... я же знаю, что вы — порядочный человек... — И вдруг вскочил на ноги, сжимая палку. — Пусть! Мне нечего больше терять! Хочешь? — в невозможном, в задушливом усилии пригибаясь к плечу Глушкова, спросил старик, — хочешь, я убью ее?

Он встал у двери в оскаленной позе героя, решившегося на подвиг. Звонок в передней прозвонил еще раз, и Глушков очнулся. Он сбросил пальто, повесил его и потащил старика от двери. Старик упирался, подошвы стареньких его ботинок заскользили по полу, разодрался башмак, сверкнувший пастью деревянных обломавшихся гвоздей.

— Одно слово при ней, — сказал Глушков, — и я вышвырну вас в окно...

— Туда! — показал он рукой в окно, и глаза старика с раздавленным покорством повлеклись за жестким пальцем.

Но звонила не Надежда Борисовна. В комнату уже входила секретарша Бережного, давешняя девушка в цветастой кофточке из модного трикотина. Она вошла в комнату с кокетливой непринужденностью интересной, знающей себе цену женщины, не примечая ни вываренных добела глаз старика, скакнувшего к подоконнику, около которого и встал он, ухватясь за занавеску, ни той нарочитой, деланой любезности, с какой, чтоб скрыть свое волнение, встретил ее Глушков.

— Я, собственно, на минутку, — с развязностью красивой, хорошо одетой женщины сказала секретарша.

— Ну, зачем же на минутку?.. — с развязностью отчаяния отвечал Глушков.

— Архип Иванович просил передать вам какой-то сверток...

Небрежно отставляя мизинцы обеих рук, она раскрыла портфель, вытащила завернутый в бумагу сверток, и глаза ее не глядели на сверток, — и по скучающему блеску их Глушков догадался, что по дороге она развертывала, знает, что завернуто в бумагу. Он принял сверток, — в нем был его револьвер.

— А письмо? — с тревогой воскликнул Глушков, — где письмо?

— Письма Архип Иванович не давал! Он просто сказал: «передадите, — товарищ Глушков знает в чем дело»...

— А-а-а... так, так... — закивал Глушков, оборачиваясь к старику, который, держась за занавеску, давился от сумасшедшего смеха. И тогда от страха, что девушка расслышит сумасшедший этот смех и поймет, Глушков шагнул к столу, нагибаясь к глазам девушки, и под взглядом его глаза ее стали весенне-глуповатыми, по-весеннему зазывчатыми, блестящим пóтом пробилась в них женская готовность. А жизнь — тупой волей Бережного — подсовывала свой выход, и этот выход лежал на столе сжавшимся, готовым к удару кулаком. Десятки мыслей, одна другой короче и ослепительнее — сталкивались как кремни, и надо было не терять ни секунды, чтобы в каждую из них, сейчас вмещавшую в себя годы, найти верное решение. В годы военного коммунизма и он, Глушков, поступил бы

же жестоко и просто, — но тогда виноват ли Бережной в том, что пламен: годы войны для него не кончились, и теперь, в днях, строющих жизнь ень за камнем, он остается воителем и солдатом революции? Невозкно и возмутительно было представить себе другое: — тяжелую, до овы налитую фигуру товарища, его обрубленные, пенькастые руки, —), — как призвал он к себе эту цветастую вошь, и вошь шла по кабинету дливенько тряся бедрами, и Бережной сказал ей, роняя тугой взгляд умаги: — «Э-э-э, товарищ Мазурина...». В прозрении отчаяния Глушков галлюцинации отчетливо видел опущенное лицо товарища, и сверток, орый он передал, должно быть, рывком, — дернув его из ящика стола, ув его в оманикюренную, запачканную чернилами руку.

— Товарищ Мазурина, вам Бережной сегодня передал это?..

— Сегодня, час назад...

— Ну, вот и отлично! — Глушков уже овладевал собой, главное: — треться в это податливое лицо, не оглянуться назад, на старика, — оик подходил к столу, медленной походкой выследившего зверя, люпающие подошвы его ног царапали пол. Глушков сдернул со стола револьвер, сунул его в портфель Мазуриной, сказал с настойчивой разеренностью:

— Бережной ждет вас в тресте, не правда ли?

— Он просил вернуться в контору...

— И принести ответ?

— Архип Иванович ничего не говорил об ответе...

— Но вы ответ снесете! — настойчиво сказал Глушков.

Под этим сухими, как палка, словами девушка поднялась, качнувись в женском недоумении. Ее лицо побледнело, и губы вытянулись, ак у обиженного ребенка. И тогда тем двойным слухом, какой заставил 'о вчера под дулом револьвера различать в шуме леса отдельные голоса ревьев, он понял, что она оглушена отвергнутостью, оглушенная своим — енской обидой и недоумением, — она не поймет его слов.

— Вот что, товарищ... скажите Бережному, что оружие нужно олдатам...

— Я передам... — покорно согласилась Мазурина.

— ...а я строитель...

Девушка стянула со стола портфель, пошла к двери ныряющей, обкой походкой, какой ходила она, должно быть, всегда, какой пошла и йчас, когда другая походка стала ненужной. Дверь захлопнулась за ней иновато и пусто, и в комнате сразу стало тихо. Ботинки старика упрямо ипели у стола. В открытое окно медленно и равнодушно наливался ве- рний слепой ветер.

— Ну, что, сынок? — шопотом спросил старик.

— Идем, — отвечал Глушков.

Старик взметнулся как птица, побежал в угол за пальто. Он сорвал льто с жадной дрожью, оборвал вешалку, он побежал к Глушкову, на- упил на свое пенснэ, и стекло жалобно крикнуло под его расхлябанной

ногой, но жалобного этого крика он не слышал. И, пока не торопясь, — словно опять обрел он спокойствие неторопливости, — Глушков надевал пальто — старик угодливо обдергивал полы, снял с воротника пылинку, сдунул ее с пальца.

— Идем! — повторил Глушков, и голос его чуждо и зло оттолкнулся от пустых вечерних стен. Он распахнул дверь ногой и вышел в коридор, и тогда, — на секунду оставшись в комнате один, — старик рассмеялся хитреньким, победившим смешком, подбежал к выключателю, с презрительной жалостью к нежилой пустоте комнаты потушил свет...

X.

На улице Василий Петрович пошел впереди, он выступал торжественно, — шляпа на его голове с лихостью заломилась на затылок. Его сухонькие ноги в порванных ботинках, чертя подошвами, с независимостью наперекор всему оказавшегося правым человека попирали землю, и, приковавшись к ним взглядом, Глушков шел за ним с тупым покорством, как на веревочке. Надежда Борисовна не вернулась, и Глушков догадывался, что она выжидает где-нибудь за углом, предоставив ему свободу решения. Но что же это? — чуткость, какая и не снилась женщинам прошлого, или экзамен, каким один товарищ поверял другого? Под окнами кооператива, мигавшего водочными бутылками — черная фигурка метнулась в сторону за ларек Моссельпрома, и Глушков приостановился: — не она ли? И тотчас приостановился старик, с неподвижной важностью цапли вышагивавший впереди.

— Тс-с-с! — приложил Глушков палец к губам.

Этот жест заговорщика успокоил старика. Он вернулся к палатке, и, посвистывая и заложив руки за спину, принялся изучать прейскурант, левым глазом ввинчиваясь по траектории глушковского взгляда. И видели оба: — из-за угла с поспешностью вышла женщина со свертком в руке, остановилась сразу, будто споткнулась под желтым дождем фонаря, подняла сверток к лицу, посмотрела на него с недоумением, бросила в урну для окурков.

Старик хихикнул по-птичьи, будто пискнул, и — не оглядываясь, как бы не сомневаясь больше в Глушкове, двинулся вперед. И Глушков покорно пошел за ним. Чудно и капризно разламывалась жизнь, а он был только свидетелем, словно ломавшаяся эта жизнь — была не его жизнью. Значит, правда не в истине, — истина для каждого своя: — и для Василия Петровича, и для Бережного, а в силе убежденности в эту свою истину! Но почему же нет этой убежденности у него? И где черпать убежденность Если у всех людей один цвет крови — почему так отдельно, так мелк правы они каждый по-своему? И вот он, знающий, что счастье человечеств расплескалось, как дождь по душам, и обмельчало, — идет с покорность мертвеца за стариком, как вчера шел по воле Бережного. Может быть, Таня, владеет секретом своей правды? Маленькая, удобная женщина

цевавшая у окошка за работой, работавшая с той непринужденной :костью, с какой ребенку играется. Ее ровненький, как фонарик, голосок полнял чувством благодушия, уверенности в неоспоримости в значиьности всего, что она делала. Самый ее закуток между шкапами, завенный, заставленный безделушками, девическими альбомами, сувениии,— хранил неуловимо-терпкий аромат девичества. Конечно, она знала т секрет. С ней жизнь сверкнула бы саженным прекрасным днем, и за й день, за свое солнце она требовала немногое — веру, что в этом дне сть содержание жизни. А сколько за эту веру обещала она: — свершай, если не свершишь — дети, сами — итог твоих несовершенных подви-, — доделают миру твои недоделанные дела, доскажут твои недоска:ные слова. Ведь с одной этой уверенностью можно спокойно отойти, ікнуться в том малом, что дарует человеку старость, раствориться в том :ьшом, чем накрывает человека смерть. От века шумели войны и рево:ции, океаном подымалась в них пролитая человеческая кровь, и бесгно гибли в нем песчинки согретых человеческих жизней, — за же вставал этот океан? Он подымался, грозный как судья, во имя маых человеческих песчинок. Но когда ложились волны в отшумевшую ишину, оказывалось, что никто не спросил гибнувшую человеческую елюзгу: — хочет ли она покинуть насиженное свое тепло? Раздробленая, сорванная с тысячелетних корней, — опять принималась человечекая мелюзга зализывать раны, принятые во имя опять — и в который аз! — непойманного счастья.

— Жизнь, любовь и смерть! — подумал Глушков вслух, не сводя лаз со стариковых, монументально шествовавших ботинок.

— Ну, конечно! — обернулся старик, жутко угадывая его мысли, пошел с ним рядом, помахивая тростью. Старику хотелось запеть во зсь голос — о траве, что ли!.. — и ноздри его трепетали, как трава на квозняке.

— Но если так, — продолжал свою мысль Глушков, — зачем :е мы сами в каждом своем шаге несем семя катастроф?.. Не спорю, — вашей дочерью я отлично прожил бы жизнь, — помирая, только удиился бы, как скоро прошел праздник... Жизнь круглая, как масленичный лин, и жирная как он!.. Что же взамен блина требовалось от меня? Маэнькое умение принести себя в жертву детям, — тому, что неоспоримо ольше меня!

— Детям! — кивнул старик.

— Не спорю! — с горечью воскликнул Глушков, — отличная, до'ойная любого героя жертва! И утешение какое: — право сложить одвиг на следующего, а этот следующий — наследник героя... Но вот вашу жизнь, как в окно, стучит тоска... Почему тоска, Василий Петроич? Спросите меня: — люблю ли я Таню? Да, я ее люблю, — она, как леет, делает мою жизнь счастливой. Но спросите меня же: — могу ли принять ее простодушное счастье так, чтобы оно до конца наполнило зня, как стакан пивом, и чтоб это пиво не скисло во мне самом? Вы гово-

рите о благородстве, о чувстве долга, о порядочности, говорите о них с ..кой слепой, кротовьей непреложностью, будто они и есть киты, на кото..іх остановилась крутящаяся земля...

— Обязательно! — с восторгом подхватил старик, — в жизни все ..чет: — земли, государства, вещи, они умирают, возрождаются, сти..ются войнами, революциями и опять отстраиваются к жизни — и един..венно реальная, не умирающая никогда! — слышите: — никогда! — ..щь на земле есть — человеческая душа. Любовь крепче камня, потому ..о камень подточит вода, выветрит ветер, камень почернеет на солнце, ..любовь сама светит, как солнце...

— Постойте! — перебил Глушков. Он ухватил старика за руку, ..итянул его к себе, ловя тоскливо заметавшиеся стариковы глаза: — а ..руг нет... ничего нет! И все эти вечно-живущие ваши вещи: любовь, ..лг, благородство — живут не сами по себе, а есть лишь законы, пара..афы уголовного кодекса, надетые историей на душу, как одежды на тело? ..душа-то — она другая, ее не видать за параграфами, она — теплый, жи..й зверь, который тоскует и рвется из обжитых, стершихся до навыка, ..привычки чувств?

— Наш трамвай идет! — закричал старик, и побежал вперед, рас..стив по ветру черные хвосты крылатки.

— Скорей! Скорей, Александр Иванович!.. Пропустим наш номер...

Глушков вскочил на подножку, — и трамвай, густо — как рыбой — ..битый весенне-говорливым людом, повлекся дальше, предостерегающе ..глухо позванивая на сворогах...

XI.

..Жизнь, рванувшаяся с неистовой мятежностью пращи, возвращалась ..разорванный круг. Глушков не без благодарности поглядывал на ста..ка, — дремавшего на лавочке напротив. Старик с вальяжностью отва..лся к спинке, укрепил палку — как свечу — между коленей, — он уже ..боялся, что Глушков уйдет, он знал это с уверенностью птицы, безоши..чно — одним инстинктом, — правящей осенний перелет.

«Сейчас, как приедем, — напою его чаем... с халвой, что ли!» — ус..хнулся Глушков. Ему хотелось верить, что в жизни ничего не измени..сь, что она встанет на рельсы, пойдет громоздкими, набитыми, как ..амвай, днями. У кого не случалось маленьких драм, после которых ..лько еще полнее ощущаешь жизнь? Воистину: — имеем — не храним, ..стоит потерять на день, — и понимаешь непреложную, единственно-..альную ценность на земле единственно нереальных вещей: — человече..их отношений. Все в мире течет, все проходит, — остаются лишь чело..ческие чувства в памятниках человеческих чувств — в искусстве. Глав..е, чего ищет от жизни человек всегда лежит рядом, — а он, неумный ..ловек, даже не приметил главного, покорно простертого под его пинаю..ми ногами. Прими же безыскусственный дар жизни — ее самое, ибо ..а — закон людям, и пять тысяч лет идет она все мимо и мимо человече-

ских истин и ярлыков, к целям, угадать которые не осмелился никто, и мы истину ищем лишь до тех пор, пока брезжит она — расплеснутая в душах, пока какой-нибудь чудак, вбив в это занятие жизнь, не соберет ее по каплям, чтоб явить изумленному миру. Тогда, восстав законом, истина перестает жить.

«Вот едем к Тане, — думал Глушков, вбивая ход мыслей в нетерпеливый скрежет колес, — а что я скажу ей? Что сказать женщине и человеку, вправленному с тобой в одно русло, как два трамвайные колеса. Сказать, что жизнь возвращается в законные берега, и надо быть благодарным катастрофе, — ибо лишь катастрофы указывают человеку его лицо и его место на земле. О, как жаль, что сегодняшний день не пришел раньше! Не умерла бы от аборта Женя, не пришлось бы бежать в Ташкент Хухриковой! Но разве виноват он в том, что и Женя, и Хухрикова, и даже Таня, жена, легли на его пути ступеньками — по ступенькам он подымался до сегодняшнего дня, в котором крутящиеся, как земля, вещи стали, наконец, на свое место: — у каждого человека приходит возраст, и в этом возрасте — день, который начнет человек юношей, а кончит мужчиной. И вот нынче он — уже не пловец, его прибивает к берегу, и он приемлет дикие заросли кустарников на берегу, и неровность его почвы, ибо дальше плыть некуда. Пусть же они и впредь будут почвой, которая не спрашивает деревья, каким цветом они зацветут, одинаково питая буйные яблони и буйный бурьян. Какой бесконечно родной и необходимой представлялась Таня сейчас! Какой светлой, утоляющей горечью наполнялось сердце при мысли о том, что свой насущный хлеб он сам отшвырнул ногой и, голодный, прошел мимо.

«Я ведь и в самом деле ничего не ел со вчерашнего дня!» — вспомнил Глушков.

— Василий Петрович! — тронул он за рукав старика.

Старик приотворил глаза, — зрачки под веками не стронулись — значит, старик наблюдал за ним, стерег свой стариковский хлеб.

— Смешная вещь, — сказал Глушков, — со вчерашнего дня я ничего не ел...

— Да что-о-о вы? — с задорностью вскричал старик, хлопнув себя по коленкам, — «Жомини, да Жомини, а об водке ни полслова»... — Он уже успокоился, он находил свой тон, свой язык, чтоб встать в привычную позу, — ведь и жизнь возвращалась в привычный свой круг.

— Но зато какой борщ! — заговорил он, победно оглядываясь на соседей. — Какой замечательный борщ варила сегодня Татьяна!.. Эх вы, батенька мой...

XII.

— Прошу! — театрально взмахнул рукой старик.

Глушков вяло снимал пальто, — вынул руку из рукава и опять надел его, — горло до боли сжимала липчайшая ватная усталость при одной мысли, что сейчас он увидит Таню, — она ждет его за этой вот дверью.

Он откроет дверь — бросится в колени Ирочка, девочкин колокольчик-голосок зазвенит на всю комнату, — и он схватит ее и поднимет на плечи. Так — с девочкой на плече — подойти к Тане. У Тани — спаленное слезами лицо, она растеряется, она уронит глаза, и, падая, глаза сверкнут гневом — и этому гневу улыбнуться виновато! Не на него, нет! — пусть она взглянет на девочку! Разве можно взглянуть на девочку без улыбки? Таня улыбнется девочке, и улыбка решит все. А потом встанет ночь — ночь темного раскаяния, когда, подложив руку под ее заплаканную щеку, он с неудержимостью самобичевания расскажет ей про себя, про странную двойственность своей жизни. Она будет вздыхать в подушку, отталкивать его руку, — в порыве виноватости он потянет ее, свою виноватую руку — и она удержит руку невольным пожатием и, благодарный этому пожатию, он упадет головой к ее коленям, чтоб, холодея, ждать: — поднимется ли рука к его волосам, погладит ли в рассеянном прощении слез?

— Прошу! — повторил старик, толкая дверь в комнату, и Глушков шагнул в нее как в пропасть.

Таня стояла у окна, в полоборота к двери, к ее ногам, держась за юбку прижалась девочка, и первое, что с озорной меткостью камня кинулось в глаза Глушкову — девочка рванулась к нему, и бант ее трепыхнулся, как крылья к полету, но мать рывком подняла ребенка, отвернулась к окну. Протянутые руки Глушкова упали, и он в растерянности повернулся к старику. И тот подбадривающе подмигнул Глушкову, как бы подталкивая его к смелому поступку и, вдруг догадавшись, хлопнул себя ладонью по лбу, с неслышностью запущенного волчка попятился к дверям, и дверь за ним тихонько, как своя, прикрылась. Ничто не изменилось в комнате за необыкновенный этот день. С прежней обжитой неторопливостью горела над столом лампа, набрасывая желтую скатерть света на тарелки, на вычурные серебряные ножи. На столе — три обеденных прибора. Для кого накрыла Таня? Его ли ждала? Или для старика, что выкатился сейчас в сортирчик, чтоб не мешать сладостной сцене семейного примирения?

— Здравствуй! — сказал Глушков. Не зная: — что же теперь делать? — он прошел к дивану, сел, скорбно вздохнул. Таня не шевельнулась, в квадратном сумраке весеннего окна узенькая линия ее плеч чернела как вырезанная. Лакированный желтенький поясок, спадавший с ее поясницы, тускловато блестел отражением лампы. Глушков с минуту глядел на плечи жены, думая о том, что в совместной жизни с человеком не видишь его лица, его рук, его плеч, — а ведь плечи-то — слабенькие, узенькие: — где ж им поднять чугунную тяжесть правды?

— Я пришел поговорить с тобой, Таня... Если не можешь, — скажи... тогда я... — он хотел сказать: «уйду», но, вспомнив, что уходить некуда, оборвал фразу.

Со злой внезапностью обернулась Таня от окна, — не выпуская девочку, в инстинктивном, не детском страхе жавшуюся к матери, подошла к столу. В размеренном свете лампы стало видно — на губах Тани висит улыбка, злая и печальная. И вслед за матерью надула губы девочка, щеку

: надутые слезами выпятились из-под носа как паруса, а взгляд приспуенных глаз отяжелел, как взгляд матери. Словно они сговорились в юем, женском, — и от этой согласной их отчужденности Глушкову стало олодно.

— Я не прощения пришел просить! Нет! Глупо каяться в том, в м нет вины...

С ироническим покорством качнула Таня головой.

— Поверь, мне легче признать случившееся — распущенностью, жской неразборчивостью, а, признав, выдать расписку в том, что больше ого не случится... Но ты хоть раз в жизни послушай не как жена, а ижайший друг, товарищ...

Ища ускользавшие слова, он развел руками.

— ...к которому я прихожу от разбитого корыта...

Он посмотрел на простертые свои руки, — руки были до смешного сты, и голые их ладони блестели омерзительно-розовым отливом. Сунув ки в карман, Глушков зашагал в коротеньком промежутке от окна к олу. Он пришел, чтобы сказать все, и пусть она судит судом, обжитой еловеческой жизни, и если этот суд сильнее его — он подчинится его приговору.

— Сколько раз: — вчера, третьего дня, годы, что прожили мы с обой, сколько раз я хотел притти к тебе, как к товарищу, как к другу, как к Кольке Ложкину в вузе, сказать: — Танечка, родная, я сам не знаю что о мной происходит, но нет! — это — не мерзость, не распущенность. Легко, до пошлости просто можно объяснить самую сложную драму человеческой души. В наше время круглых, как булыжники, чувствований ак и делают, ибо отвергнуть и не принять легче, чем понять. И вот я хотел казать тебе, что я задыхаюсь в непонятных мне, в страшных тисках... Бережной говорит, что хоть одному человеку на земле надо говорить всю правду...

— Бережной? — тревожно переспросила она.

— Да, Бережной... Всей правды он требовал для себя... И он прав — коммунистическом обществе каждый может потребовать всей правды от оварища для себя и для всех... Но я пришел к тебе, кто камнем привязан моим ногам, кто тянет меня от будущего, в котором темно, как в плену, прошлое, — ибо в прошлом понятно все, ибо жить прошлым в тысячу аз легче и удобнее... Знаешь, Таня, — заговорил Глушков шопотом, сры у останавливаясь перед столом, — я часто ловлю себя на удивительных; езнаемых вещах... Я говорю: — долг, я должен поступить так, а не иначе, пытаюсь разобраться: — почему я должен так поступить, и вижу, что ак поступить — приказывает нечто, что лежит во мне самом, и все люди — ж понимаю это! — поступают по велению этого категорического нечто. И вот — точка, все в мире понятно и закономерно, если ты и все кругом живут по законам единообразного нечто. Это правильно даже с нашей, оммунистической точки зрения: закон общества — закон большинства. Но, поступив так, я вдруг внезапным, как молния, прозрением вижу...

понимаешь? — вижу, что категорический этот командир — стар, заживо мертв как сельский бог-саваоф. Один абхазец, товарищ, рассказывал о вожде, который умер у них в Абхазии, и растерявшиеся войска отказались итти в бой. И тогда советники умершего вождя посадили мертвого на коня и вывели его перед солдатами, и солдаты пошли за мертвым вождем, — так велик и категоричен был его закон. И вот человеческие наши чувства, понятия о долге, о любви к ближнему, о благородстве кажутся мне сейчас таким мертвым вождем. Мы следуем за ним из страха, что закостеневшая его рука, плетью висящая на шее храпящей лошади, подымется гневным подъятиеи... Я говорю громко: любовь, долг, благородство, я поступаю так, как приказывают мне они, но я знаю, что пышные понятия эти затерлись в человеческом обиходе, как пятаки в сумке трамвайного кондуктора, и правят человечеством только по инерции, по недоразумению, ибо человечество не знает, как же обойтись без них, — без калош в мокрую погоду, без очков, если слепы глаза...

Глушков перегнулся через стол к лицу жены, складывая пальцы в горькую щепоть.

— Есть ли в наши дни более пошлое, затасканное слово, чем слово любовь?.. Я люблю суп с горохом, а Фекла Петровна любит ездить по железной дороге. Я люблю тебя по гроб жизни, а я, знаете, отнюдь не люблю калоши. И не только слово — понятие низведено до супа и калош. Пойми, ибо понять — значит преодолеть предрассудок. Но если не можешь... я не требую! — он отмахнулся щепотью, — вот Бережной утверждает, что революция только и сделала, что передела пиджаки с одних плеч на другие, а с пиджаками передела и пиджачную философию... Чорт же возьми, до чего это неверно!

В волнении оторвался он от стола и зашагал опять, не видя, как, склонившись к плечу матери, задремала девочка, как мать уложила головку девочки на спокойное привычное место на груди.

— Нет! Мы рискнули снять пиджаки и голым пустить человека по земле. Голый, как король, он разгуливает без подштанников, сам того не зная... Думаешь — не верно? Было «не укради», и за укради рубили руку, а вот мы сказали «грабь награбленное», и грабили, и, когда грабили, не нам, грабителям, было стыдно, а тем, у кого грабили. Этот закон вошел в жизнь, десять лет мы сосем его в наших буднях, а наши дети бессознательно всосут его с молоком матерей, как мы всасывали звериную жестокость к пойманному конокраду. И я вот, я на себе... вот ножики с серебряными ручками!.. — Глушков схватил со стола ножик, бросил его с омерзением, — помнишь, когда купили? — ты любовалась ими, и я вынимал из шкапа, чтобы лишний раз взглянуть, а ведь во мне-то... во мне было оно — непонятное чувство стыда за то, что они мои. А новое мое пальто? На улице, девушка в стоптанных ботинках сказала про меня, коммуниста: — «ишь буржуй, разрядился как!» — в ее голосе свистело презрение к моей, отличной от ее одежде, — и она была права!

Девочка, причмокивая во сне, закивала головкой, и мать заботливо ıравила примявшийся бант.

— И вот любовь! — продолжал Глушков, — каким я был, когда встретились? Я был желторотым птенцом, который свалился из родного зда в бронепоезд, у которого революция, как сметану, слизала детство, 'орого революция, не спросив о возрасте, поставила в ряды своих сол-. Моим воробьиным ногам было трудно итти в ногу с гигантскими шага-революции, но я пошел... Я все шел, все шел вперед, и мне некогда было ;умать о себе. Впервые я вспомнил о себе, когда сдал винтовку в ка-мы... знаешь ли ты, какой страшный был тогда день?.. На людной улице винтовки мне было страшнее, чем в окопах... Потому, что в тот день онял, что в окнах, в освещенных огнем окнах идет жизнь, и я этой жиз-не знаю. И вот, чтоб познать неподвижные ее законы, я ушел учиться, чеба сказала мне, что надо жить для всех и во имя всех, а жизнь кругом ıа для себя и только для себя... И вдруг я увидел, что и во мне самом рнулся чудовищный солитер, который жадно требует жизни для одного ..я, которому наплевать на жизни, дышащие вокруг, на их совокупное ıастье. Неподвижные законы живой жизни оказывались страшнее и :естче кровавых законов войны. У меня закружилась голова от этого удовищного открытия! Что же делать? Броситься на чудовище с ножем? оевать против него? Нет! — я, как все, поторопился встать в затылок, хвост жизни, и оказалось, что я еще рад возможности встать в человече-:ий хвост и дрожу за свое очередное место. А в том хвосте, Таня, я увидел, :о людям и не нужны мечты о всечеловеческой свободе, что они живут и этят жить жизнью тесной как сапог, и так привыкли к своему сапогу, :о даже не замечают, как он износился... У каждого — свой дом, семья, ιой мир и своя истина, и каждый закупорен в эту истину как в рако-ıну, а для того, чтоб можно было при встречах на узких тропах судьбы :зболезненно расходиться — опытом веков придумали люди долг, благо-)дство, вежливость, «не укради», «не убий», «не пожелай жены ближнего ιоего, ни вола его, ни осла его»... Зачем же тогда с пятнадцати лет я пове-ıл, что всего себя нужно бросить навстречу новой жизни — и если не ıдержу, — ну, что ж — умирать? Но если выживу, — мир будет иным, ıкой снится человечеству, какой не смел не сниться человечеству, спеле-тому законами рабства... И нам, — мне, тысячам таких, как я, — рево-оция шепнула, что человек иной, что он не собственник, не вор, что он скует, не смеет не тосковать.

Глушков заметался по комнате, размахивая руками, побежал к окну, от окна в забытьи к столу. Лицо жены было каменно торжественностью ıтери, — девочка спала на ее руках.

— С кем же мне было бороться? Где мой враг? А враг во мне самом ернулся, как солитер, навыком привычек, скопом чувств, понятий, вcо-нных с материнским молоком, сторожит каждый мой шаг, редактирует ждое мое движение! Он влип в мои ноги, и ноги скользят во всеобъем-)щую кучу утрамбованного историей прошлого... И пусть я сорвусь

в эту кучу, но я уже знаю, что она — не закон, не истина, что они не органична, что, будучи врожденной человеку, — не врождена человечеству, наросла на нем как короста...

— Короста! — повторил он в раздумьи, словно не жене, а себе отвечал на сомнения, — кто же я тогда? Я — нуль, песок, покорный волне революции. Я несусь песчинкой, и она кричит, что хочет жить, потому что половодьем революции ее изотрет где-нибудь в пути...

Таня поднялась со стула. Всплеснутые ее брови, которые как бы договаривали людям то, что она не умела сказать словами, поднялись в горделивом сознании материнской своей силы. Она долго и пусто, как в воду, глядела в лицо Глушкову, и вдруг пошла прочь от стола, не обронив ни слова.

— Ты куда? — испугался Глушков.

— Девочку положить! — сказала она тихо, — спит девочка...

— Спит девочка, — с горькой умильностью согласился Глушков.

И протянул руку, чтоб коснуться спящей девочки, но глаза жены раскрылись, как окна, — без удивления, в обреченной какой-то печали.

— Сирота! — прошептала Таня, кивая на девочку.

— Таня! Таня! Что ты говоришь? Зачем это?..

Она медленно, будто ноша была непомерно тяжелой, прошла за шкап, к своей кровати. Глушков пошел за нею, но Таня остановилась, ее рука, державшая девочку, задрожала тугим, еле сдерживаемым гневом, — Глушков вернулся к дивану и присел, робко, боком, словно был гостем в своем доме. Нелепо поигрывая пальцами, он разглядывал свои ботинки, на них густо налипла весенняя грязь, и этой грязи он застыдился. Вытирать ноги надо итти в коридор, а там в задушливом ожидании мечется старик. Глушков воровато поднялся с дивана, и, ловя себя на мысли, что крадется по своей комнате на цыпочках, как дурацкий какой гость, подошел к двери и приоткрыл ее. В коридоре никого не было, — окно в уборной светилось спокойным неживым квадратом. «Старик... — догадался Глушков, — старик ожидает в одиночку».

Что ж! Он пришел сказать в лоб, что в том выборе, который с угодливостью врага развернула перед ним жизнь, — он решился на малое. Он знает, что молодость не лгала, но «могий вместити да вместит». Он покорно принимает абажур, жену и коврик, — коврик завтра же можно купить новый, если захочет Таня, — он принимает налаженность, уют и простоту жизни... Простую жизнь он сумеет поднять над бессмысленностью мечтой о невозможном. Она — эта мечта — всегда жила в человечестве, ею было и христианство, и ведь сумели же люди превратить христианскую мечту о невозможном в молитву. Ныне и он знает, чему молиться: — революция не лгала, революция не виновата, что ему по плечу оказались не ее свершения, а молитва ей.

Уложив ребенка, Таня вышла, пошатываясь, будто сонная, — остановилась у шкапа, припав головой к косяку. Ее лицо тяжелело неумолимой тяжестью невыплаканной слезы; короткий, подкошенный взгляд сте-

лся по полу, не в силах подняться до уровня глушковского лица. Рас-эянное, почти детское ее бессилие показалось Глушкову покорством, — сказал с пылкой, искренней жалостью:

— Я во многом виноват перед тобой.

— Во многом, — подтвердила она.

— Я лгал тебе, уходил от тебя, но я любил тебя...

— Любил? — но в спотыкающемся ее голосе, в покорстве чуть ышная прозвенела решимость.

— Любил! — повторил Глушков и шагнул к ней, чтоб взять ее, к ребенка, за подбородок, чтоб улыбнуться—надо улыбнуться, чтоб по-зствовать сердцем. Нетерпеливым кивком головы она отбросила его руку.

— Ты говоришь: — лгал, а сейчас ты не лжешь?

— Но зачем лгать сейчас?

— А ты посмотри на руки... Ведь в крови, по локоть в крови твои. ки, Саша, — продолжала она, — и ты сам говоришь: жжет эта кровь, единственное твое оправдание, что не для себя она, а для других, для істья других. Вот, вот! — закивала она, со злорадством прищуривая лаза, — а кровь Жени, девятнадцатилетней девушки, что умерла от ıборта? И она жертва для всех?

— Таня!

— А Хухрикову переводили в Ташкент, машинисточку, которую работаешь, работаешь, — тут же и облапишь» — тоже во имя всечело-еческого счастья?

— Но постой же! Это — невозможно...

— Невозможно? — исступленно рассмеялась она. — Об этом тебя адо спросить! Но сейчас поздно спрашивать, Александр Иванович. Слиш-ом поздно... «Все, — каждый шаг, каждая мысль, каждый поступок — о благо революции» — твои слова, Александр Иванович! Значит, рево-юции нужны слезы обманутых девушек, девичьи смерти, дети, у которых ет отцов, женщины, у которых выпили, как водку, молодость, а их, как устые бутылки, — на мостовую! Молодость, счастье, удачливость — нуж-ы, а вытекшие слезами, потушенные горем женские глаза и материнство е нужны... Не верю! Не смею поверить этому!

— Замолчи! — закричал Глушков, надвигаясь.

Не поднимая влекшихся по полу, но видящих глаз, Таня спокойно ыжидала, пока подойдет он ближе. И он подходил все ближе, все ближе, дыхая знакомый запах ее тела, не слыша слов, что в подстерегающем ис-уплении кричала она, — ватные, как бутафорские камни, слова падали лицо, не раня. «Маленькая и смешная, — хотелось ему сказать, — за-эм ты кричишь? Счастье, о котором ты кричишь, лежит рядом с тобой, ротяни руку, чтобы взять его?» Но сказать громко — нехватало сил: юова запеклись на губах. Подойдя вплотную, он положил руки на ее плечи, гоб притянуть ее к себе мужским, властным движением.

— Танечка, родная, прости за боль, за обман, за горе... И я не мало срежил за эти два дня... Может быть, так несуразно кончается моя

юность... Но сейчас я знаю, что мне ничего не надо от жизни, кроме твоей руки, кроме маленького, как колобок, счастья, которое ты берегла. Мне снился сон, — он такой страшный, что хочется смеяться, и сейчас, проснувшись, я хочу живой и теплой жизни...

Глушков потянул к себе плечо жены — ожидающе-холодное и чужое, и оно подалось привычной, невольной податливостью, и тогда, еле сдерживая торжественную, щекотавшую ноздри радость, он опустил руку на ее грудь. Таня выдернула руку и ударила его в лицо.

— За меня и за дочь! — вскрикнула она с внезапной, страстной злостью.

И в ответ он опустил голову в покорном непонимании, — хотел, чтоб она ударила еще, чтоб она била, зашлась в неистовом гневе. Но Таня отошла к окну, — узенькие ее плечи покривились как поясок, на голове развились волосы и ветер, с задорливым проворством сквозняка подувавший в окно, подхватил завиток, заиграл им, будто золотым флажком. Она уже не могла сдерживать слез, они вылились прорвавшимся кипятком — не о том ли безвозвратном, что разбилось пощечиной, плакала она сейчас? Остановленными ударом глазами Глушков обвел комнату: равнодушно-желтую лампу над столом, тусклые круги тарелок, ножи; над сухарницей билась черным зрачком муха, погасла вдруг, вылетев из желтого круга. С монументальностью ревнивых сторожей расставились возле стен шкапы, в одном, полураскрытом — «Собрание сочинений А. С. Пушкина» — книжки он привез из родного, милого города, в котором также проснулись теперь мухи и бьются черными зрачками на свету. В комнате было пусто той притаившейся, выжидающей пустотой, когда в комнате лежит мертвец, и от него через вещи, через свечи, через души людей сквозит холодом мировой пустоты. Не от того ли так безудержно тянет выйти прочь, говорить громче обыкновенного, нелепо пошутить, ощущать себя — с кощунственной радостью за то, что ощущаешь? Внезапному этому сравнению Глушков обрадовался как другу, который в минуту тягчайших распутий приходит сам. Сказать ли женщине, что он прощает ее потому, что не оскорблен? Ударить ее добивающим камнем прощения? Кому изменял он? Живя с Таней — изменял законам человеческого обихода — и Таня, лапидарная как этот закон, — не поняла его. Но, придя сюда, в эту комнату, где незаметным тлением уже наследил мертвец, он изменил себе, и тому, что подымалось в нем корявостью новизны и преступлением всякого искания.

Вздохнув, он поднял глаза на ее спину: — непробиваемо черной простыней висел за окном вечер, и казалось, что на простыне его не плечи ее изломаны неверной линией, а натянул кто-то ослабший поясок.

«Что ж ты не прощаешь мне? Если бы ты сама знала это — ты ужаснулась бы чугунной наготе гнева, изломавшего твои плечи. Ветер вернулся бы, он завертел бы мельницу жизни с прежней старательностью, но ты не прощаешь дней, обломавших мельничные крылья. Не прощаешь, что нашлись другие, посмевшие тебя заменить! Сознание твоей незаменимости

ıвало тебе право на меня, как на вещь, — и вот право подкошено, а без 'о обручей наша совместная жизнь распадется, как колесо. Не проаешь того, что прекраснейшей цели, во имя которой ты построила свою изнь — ребенок, — я не хотел принести в жертву себя, как принесла ты! е прощаешь потому, что извечным сознанием, которого ты не в силах кор:ктировать, ибо оно утверждено в тебе атавизмом навыка и цветом всонной крови, ты считаешь закон рода единственным неоспоримым паспорм, дающим право на жинзь, а, выполнив этот закон и спроектировав себя вечность, от вечности ты требуешь уплаты по векселям. И самое главное, о ты не прощаешь мне то, — что к смутному облику, какой снится .ждому в его юности — облику совершенной невесты,— не все черты подобрал в наивненьком твоем личике, а ведь ты была уверена, что в бе ты отобрала лучшее, что создала земля! Вот чего ты не прощаешь мне горьком неведении своем. И не простишь во сто раз злее, если я скажу 5е, что новое мироощущение поднялось в человеке бунтом, — оно уже сится над миром неуловимой радийной волной и хрипит во все приемки, и, может быть, уже завтра станет новым словом. Пусть моя правота уродлива, как всякая тень, упавшая глазам, обращенным к свету, но за этой уродливой тенью ты не хочешь видеть света из боязни, что он опалит гебя. И ты будешь противоборствовать ему, закусив губы, потому что чугьем знаешь его силу, но помни — и ты, и миллионы таких, как ты — заливать будете не самый свет, а лишь его тень».

Глушков надел кепку и пошел к двери, не оборачиваясь, ссутулившейся походкой человека, знающего, что он уходит навсегда. И не глазами, ı согнувшейся своей спиной он видел, как порывисто подалась от окна Таня, когда дверь в последний раз пропела похоронным голоском проржавевшей петли, как, осиливая неизбежность, взметнулись ее глаза, и если 5ы хоть на мгновение каменно-непоправимая гора его плеч дрогнула предательской человеческой жалостью, — Таня рванулась бы от окна потоком слез, она упала бы на колени, обхватила бы залипшие весенней грязью его ботинки, и слезы ее, забившись в половодьи прощения, смыли бы эту грязь.

Но он вышел, не притворив за собой дверь...

XIII.

— Александр Иванович! — позвал проглоченный голос из уборной. Старик приоткрыл дверь, и голова его, высунувшись в щель, закивала невозможном сострадании. Глушков прошел мимо, черкнув локтем по тариковой бороде, и дверь за ним захлопнулась с тупым звоном. И тогда, рванувшись из уборной, старик ухватил крылатку, бросился вниз по лестнице, срываясь со скользких ступенек, задыхаясь от страха не догнать. Стояла высокая, черная ночь, — ночь тех весенних устоявшихся ростепеей, когда вечерами уже не холодеет, и земля спокойно дышит туманами арождающей почвы. И был тот час, когда люди уже разошлись в логова воих жилищ, а после них остались на тротуарах бумажки, окурки, па-

пиросные коробки; не заметные при людях ,— в пустынный этот час они кидались в глаза из-под каждого встречного фонаря. Над понурыми, мертвыми без человека деревьями вскипали черные облака галок, опускались на деревья опять невиданной пеной черного прибоя. Василий Петрович бежал по улице, гребя руками как веслами — и остановился вдруг, будто споткнулся, — увидев согнутую спину Глушкова, переходившего улицу.

Догнав, старик молча и важно пошел рядом. Он был без шапки, и седина его волос горела в нестерпимо-ровном сиянии безветренных фонарей.

— Не упадите! — участливо сказал он, поддерживая Глушкова под руку: они переходили прорытую ручьем колдобину.

И только тогда, заметив, что старик идет рядом, Глушков с невидящей пристальностью нагнулся к стоптанному его лицу, к заметенной на сторону стариковской бородке:

— Ей хватит и алиментов! Как вы думаете?

— Ей хватило бы милосердия! — отвечал старик.

— Но жестокость — не есть ли высшая форма милосердия?.. — продолжал Глушков, машинально беря старика под руку. — Я принес ей жестокость правды, сам готовый смириться под ее жестокостью... Ах, какое безумие! Вы слышите, Василий Петрович, какое прекрасное безумие зацветает кругом? Шел претворенный, одетый в человеческие одежды день, и этот день раздет бесстыдством преступления. И вот в наготе развенчанного дня видишь равноценную закономерность правды и лжи, одинаковость мыслей и поступков, набитых между шляпой и ботинками! Наши поступки перерастают нас. Знаете, в чем был прав Бережной, смешавший в яичницу пять человеческих жизней?

Старик, не понимая, участливо мотнул светившейся сединой.

— Он обмолвился фразой, тоненькой как писк мыши, и она, как мышь, укусила меня за сердце. Как вы думаете: чей я? Я — Александр Иванович Глушков, ответственный работник и коммунист? Не торопитесь — я слышу ваш шуршащий ответ... Он прост, как кусок хлеба, как проста каждая истина, — иначе ее не разжует человечество. «Я — всех, и все — мои», — вот что сказал Бережной, и мне удивительно, каким инстинктом он нашел то, что не дается мне ночами размышлений? Ведь это значит, что я не принадлежу себе, и не потому, что меня обязывает партия, что у меня с теми, кто носит при себе партийный билет, — есть общее прошлое, общие задачи, общие падения и достижения... Общее наше прошлое и цели — есть только ярмо, которое мы добровольно надели на себя, чтоб помочь старухе-истории дотащиться к горе, к которой она дошла бы и без нашей помощи... Обнять все в себя и дать всего себя всем, чтоб с тем же правом взять себе все. Без этой маленькой поправки к человеческой душе — все наши тресты и строительство — нуль, неорганический песок.

— Отлично, — не понимая его, согласился старик, чтобы сказать, наконец, и свое слово. — Пусть так, но где ж эти геройские сверхчеловеки?

Мы — земноводные люди, Александр Иванович, и подвиги нам суждены не выше наших плеч. Моей дочери хватило бы милосердия!

— Милосердия! — перебил Глушков. — Ведь и вы из милосердия бежали за мной без шапки, и я знал, что вы догоните меня, — ведь в своем сортирчике вы молились, Василий Петрович?

— Да, я молился! — просто сознался старик.

— О мире и тишине, пропахших запахом испражнений? А почему ж тогда из сортирчика вы побежали не к дочери, а за мной, Василий Петрович? Не потому ли, что в плане ваших человеческих истин у меня оставался лишь один благородный выход?.. Вот человек, — думали вы, — виноватый в том, что хотел счастья для всего человечества и навязывал это счастье всем, кто подвертывался под горячую руку, но люди не захотели его счастья. Нет хуже вора, идущего на площадь возвестить людям: — я принес вам истину, но половину истины я отрезал для себя по праву изобретателя! Никто не посмеет перечить вору — ибо вор сожрет всю истину... Слышите? — строго сказал Глушков, — я ни в чем не виню вас, как не могу винить ночь, галок, эти деревья. Прямой и логической, как ход червя, была ваша мысль о запутавшемся человеке, и в вашем сортирчике вы молились обо мне, а не о дочери. Ибо вы знали, что, заблудившийся в естественных путях червя, я должен выйти в ворота самоубийства... Не моргайте, Василий Петрович — сейчас ночь... Неправда есть только на людях, ее нет — когда человек остается один, а я сейчас один...

Он с презрительной ласковостью повел старика к лавочке, тускловато блестевшей в фонарном свете.

— Я очень ценю ваше душевное движение, Василий Петрович... Мне только смешно, что утешаю я, а не вы... Когда возможности свершения меньше хотений — всегда встает вопрос о самоубийстве. Вот почему в вашей морали закономерна тяга к самоубийству у юношества, — ваша юность обещает больше, чем дает ваша жизнь... В вашем плане и я в эти страшные дни переживаю перелом от юношества к возмужанию... И — в очень большой степени это верно: революция не остановила развития человеческой души, оно идет все еще по старым, испытанным дорогам... — по старым дорогам легче ехать, Василий Петрович! С этой проторенной дорожки я съехал в сторону, — вы не ошиблись. И у меня русское я — то самое русское я, которое всегда витало над бездной. Из этого бессмысленного витания над бездной родилось многое, Василий Петрович, многое удивительное родилось на божий свет... Пушкин, Достоевский, Толстой... Из этого непрестанного из года в год, из века в век полета родилась революция, Василий Петрович... Но кто ж виноват в том, что, высиживая цыпленка, высидели утенка! Не удивляйтесь же, если неожиданный утенок поплыл по самой бездне, вымеряя ее «бездонность». И если — по привычке — мы еще продолжаем жить и мыслить затертыми штампами — это значит, что мы еще не научились слагать молитвы тому новому ощущению жизни, которое мы, с обреченностью беременной женщины, — уже носим в себе...

— Не бойтесь, — продолжал Глушков, наклоняясь к лицу старика, — я не кончу с собой никогда, в какую бы бездну ни бросила меня жизнь, ибо бездна вымерена. Самоубийство всегда есть следствие сознания одиночества, а я не одинок... Я чувствую плечи миллиона человек, которые как и я, имеют партийный билет.

Старик, съезжая с лавочки вниз, лицом к земле, прикрыл голову ладонями, — вязкая фигура воробья, влохыхах присевшего на землю, чтоб через секунду оттолкнуться в неслышном бескрылом полете. В косом свете фонаря, раздвигавшего неподвижность ночной листвы, выпирали на глаза порвавшиеся его ботинки, расхлеставшие свои поломанные деревянные рты.

— Вторая ночь, — продолжал Глушков, — вторая ночь в моей жизни такая, когда я остаюсь один лицом к лицу не с городом, а с землей... Не смейтесь, это не плохое сравнение поэта — я, человек, чувствую, как земля поворачивается под моими ногами... В Москву я вернулся юношей с фронта, и, сдав снаряжение и подвиг в казармы, вышел в ночь один, без ружья. Обезоруженная ночь вернула меня к вашей жизни, которая даже не знала, какую непосильную жертву я ей принес... И вот сегодня я во второй раз выхожу на улицу, в ночь, один... Но в ту ночь я хотел подойти к прохожему и спросить у него: — что же мне делать в жизни без ружья?..

— А разве я спорю? — поддержал старик. — Я не спорю с вами, но ведь ночь, в самом деле ночь! Куда ж тут пойти?

— Неужели вы думаете, что и сегодня, как в ту ночь, мне некуда пойти? — с внезапным, грубоватым озорством Глушков хлопнул старика по коленке, и сухонькая старикова коленка скакнула разверстой пастью ботинка. Старик поежился: — нам в людях не нравятся жесты, какими злоупотребляем мы сами. — К любому из товарищей по синдикату, или по вузу, а? Например, пойти к Ложкину! Что вы на это скажете?

— К Ложкину? А кто такое Ложкин?

— Разве не все равно кто?.. Один из миллиона.

— Александр Иванович! — закричал старик. — Но я должен! — отчаянием повторил он. — Я должен проводить вас... до вашего Ложкина, — все равно, куда вы ни пойдете!

— Но зачем же? — Неужели вы все еще верите, все еще боитесь даже ени чужой крови на своей белокрылой душе? Или и в самом деле так корок путь человеческого благородства: — от своего до соседского порога, которого долг и заботливость о ближнем можно свалить на другого? Или аконы человеческого общежития даже своим милосердием толкают к мерти? — Боитесь? — усмехнулся Глушков. — Боитесь самоубийства, асилий Петрович? В плане вашей морали оно есть убийство скопом одого. Ей богу же, я не собираюсь поступить так, как ваша мораль совеует мне, вашими глазами подписывая приговор... Да вы хоть в лужу... осмотрите на свои глаза хоть в лужу!..

Глушков отошел под ровный круг фонаря, набрасывавший, как шаль, свет на землю. Он долго копался в карманах, отыскивая записную книжку, отыскивая — покачивал головой, вдруг принимался смеяться навзрыд, и смех в пустой длинноте бульвара бежал как подстреленный. Старик с покорностью отчаяния ждал его в тени деревьев. Отыскав адрес, Глушков прочел его вслух, нахлобучил кепку, пошел вверх по бульвару быстро, как бы догоняя свой убегавший смех. И опять видел спиной, — как, закрываясь тенями деревьев, старик крался за ним, и зоркие его, как у поживишей птицы, глаза сверлили его спину, не верили и жалели, звали остановиться и ненавидели, горя неистовым месивом человеческого ночного противоречия.

Глушков шел по ночным улицам, пустым и раздвинутым, мимо спящих людских коробок и дежурных аптек, слушал неслышную днем песню городских вправленных в асфальт ручьев и распряженного сердца. Найдя нужный дом, он толкнул парадное и, провалившись в его зеве, прилип к стене. В разверстую дверь гляделась улица скопом бумажек, окурков, подсолнечной шелухи и еще длинным, как забытая нога, пятном фонаря, висевшего за углом. На улице было тихо притаившейся тишиной спящего города, и в этой тишине, как всегда в городской ночи, восставали неслышные днем звуки: рев паровозов, подходивших к заставам, шуршание окурков по земле, да еле слышный, потужный треск домов — распираемых снами, делами и мыслями человеческих коробок. Притушив дыхание, как папиросу, Глушков ждал. И он не обманулся: — в длинной фонарной ноге обозначилась, наконец, фигура старика в крылатке, полы которой висели как обмокшие птичьи крылья. Разметавшиеся стариковы волосы горели седым сиянием, светились с той омертвелой скупостью, с какой светятся в половодьи неистаявшие льдины. Постояв с минуту перед черным, разверстым ртом двери, старик откачнулся вправо, оставив на тротуаре мокрый, похожий на собачий, след промоченных ботинок... Тогда, нащупав спички, Глушков засветил нутро лестницы, пахнувшее вместе со светом, обжитым запахом мышей, кислой капусты и плохо постиранного белья, и стал потихоньку взбираться наверх, останавливаясь у дверных дощечек и ища нужную фамилию...

* * *

...вошел кондуктор, сказал натруженным бессонной ночью баском: «вашшь билеты». Поезд подходил к Кудринской, и в купе опять стало по-утреннему просторно и свежо. Глушков стянул с верхней полки измятое пальто, присел на лавочке подле широченно-оборудаченного старика, всю ночь бубонившего сонным пассажирам про какую-то свою историю.

Старик, поблескивая раскрошенным в бороде серебром, и сейчас рассказывал о том же, должно быть, сначала:

— И то сказать, — обстоятельно прожевывая слова, говорил он, — не хвались женитьбой на третий день, — хвались по третьему году, а прожили мы со старухой двадцать шесть годков, как раз до прошлогодних

выборов в сельсовет. Оно, конечно, женой хвастать не приходится — сорока, говорится, не побелела, а как побелеет, то обязательно и бабий верх будет... Народная наша мудрость...

Глушков, зевая, поднялся с лавочки и, волоча за собой пальто, вышел на площадку. Справа и слева лежали поля, дышавшие ровно и важно, как материнская грудь и, как всегда в апреле, синие. Над сонной по-утреннему водой железнодорожной канавки вились стрекозы, бабочки, метнулся какой-то жук к пухлому, словно борода, комку травы: — как всегда весной, ползающее и летающее оживало раньше травы. Жизнь неслась мимо нескончаемым горизонтом полей, пригорком, дюжиной облезлых, словно после драки, деревьев на нем, бабой-сторожихой в желтогрязном тулупе, босой, беременной, с флажком в вытянутой руке, — жизнь неслась мимо со скоростью поезда, и встречный ветер дул ей в лицо, дребезжа оконными переборками. Вчера он дал телеграмму отцу, что едет в отпуск, просил выехать на станцию. Выедет ли отец, и какой он стал теперь? — шесть лет не видел Глушков отца. Но отец на станцию не выехал... Станция была все той же — все тот же перевернутый ржавый гроб, и струйки кипятка настыли по перрону, и под колоколом с вечера ожидают поезда бабы. Под станционной ракиткой молчаливой кучкой стояли ямщики; седая апрельская роса скупо блестела на их шапках.

— В Мещовск! — сказал Глушков, подходя к ямщикам.

— Ну, что ж! — в черед отвечал один из них — старик в святительской бородке и в тулупе, облатанном по груди шашками новой овчины. Старик подался вперед и в знак согласия опустил кнут.

— А далеко ль до города? — спросил Глушков, хоть знал, что до города двадцать шесть верст. Непонятная задорливость, да еще вот то мутное беспокойство, что каждую весну обновляет людям жизнь — овладевали им с такой веселой силой, что хотелось запеть, сказать что-нибудь веселое, чтоб все рты развязались улыбкой.

Старик поднял равнодушные, обледенелые глаза, посмотрел на глушковскую фуражку и задумался: — прибавить ему или убавить? — решил прибавить, сказал:

— Верстов тридцать будет...

Глушков не выдержал, рассмеялся кругло и широко, как рассмеяться можно только в такое вот широкое утро, когда солнце теплой ладонью прикрывает глаза, когда восстали к жизни новые поля, и через них впереди — веселая, как жизнь, дорога.

— Ну-ну! Ай, и версты у вас растут? — вскричал Глушков, подделываясь под тон ямщика, и как бы давая ему тем понять, что он — свой, ему не нужно, как чужаку, прибавлять со скуки версты. — Да тут и двадцати пяти не будет, как под Изъяловым своротишь с большака!

— И то, — опять согласился старик, — дорога дальняя.

В станционной зале, тусклой от пропыленных окон, висело прошлогоднее расписание, вокруг лампешки — к утру не потушенной, а привернутой — колыхалась паутина с прошлогодними мухами. На мраморной

ске прилавка сиял до неприличия огромный самовар. Заметив фуражку ушкова, буфетчик с достоинством махнул салфеткой по прилавку, по:л к столику сдержанной походкой человека, знакомого со всеми и знаю:го про всех все.

— Изволите инженером по случаю половодья? — спросил он, из жливости дотрагиваясь до стола, за которым сел Глушков.

— Вот, вот! — весело соврал Глушков! — по случаю половодья...

Напившись чаю с тухловатой колбасой и баранками, Глушков выл к ямщику. Ямщик по-стариковски бестолково засуетился, перекладая сено из кормушки в сиденье, снял с лошади попонку, из уважения гановился у лошади, косившей крупным, соленым глазом, и ждал, ка Глушков залезал в телегу. С полчаса ехали молча. Старик сгорбился, ібко тянувшая к дому лошадь взмахивала хвостом, задевала его жестким крым волосом. За телегой, перелетая с лозинки на лозинку, вязались ачи в ожидании помета. Глушков закурил, предложил старику, но тот казался и, оборачиваясь, сказал:

— Тятенька-то ваш, очень заждались... Вчера, как мне ехать, говорит: — будете, мол, вы в фуражке... Я как увидал, — думаю не иначе Ивана Андреича сынок... не иначе думаю — сынок... А мне говорят... ятенька то есть мне говорят: — никак не способно по случаю воды... Очень вода нас добивает! Как вздумали о прошлом годе на электрическую станцию озеро ворошить — она, окаянная сила, прорвала после льду, так и прет... четвертую неделю после каждого дождя прет без толку... бе-еда!

Старик покрутил головой, подстегивая для порядку лошадь.

— Тятенька-то ваш — учитель, а вроде за инженера ходит... Прямо толку сбились с проклятой водой...

И вдруг опять на память упали события последних двух недель. Под этой простой жизнью, жившей фактами, сильнейшими чем мысль, — опять из глухих складов памяти приходили, как непрошенные гости, противоречия жизни, швырнувшие его сюда. Они закивали ему, готовились новой силой ухватиться за обнаженную душу, — и Глушков растерялся, олез за папиросами, чтоб подавиться дымом, стал смотреть на поля, на устарник, уже обещающий тяжелый цвет весны, уже склонившей к земле олую неподатливость зимнего равнодушия. В стремительном беге земли ногое ли человеческое смогло удержаться? И он вспомнил почему-то, как днажды — мальчишкой — он ушел с книжкой Пушкина к реке, к камышевой заводи. Камыши стояли тихо и неподвижно, и в тишине их была розная торжественность, словно они сторожили мутный извечный покой. квозь распластанные, обнимающие небо ветлы стекало в реку солнце, ронзало ее великолепную глубь, и по огненному пронзенному столбу виась рыбья мелюзга, нежась развороченным серебром. И книжка, во ногом открывавшая смысл жизни, учившая чувствовать, ибо в ней, как учебнике, с предельной толковостью рассказывалось о человеческой уше, — выпала из рук в поднятую солнцем атавистической, запредельой памяти муть. Он заснул тогда у реки — заснул, должно быть, тем

сном, каким спят индейцы над потухшими кострами. Ну, что ж! Цепкая мучительность московских событий кончилась, и думать о ней надо не пушкинскими метафорами, а голым перечнем фактов. Думать надо с глиняной простотой, с какой говорит и думает вот этот примолкший старик. С той ночи он жил у Ложкина, — и попрежнему Ложкин разделял человека и цель, и требовал, чтобы человек безоговорочно служил цели.

— Ты смерь, — говорил Ложкин, — смерь глубину отчаяния... и, если она неизмерима, отдай и отчаяние свое революции...

— Колька! — вскричал Глушков, — ерунду говоришь!..

— Нет, не ерунду... — отвечал Ложкин, ввинчиваясь в белое глушковское лицо неморгающим своим взглядом, — если отчаяние бездонно — поезжай в Китай...

— Колька! Но ведь это же то... то, что ты... это же — легализованное самоубийство...

— Ну, вот... — спокойно формулировал Колька, — значит оно не бездонно, и ты для революции не мертв. Мы, коммунисты, привыкли считать, что все мы находимся как бы в одной плоскости... Но думать так — есть уклон, товарищ Глушков... Мы равны перед лицом будущего — это верно, но в плане революции наша работа не равна, она каждому по возможностям его... И потому мы идем в революции лестницей... И первейшая задача каждого коммуниста в том и заключается, чтоб отыскать в живой жизни ступеньку, на которую ему нужно поместиться, ибо только с нее он будет участвовать в общем поступательном движении... Если ты — отличный укомщик, — будь им и не лезь в редакторы газеты. Если ты — отличный рабочий, — стой у станка и не лезь в укомщики. — Ложкин стоял у стола, в задумчивости теребя шершавый свой подбородок. — Ты говорил о своих делах, а я слушал и думал: — как здорово ты смерил глубину того, что уже за тобой, и как плохо ты видишь будущее... Есть люди, которые всю свою жизнь проходили по теневой стороне улицы, — нам же историей предопределено ходить по солнечной. Бережной поверил в это, потому он и был так решителен...

— Но во что же? — вскричал Глушков, — во что же?

— В закономерность... в непрерывный, в неостанавливающийся ход революции... Тобой и тысячами такие, как ты, революция победила и первую эту победу революции ты принял за основную, отнес ее на свой счет, и — верно сказал Бережной — хочешь жить процентами с нее... А меж тем революция продолжается, она только закрепилась на передовых своих позициях, отвоевав видимое: земли, фабрики, равенство... Но еще велики и огромны ее пути... Она идет ко второй цели — к культурной революции: — она умоет мылом неумытую нашу страну, научит ее читать хоть по складам... Так закрепится она во второй линии окопов, но горе будет тем, кто подумает, что она достигла окончательной победы, и с нее уже можно околачивать райские яблоки... Нет, Глушков! Именно тогда-то и предстоит самый решительный бой: — за духовную революцию... Ты же спутал все три плана, потому что у тебя нет терпения и достаточной

›енности... А ведь тут у всех нас путь один, и нельзя сказать «б», не
:авши «а»...

— Но послушай! — в нетерпении перебил Глушков, — ведь это
'олое, ничем не прикрытое апостольство...

— Совершенно верно, — взмахивая, как бы врубая рукой, про-
ıал Ложкин, — апостольство, но мы приглашаем в апостолы каждого,
в силах поднять эту неизбежную ношу.

Под влиянием этих разговоров, ложкинской все такой же неколе-
›й, какой была она в вузе, уверенности, Глушков решил взять отпуск
ехать к отцу. В правлении синдиката против отпуска не возражали: —
оследнем докладе в НТО Глушков провалил проект о стандартизации,
ыйдя из заседания, понял, что проект провалился потому, что у него
:ашлось во-время тех самых убедительных, круглых, как ядра, фраз,
шибавших двери сказочностью «сезама отворись». А фразы эти не на-
сь потому, что на заседании в НТО он встретил Бережного. Береж-
как всегда, вошел в зал боком, словно у него были две левых ноги:
цев Глушкова, он не уронил глаз в угол в той минутной нерешитель-
и, в которой человек прислушивается к сердцу: — не подскажет ли? —
пошел прямо на него, с деловой озабоченностью протянул руку, взвол-
ванно — будто слова жарились у него во рту — стал говорить, что по
становлению расценочной комиссии последнюю партию товара следо-
ло отпустить по тридцать пять с четвертью.

— Это — ошибка, товарищ Бережной... вы пришлите завтра же...—
ıпробовал защищаться Глушков.

— То-то и я думал — не ошибка ли? — вдруг успокаиваясь, согла-
лся Бережной. — Да вот подпиши тут резолюцию... Я и бумажку при-
товил...

И по той медлительной неторопливости, с какой руки его раскрывали
ртфель, чтоб вытащить заготовленное отношение, Глушков догадался,
о Надежда Борисовна вернулась, что сегодня Архип ночевал дома, —
зот утром ушел на работу, в трест, в НТО, а дома на столе — кусок недо-
енной колбасы и рядом в просаленную колбасную обертку воткнута
пироса с омерзительным розовым ободком.

— Стало быть, тятенька за инженера ходит? — с усмешкой спро-
л Глушков, отдаваясь озорной, беспричинной бодрости, какая свева-
сь в душу от простора, от полей, от косопегого леса, сторожившего
бо, расплеснутое, не знающее. никаких человеческих границ, русское
бо.

— Дык что ж! — развел вожжами ямщик, — пойдешь, если оно
добно... пойде-е-шь! — повторил он почти с угрозой.

А три часа спустя, когда отплакала умильной слезой мать — высо-
я и строгая под черным платком, темнившим ее чеканное, как на медали,
цо, когда спала недужная радостливость встречи, и в мысли каждому
законной настойчивостью вошли привычные дела, — мать ушла в
'хню готовиться к обеду, а отец виновато засуетился в передней, разы-

скивая калоши, — Глушков надел шапку и вышел с отцом. Утро стояло бодрое и высокое, в уверенных его лучах ссутулившиеся за зиму домишки оживали словно улитки. Под ногами стелились лужи, казались кусками солнца, сброшенными от избытка на землю. В лицо подувал ветер: — влажный и ненасытный, пахнущий солнцем, крупными, как зерно, апрельскими дождями, гниловатой зарождающей жизнь свежестью. Глотнув ветра, Глушков безошибочно — как в детстве — догадался, что идет он с полей, от весенней широкой межи, уже распоротой плугом, чтоб принять новые семена. И тогда со скорбью, от которой слова застревали во рту, он стал рассказывать отцу о том, что любил и потерял двух женщин, а с ними уверенность в жизни, какую нашел он по велению революции, вот здесь.

— Здесь! — показал он на черную целину распаханного Попова луга.

Старик слушал его внимательно, он шел впереди, похлюпывая калошами, и розоватое — той особой розоватой чистотой, какая бывает только у стариков — лицо его светилось на солнце, как стекло хорошо промытого окна. И едва Глушков кончил — старик заговорил о своем, о чем думал, должно быть, и сейчас, слушая сына, о чем думал все это время, что стало паспортом, правом на жизнь, наложило на его лицо печать розоватой старческой примиренности:

— Саша, ведь и я... — и он махнул рукой в сторону черного Попова луга, — и я прожил всю жизнь, складывая мечту на мечту по ночам, для того чтоб остатком своих сил, — он остановился, прижимая руки к груди, — рвануться напоследок. И видишь — этих сил напоследок хватило, чтобы сорвать мечту с неба и прижать к груди, как возлюбленное дитя... И вот, Саша, этой ожившей мечте я дал тебя, и ты не бойся... Ты не бойся, что для тебя она стала живым и трудным делом. Помни, что сначала подвиг и живая человеческая кровь, а уж потом история и философия...

Они подходили в это время к пруду, вдруг сверкнувшему перед глазами как взнесенная чаша. Желтоватая вода, подпиравшая горизонты, подходила к плетням, торчавшим как зубья под самой дорогой; прорываясь сквозь зубья, вода студеными полотенцами свисала на дорогу, натекала лужами к ближним улицам городка. По дороге черными жуками копошились мужичьи телеги, по лужам бежали мужики, матюкаясь от солнца, от того, что вода хлюпает под сапогами, и еще от сознания своей беспомощности, ненужности ни этого вот гомона, ни этих подвод с навозом и хворостом, какие стояли на дороге: — вода лилась как море, неудержимое как оно. И, увидев это, Глушков не чутьем, а расчетом формул и механических законов понял, что ни отец, побежавший по дороге к матерщинившим мужикам, ни мужики — никто не понимает опасности. Вот девочка с коромыслом на плече, в платке с тугим бабьим кокетством, увязанном под самый подбородок, вышла за водой. Мальчишка гнал гусей, весело и больно пританцовывая на холодной еще земле. Возле столба с обвисшей мочалой электрической арматуры остановилась старуха, сложила руки на животе, смотрит прищуренным глазом на восставшую водяную муть, и жмурит

уставшие свои глаза, которым больно смотреть на огромное опрокинутое солнце. Подъехала задрипанная грязью бричка, из нее степенной развалкой вышел человек в ладных сапогах и с портфелем, и вдруг, словно по команде, примолкшие мужики сняли шапки.

«Снесет! — с отчанием подумал Глушков, — все снесет к чортовой матери»...

И, бросаясь вперед с той увлекающей страстностью, с какой бросается человек в огонь на пожаре, чувствуя, что эта страстность не смеет не увлечь других и что другие ей подчинятся, как организующей воле, — Глушков сорвал с ближайшего воза кол, побежал по воде, закричал опешившим и в этой своей опешенности невольно рванувшимся к нему мужикам:

— Гать от столба... Гать влево...

Происхождение мастера.

(Рассказ).

Андрей Платонов.

Есть ветхие опушки у старых провинциальных городов. Туда люди приходят жить прямо из природы. Появляется человек — с зорким и до грусти изможденным лицом, который все может починить и оборудовать, но сам прожил жизнь необорудованно. Любое изделие, от сковородки до будильника, не миновало на своем веку рук этого человека. Не отказывался он также подкидывать подметки, лить волчью дробь и штамповать поддельные медали для продажи на сельских старинных ярмарках. Себе же он никогда ничего не сделал — ни семьи, ни жилища. Летом он жил просто в природе, помещая инструмент в мешке, а мешком пользовался как подушкой — более для сохранности инструмента, чем для мягкости. От раннего солнца, он спасался тем, что клал себе с вечера на глаза лопух. Зимой же он существовал на остатки летнего заработка, уплачивая церковному сторожу за квартиру тем, что звонил ночью часы. Его ничто особо не интересовало — ни люди, ни природа, — кроме всяких изделий. Поэтому к людям и полям он относился с равнодушной нежностью, не посягая на их интересы. В зимние вечера он иногда делал ненужные вещи: башни из проволок, корабли из кусков кровельного железа, клеил бумажные дирижабли и прочее — исключительно для собственного удовольствия. Часто он даже задерживал чей-нибудь случайный заказ, — например, давали ему на кадку новые обручи подогнать, а он занимался устройством деревянных часов, думая, что они должны ходить без завода — от вращения земли.

Церковному сторожу не нравились такие бесплатные занятия.

— На старости лет ты побираться будешь, Захар Палыч! Кадка вон который день стоит, а ты о землю деревяшкой касаешься — неведомо для чего!

Захар Павлович молчал: человеческое слово для него, что лесной шум для жителя леса — его не слышишь. Сторож шутил и спокойно глядел дальше — в бога он от частых богослужений не верил, но знал наверное, что ничего у Захара Павловича не выйдет: люди давно на свете живут и уже все выдумали.

Через четыре года в пятый село наполовину уходило в шахты и орода, а наполовину в леса — бывал неурожай. Издавна известно, то на лесных полянах даже в сухие годы хорошо вызревают травы, вощ и хлеб. Оставшаяся на месте половина деревни бросалась на эти оляны, чтобы уберечь свою зелень от моментального расхищения потоами жадных странников. Но на этот раз засуха повторилась и в следуюцем году. Деревня заперла свои хаты и вышла двумя отрядами на больıак — один отряд пошел побираться к Киеву, другой — на Луганск на заараотки; некоторые же повернули в лес и в заросшие балки, стали есть сырую раву, глину и кору и одичали. Ушли почти одни взрослые — дети сами аранее умерли, либо разбежались нищенствовать. Грудных же постепенно атомили сами матери-кормилицы, не давая досыта сосать.

Была одна старуха — Игнатьевна, которая лечила от голода малоетних: она им давала грибной настойки пополам со сладкой травой, и ети мирно затихали с сухой пеной на губах. Мать целовала ребенка в эстарившийся морщинистый лобик и шептала:

— Отмучился родимый. Слава тебе, господи!

Игнатьевна стояла тут же:

— Преставился, тихий: лучше живого лежит, сейчас в раю ветры серебряные слушает...

Мать любовалась своим ребенком, веря в облегчение его грустной доли.

— Возьми себе мою старую юбку, Игнатьевна, — нечего больше дать. Спасибо тебе.

Игнатьевна простирала юбку на свет и говорила:

— Да ты поплачь, Митревна, немножко: так тебе полагается. А юбка твоя ношоная-переношоная, прибавь хоть платочек, ай утюжек подари...

Захар Павлович остался в деревне один — ему понравилось безлюдье. Но жил он больше в лесу, в землянке с одним бобылем, питаясь наваром трав, пользу которых заранее изучил бобыль.

Все время Захар Павлович работал, чтобы забывать голод, и приучился из дерева делать все то же, что раньше делал из металла. Бобыль же всю жизнь ничего не делал — теперь тем более; до пятидесяти лет он только смотрел кругом — как и что́, — и ожидал: что выйдет, в конце концов, из общего беспокойства; он совсем не был одержим жизнью — и рука его так и не поднялась ни на женский брак и ни на какое общеполезное деяние. Родившись, он удивился, и так и прожил до старости с голубыми глазами на моложавом лице. Когда Захар Павлович делал дубовую сковородку, бобыль поражался, что на ней все равно ничего нельзя изжарить. Но Захар Павлович наливал в деревянную сковородку воды и достигал на медленном огне того, что вода кипела, а сковородка не горела. Бобыль замирал от удивления:

— Могучее дело. Куда же тут, братцы, до всего дознаться!..

И у бобыля опускались руки от сокрушающих всеобщих тайн. Ни разу никто не объяснил бобылю простоты событий — или он сам был конец бестолковый. Действительно, иногда Захар Павлович пробовал му рассказать, отчего ветер дует, а не стоит на месте, но бобыль еще олее удивился и ничего не понял, хотя почувствовал происхождение тра точно.

— Да неужто? — скажи пожалуйста! Стало быть, от солнечного ипеку? Милое дело!..

Захар Павлович объяснил, что припек дело не милое, а просто — ара.

— Жара?! — удивился бобыль. — Скажи пожалуйста, ведьма кая!

У бобыля только переводилось удивление с одной вещи на другую, в сознание ничего не превращалось. Вместо ума он жил чувством доочивого уважения.

За лето Захар Павлович переделал из дерева все изделия, какие ал. Землянка и ее усадебное прилежащее место были уставлены предмеми технического искусства Захара Павловича — полный комплект льскохозяйственного инвентаря, машин, инструментов, предприятий житейских приспособлений — все целиком из дерева. Странно, что одной вещи, повторявшей природу, не было: например, лошади, тыквы и еще чего.

В августе бобыль пошел в тень, лег животом вниз и сказал:

— Захар Павлович, я помираю, я вчера ящерицу съел... Тебе два ібка принес, а себе ящерицу сжарил. Помахай мне лопухом по верхам— ветер люблю.

Захар Павлович помахал лопухом, принес воды и попоил умирающего.

— Ведь не умрешь. Тебе только кажется.

— Умру, ей-богу умру, Захар Палыч,— испугался солгать бобыль.— трё ничего не держит, во мне глист громадный живет, он мне всю вь выпил...

Бобыль повернулся навзничь:

— Как ты думаешь, бояться мне, аль нет?

— Не бойся, — положительно ответил Захар Павлович. — Я бы хоть сейчас умер, да все, знаешь, занимаешься разными изделиями...

Бобыль обрадовался сочувствию и к вечеру умер без испуга. Захар влович во время его смерти ходил купаться в ручей и застал бобыля : мертвым, задохнувшимся собственной зеленой рвотой. Рвота была тная и сухая, она тестом осела вокруг рта бобыля, и в ней действовали ые мелкокалиберные черви.

Ночью Захар Павлович проснулся и слушал дождь; второй дождь преля месяца. «Вот бы бобыль удивился», — подумал Захар Павло- . Но бобыль мокнул один в темноте ровно льющихся с неба потоков ихо опухал.

Сквозь сонный безветреный дождь что-то глухо и грустно запело — так далеко, что там, где пело, наверно не было дождя и был день. Захар Павлович сразу забыл бобыля и дождь, и голод и встал. Это гудела далекая машина, живой работающий паровоз. Захар Павлович вышел наружу и постоял во влаге теплого дождя, напевающего про мирную жизнь, про обширность долгой земли. Темные деревья дремали, раскорячившись, объятые лаской спокойного дождя; им было так хорошо, что они изнемогали и пошевеливали ветками без всякого ветра.

Захар Павлович не обратил внимания на отраду природы, его разволновал неизвестный смолкший паровоз. Когда он ложился обратно спать, он подумал, что дождь — и тот действует, а я сплю и прячусь в лесу напрасно: умер же бобыль, умрешь и ты; тот ни одного изделия за весь свой век не изготовил — все присматривался да приноравливался, всему удивлялся, в каждой простоте видел дивное дело, и руки не мог ни на что поднять, чтобы что-нибудь не испортить; только грибы рвал, и то находить их не умел; так и умер, ни в чем не повредив природы.

Утром было большое солнце и лес пел всею гущей своего голоса, пропуская утренний ветер под исподнюю листву. Захар Павлович заметил не столько утро, сколько смену работников — дождь уснул в почве, его заместило солнце; от солнца же поднялась суета ветра, взъерошились деревья, забормотали травы и кустарники, и даже сам дождь, не отдохнув, снова вставал на ноги, разбуженный щекочущей теплотой, и собирал свое тело в облака.

Захар Павлович положил в мешок свои деревянные изделия — сколько их в нем уместилось — и пошел в даль, по грибной бабьей тропинке. На бобыля он не посмотрел: мертвые невзрачны; хотя Захар Павлович знал одного человека, рыбака с озера Мутево, который многих расспрашивал о смерти и тосковал от своего любопытства; этот рыбак больше всего любил рыбу не как пищу, а как особое существо, наверное знающее тайну смерти. Он показывал глаза мертвых рыб Захару Павловичу и говорил: «Гляди — премудрость! Рыба между жизнью и смертью стоит, оттого она и немая и глядит без выражения; телок ведь и тот думает, а рыба нет — она все уже знает». Созерцая озеро годами, рыбак думал все об одном и том же — об интересе смерти. Захар Павлович его отговаривал: «Нет там ничего особого: холостой человек у девки за пазухой тоже большого добра ищет, а женится — одни сиськи находит». Через год рыбак не вытерпел и бросился с лодки в озеро, связав себе ноги веревкой, чтобы нечаянно не поплыть. Втайне он вообще не верил в смерть, главное же он хотел посмотреть — что там есть: может быть, гораздо интересней, чем жить в селе или на берегу озера; он видел смерть как другую губернию, — которая расположена под небом, будто на дне прохладной воды, — и она его влекла. Некоторые мужики, которым рыбак говорил о своем намерении пожить в смерти и вернуться, отговаривали его, а другие соглашались с ним: «Что ж, испыток не убыток, Митрий Иванович. Пробуй, потом нам расскажешь». Дмитрий Ивано-

вич попробовал: его вытащили из озера через трое суток и похоронили у ограды на сельском погосте.

Сейчас Захар Павлович проходил мимо погоста и искал могилу рыбака в частоколе крестов. Над могилой рыбака не было креста: ни одно сердце он не огорчил своею смертью, ни одни уста его не поминали, потому что он умер не в силу немощи, а в силу своего любопытного разума. Жены у рыбака не осталось — он был вдовый, сын же был малолеток и жил у чужих людей. Захар Павлович приходил на похороны и вел мальчишку за руку — ласковый и разумный такой мальчик, не то в мать, не то в отца; где сейчас этот мальчик? — Наверно, умер первым в эти голодные годы, как круглый сирота. За гробом отца мальчик шел без горя и пристойно.

— Дядя Захар, это отец нарочно так улегся?

— Не нарочно, Сашь, а сдуру — тебя теперь в убыток ввел. Не скоро ему рыбу ловить придется.

— А чего тетки плачут?

— Потому что они хоньжи!

Когда гроб поставили у могильной ямы, никто не хотел прощаться с покойным. Захар Павлович стал на колени и притронулся к щетинистой свежей щеке рыбака, обмытой на озерном дне. Потом Захар Павлович сказал мальчику:

— Попрощайся с отцом — он мертвый на веки веков. Погляди на него — будешь вспоминать.

Мальчик прилег к телу отца, к старой его рубашке, от которой пахло родным живым потом, потому что рубашку надели для гроба — отец утонул в другой. Мальчик пощупал руки, от них несло рыбной сыростью, на одном пальце было надето оловянное обручальное кольцо в честь забытой матери. Ребенок повернул голову к людям, испугался чужих и жалобно заплакал, ухватив рубашку отца в складки, как свою защиту; его горе было безмолвным, лишенным сознания остальной жизни и поэтому неутешимым; он так грустил по мертвому отцу, что мертвый мог бы быть счастливым. И все люди у гроба тоже заплакали от жалости к мальчику и от того преждевременного сочувствия самим себе, что каждому придется умереть и так же быть оплаканным.

Захар Павлович, при всей своей скорби, помнил о дальнейшем:

— Будет тебе, Никифоровна, выть-то, — сказал он одной бабе, плакавшей навзрыд и с поспешным причитанием. — Не от горя воешь, а чтоб по тебе поплакали, когда сама помрешь. Ты возьми-ка мальчишку к себе — у тебя все равно их шестеро, один фальшью какой-нибудь между всеми пропитается.

Никифоровна сразу пришла в свой бабий разум и осохла свирепым лицом: она плакала без слез, одними морщинами.

— И то будто! Сказал тоже — фальшью какой-то пропитается! Это он сейчас такой, а дай возмужает — как почнет жрать, да штаны занать — не наготовишься!

Взяла мальчика другая баба, Мавра Фетисовна Дванова, у которой было семеро детей. Ребенок дал ей руку, женщина утерла ему лицо юбкой, высморкала его нос и повела сироту в свою хату. Захар Павлович задумался и хотел уйти в босяки, но остался на месте. Его сильно тронуло горе и сиротство — от какой-то неизвестной открывшейся в груди совести, он хотел бы без отдыха итти по земле, встречать горе во всех селах и плакать над чужими гробами. Но его остановили очередные изделия: староста ему дал чинить стенные часы, а священник — настраивать рояль. Захар Павлович сроду никакой музыки не слыхал — видел в уезде однажды граммофон, но его замучили мужики и он не играл: граммофон стоял в трактире, у ящика были поломаны стенки — чтобы видеть обман того, кто там поет, а в мембрану вдета штопальная игла. За настройкой рояля он просидел месяц, пробуя заунывные звуки и рассматривая механизм, вырабатывающий такую нежность. Захар Павлович ударял по клавише — грустное пение поднималось и улетало; Захар Павлович смотрел вверх и ждал возвращения звука — слишком он хорош, чтобы бесследно растратиться. Попу надоело ждать настройки, и он сказал: «Ты, дядюшка, напрасно тона не оглашай, ты старайся дело приурочить к концу и не вникай в смысл тебе непотребного». Захар Павлович обиделся до корней своего мастерства и сделал в механизме секрет, который устранить можно в одну секунду, но обнаружить без особого знания нельзя. После поп еженедельно вызывал Захара Павловича: «Иди, друг, иди — опять тайнообразующая сила музыки пропала». Захар Павлович не для попа сделал секрет и не для того, чтобы самому часто ходить наслаждаться музыкой: его растрогало противоположное — как устроено то изделие, которое волнует любое сердце, которое делает человека добрым; для этого он и приладил свой секрет, способный вмешиваться в благозвучность и покрывать его завыванием. Когда, после десяти починок, Захар Павлович понял тайну смешения звуков и устройство дрожащей главной доски, он вынул из рояля секрет и навсегда перестал интересоваться звуками.

Теперь Захар Павлович на-ходу вспоминал прошедшую жизнь и не сожалел о ней. Многие устройства и предметы он лично постиг в утекшие годы и мог их повторить в своих изделиях, если будет подходящий материал и инструменты. Шел он сквозь село — ради встречи неизвестных машин и предметов, что гудят за тою чертой, где могучее небо сходится с деревенскими неподвижными угодьями. Шел он туда с тем сердцем, с каким крестьяне ходят в Киев, когда в них иссякает вера и жизнь превращается в дожитие.

На сельских улицах пахло гарью — это лежала зола на дороге, которую не разгребали куры, потому что их поели. Хаты стояли полные бездетной тишины; одичалые, переросшие свою норму, лопухи ожидали хозяев у ворот, на дорожках и на всех обжитых протоптанных местах, где ранее никакая трава не держалась, и покачивались, как будущие деревья. Плетни от безлюдья тоже зацвели: их обвили хмель и повитель,

а некоторые колья и хворостины принялись и обещали стать рощей, если люди не вернутся. Дворовые колодцы осохли, туда свободно, переползая через сруб, бегали ящерицы отдыхать от зноя и размножаться. Захара Павловича еще немало удивило такое бессмысленное происшествие, что на полях хлеб давно умер, а на соломенных крышах изб зеленели рожь, овес, просо и шумела лебеда: они принялись из зерен в соломенных покрытиях. В село перебрались также полевые светлозеленые птицы, живя прямо в горницах изб; воробьи же снимались с подножия тучами и выговаривали сквозь ветер крыльев свои хозяйские деловые песни.

Минуя село, Захар Павлович увидел лапоть; лапоть тоже ожил без людей и нашел свою судьбу — он дал из себя отросток шелюги, а остальным телом гнил в прах и хранил тень над корешком будущего куста. Под лаптем была наверное почва посырее, потому что сквозь него тщилось пролезть множество бледных травинок. Из всех деревенских вещей Захар Павлович особенно любил лапоть и подкову, а из устройств — колодцы. На трубе последней хаты сидела ласточка, которая от вида Захара Павловича влезла внутрь трубы и там, во тьме дымохода, обняла крыльями своих потомков.

Вправо осталась церковь, а за ней — чистое знаменитое поле, ровное, словно улегшийся ветер. Малый колокол-подголосок начал звонить и отбил полдень: двенадцать раз. Повитель опутала храм и норовила добраться до креста. Могилы попов у стен церкви занесло бурьяном и низкие кресты погибли в его чащах. Сторож, отделавшись, еще стоял у паперти, наблюдая ход лета; будильник его запутался в многолетнем счете времени, зато сторож от старости начал чуять время так же остро и точно, как горе и счастье; что бы он ни делал, даже когда спал (хотя в старости жизнь сильнее сна — она бдительна и ежеминутна), но истекал час, и сторож чувствовал какую-то тревогу или вожделение, тогда он бил часы и опять затихал.

— Живой еще дедушка? — сказал сторожу Захар Павлович. — Для кого ты сутки считаешь?

Сторож хотел не отвечать: за семьдесят лет жизни он убедился, что половину дел исполнил зря, а три четверти всех слов сказал напрасно: от его забот не выжили ни дети, ни жена, а слова забылись как посторонний шум. «Скажу этому человеку слово, — судил себя сторож, — человек пройдет версту и не оставит меня в вечной памяти своей: кто я ему — ни родитель, ни помощник!»

— Зря работаешь! — упрекнул Захар Павлович.

— Сторож на эту глупость ответил:

— Как так — зря? На моей памяти наша деревня десять раз выходила, а потом обратно селилась. И теперь возвернется: долго без человека нельзя.

— А звон твой для чего?

Сторож знал Захара Павловича, как человека, который давал волю своим рукам для всякой работы, но не знавшего цену времени.

— Вот тебе — звон для чего! Колоколом я время сокращаю и песни пою...

— Ну, пой, — сказал Захар Павлович и вышел вон из села. На отшибе съежилась хатка без двора, видно кто-то наспех женился, поругался с отцом и выселился. Хата тоже стояла пустой и внутри ее было жутко. Одно только на прощанье порадовало Захара Павловича — из трубы этой хаты вырос наружу подсолнух, — он уже возмужал и склонился на восход солнца зреющей головой.

Дорога заросла сухими, обветшалыми от пыли травами. Когда Захар Павлович присаживался покурить, он видел на почве уютные леса, где трава была деревьями: целый маленький живой мир со своими дорогами, своим теплом и полным оборудованием для ежедневных нужд мелких озабоченных тварей. Заглядевшись на муравьев, Захар Павлович держал их в голове еще версты четыре своего пути и, наконец, подумал: «Дать бы нам муравьиный или комариный разум — враз бы можно жизнь безбедно наладить: эта мелочь — великие мастера дружной жизни; далеко человеку до умельца-муравья».

Появился Захар Павлович на опушке города, снял себе чулан у многодетного вдовца-столяра, вышел наружу и задумался: чем бы ему заняться?

Пришел с работы столяр-хозяин и сел рядом с Захаром Павловичем.

— Сколько тебе за помещение платить? — спросил Захар Павлович.

Столяр похрипел горлом, как-бы желая смеяться; в голосе его слышна была безнадежность и то особое притерпевшееся отчаяние, которое бывает у кругом и навсегда огорченного человека.

— А ты чем занимаешься? Ничем? Ну, живи так, пока мои ребята тебе голову не оторвали...

Это он сказал верно: в первую же ночь сыновья столяра — ребята от десяти до двадцати лет — облили спящего Захара Павловича своей мочей; а дверь чулана приперли рогачем. Но трудно было рассердить Захара Павловича, никогда не интересовавшегося людьми. Он знал, что есть машины и сложные мощные изделия, и по ним ценил благородство человека, а не по случайному хамству. И в самом деле, утром Захар Павлович видел, как старший сын столяра ловко и серьезно делал топорище, значит — главное в нем не моча, а ручная умелость.

Через неделю Захар Павлович так заскорбел от безделья, что начал без спроса чинить дом столяра. Он перешил худые швы на крыше, сделал заново крыльцо в сенях и вычистил сажу из дымоходов. В вечернее время Захар Павлович тесал колышки.

— Что ты делаешь? — спрашивал у него столяр, промокая усы хлебной коркой — он только что пообедал: ел картошку и огурцы.

— Может быть, на что годятся, — отвечал Захар Павлович.

Столяр жевал корку и думал.

— Годятся могилы огораживать! Мои ребята говели постом — все могилы на кладбище специально обгадили.

Тоска Захара Павловича была сильнее сознания бесполезности труда, и он продолжал тесать колья до полной ночной усталости. Без ремесла у Захара Павловича кровь от рук приливала к голове, и он начинал так лубоко думать о всем сразу, что у него выходил один бред, а в сердце однимался тоскливый страх. Бродя днем по солнечному двору, он не мог ревозмочь свою думу, что человек произошел из червя, червь же это — ростая страшная трубка, у которой внутри ничего нет — одна пустая онючая тьма. Наблюдая городские дома, Захар Павлович открыл, что ни в точности походили на закрытые гробы, и пугался ночевать в доме толяра. Зверская работоспособная сила, не находя места, ела душу Захара Павловича, он не владел собой и мучился разнообразными чувствами, каких при работе у него никогда не появлялось. Он начал видеть сны: будто умирает его отец-шахтер, а мать поливает его молоком из своей груди, чтобы он ожил; но отец ей сердито говорит: «Дай хоть свободно помучиться, стерва», потом долго лежит и оттягивает смерть; мать стоит над ним и спрашивает: «Скоро ты?»; отец с ожесточением мученика плюет, ложится вниз лицом и напоминает: «Хорони меня в старых штанах, эти Захарке отдашь!».

Единственно, что радовало Захара Павловича, это сидеть на крыше и смотреть в даль, где в двух верстах от города проходили иногда бешеные железнодорожные поезда. От вращения колес паровоза и его быстрого дыхания у Захара Павловича радостно зудело тело, а глаза взмокали легкими слезами от сочувствия паровозу.

Столяр смотрел-смотрел на своего квартиранта и начал его кормить бесплатно со своего стола. Сыновья столяра бросили в отдельную чашку Захара Павловича на первый раз соплей, но отец встал и сразмаху, без всякого слова, выбил на скуле старшего сына бугор.

— Сам я: человек как человек, — спокойно сказал столяр, сев на свое место, — но, понимаешь ты, такую сволочь нарожал, что того и гляди — они меня кончат. Ты посмотри на Федьку! Сила — чортова: где он себе ряжку налопал, сам не пойму — с малолетства на дешевых харчах сидят...

Начались первые дожди осени — без времени, без пользы: крестьяне давно пропали в чужих краях, а многие умерли на дорогах, не дойдя до шахт и до южного хлеба. Захар Павлович пошел со столяром на вокзал заниматься: у столяра там был знакомый машинист.

Машиниста они нашли в дежурке, где отсыпались паровозные бригады. Машинист сказал, что народу много, а работы нет; остатки ближних деревень целиком живут на вокзале и делают что попало за низкий расценок. Столяр вышел и принес бутылку водки и круг колбасы. Выпив водки, машинист рассказал Захару Павловичу и столяру про паровозную машину и тормоз Вестингауза.

— Ты знаешь, инерция какая на уклонах бывает при шестидесяти осях в составе? — возмущенный невежеством слушателей, говорил машинист и упруго показывал руками мощь инерции. — Ого! Откроешь

рмозный кран — под тендером из-под колодок синее пламя бьет, вагоны затылок прут, паровоз дует с закрытым паром — один раз — батом в трубу юкочет! Ух, едрит твою мать!.. Налей! Огурца зря не купил: колбаса елудок запаковывает...

Захар Павлович сидел и молчал: он заранее не верил, что поступит паровозную работу — куда ж тут ему справиться после деревянных оводородок!

От рассказов машиниста его интерес к механическим изделиям ставился затаенней и грустней, как отказанная любовь.

— А ты что заквок? — заметил машинист скорбь Захара Павлоча. — Приди завтра в депо, я с наставником поговорю, может в обтирики возьмут! Не робей, сукин сын, раз есть хочешь...

Машинист остановился, не кончив какого-то слова: у него началась рыжка.

— Но, дьявол: колбаса твоя задним ходом прет! За гривенник пуд, щеброд, купил, лучше б я обтирочными концами закусил... Но, — снова ратился машинист к Захару Павловичу, — но паровоз мне делай под ркало, чтоб я в майских перчатках мог любую часть щупать! Паровоз и-ка-кой пылинки не любит: машина, брат, это барышня... Женщина уж е годится — с лишним отверстием машина не пойдет...

Машинист понес в даль отвлеченных слов о каких-то женщинах. Захар Павлович слушал-слушал и ничего не понимал: он не знал, что кенщин можно любить особо и издали, он знал, что такому человеку ледует жениться. С интересом можно говорить о сотворении мира и незнакомых изделиях, но говорить о женщине, как и говорить о мужчиах, — непонятно и скучно. Имел когда-то Захар Павлович жену, она его юбила, а он ее не обижал, — но он не видел от нее слишком большой радоти. Многими свойствами наделен человек; если страстно думать над ними, о можно ржать от восторга даже собственного ежесекундного дыхания. Но что тогда получится? Затея и игра в свое тело, а не серьезное внешнее уществование. Захар Павлович сроду не уважал таких разговоров.

Через час машинист вспомнил о своем дежурстве. Захар Павлович столяр проводили его до паровоза, который вышел из-под заправки. Машинист еще издали служебным басом крикнул своему помощнику:

— Как там пар?

— Семь атмосфер, — ответил без улыбки помощник, высовываясь из окна.

— Вода?

— Нормальный уровень.

— Топка?

— Сифоню.

— Отлично.

На другой день Захар Павлович пришел в депо. Машинист-наставник, сомневающийся в живых людях старичек, долго всматривался в него. Он так больно и ревниво любил паровозы, что с ужасом глядел, когда

они едут. Если б его воля была, он все паровозы бы поставил на вечный покой, чтоб они не увечились грубыми руками невежд. Он считал, что людей много, машин мало; люди — живые и сами за себя постоят, а машина — нежное, беззащитное, ломкое существо: чтоб на ней ездить исправно, нужно сначала жену бросить, все заботы из головы выкинуть, свой хлеб в олеонафт макать — вот тогда человека можно подпустить к машине, и то через десять лет терпения!

Наставник изучал Захара Павловича и мучился: холуй, наверно, — где пальцем надо нажать, он, скотина, кувалдой саданет, где еле-еле следует стеклышко на манометре протереть, он так надавит, что весь прибор с трубкой сорвет, — разве ж допустимо к механизму пахаря подпускать?! Боже мой, боже мой, — молча, но сердечно сердился наставник, — где вы, старинные механики, помощники, кочегары, обтирщики? Бывало, близ паровоза люди трепетали, а теперь каждый думает, что он умней машины! Сволочи, святотатцы, мерзавцы, холуи чортовы! По правилу, надо бы сейчас же остановить движение! Какие нынче механики? Это крушение, а не люди! Это бродяги, наездники, лихачи — им болта в руки давать нельзя, а они уже регулятором орудуют! Я, бывало, когда что-нибудь стукнет лишнее в паровозе на ходу, что-нибудь только запоет в ведущем механизме — так я концом ногтя, не сходя с места, чувствую, дрожу весь от страдания, на первой же остановке губами дефект найду, вылижу, высосу, кровью смажу, а втемную не поеду... А этот изо ржи да прямо — на паровоз хочет!

— Иди домой — рожу сначала умой, потом к паровозу подходи, — сказал наставник Захару Павловичу.

Умывшись, на вторые сутки Захар Павлович явился снова. Наставник лежал под паровозом и осторожно трогал рессоры, легонько постукивая по ним молоточком и прикладываясь ухом к позванивавшему железу.

— Мотя! — позвал наставник слесаря. — Подтяни здесь гаечку на полниточки!

Мотя тронул гайку разводным ключем на полповорота. Наставник вдруг так обиделся, что Захару Павловичу его жалко стало.

— Мотюшка! — с тихой угнетенной грустью сказал наставник, но поскрипывая зубами. — Что ты наделал, сволочь проклятая? Ведь я тебе что сказал: гайку!! Какую гайку? Основную! А ты контргайку мне свернул, и с толку меня сбил! А ты контргайку мне осаживаешь! А ты опять-таки контргайку мне трогаешь! Ну, что мне с вами делать, звери вы проклятые? Иди прочь, скотина!

— Давайте я, господин механик, контргайку обратно на полповорота отдам, а основную на полнитки прижму! — попросил Захар Павлович.

Наставник отозвался растроганным мирным голосом, оценив сочувствие к своей правоте постороннего человека.

— А? Ты заметил, да? Он же, он же — лесоруб, а не слесарь! Он же гайку, гайку по имени не знает! А? Ну, что ты будешь делать? Он тут

ıаровозом как с бабой обращается, как со шлюхой какой! Господи боже й!.. Ну, пойди, пойди сюда — поставь мне гаечку по-моему...

Захар Павлович подлез под паровоз и сделал все, точно и как надо. тем наставник до вечера занимался паровозами и ссорами с машини- ıми. Когда зажгли свет, Захар Павлович напомнил наставнику о себе. т снова остановился перед ним и думал свои мысли.

— Отец машины — рычаг, а мать — наклонная плоскость, — ласково оговорил наставник, вспоминая что-то задушевное, что давало ему кой по ночам. — Попробуй завтра топки чистить — приди во-время. ı не знаю, не обещаю — попробуем, посмотрим. Это слишком сурьезное ıо! Понимаешь: топка! Не что-нибудь, а топка! Ну, иди, иди прочь!

Еще одну ночь проспал Захар Павлович в чулане у столяра, а на)е, за три часа до начала работы, пришел к депо. Лежали обкатанные ıьсы, стояли товарные вагоны с надписями дальних стран: Закаспий- ıе, Закавказские, Уссурийские железные дороги. Особые странные ди ходили по путям: умные и сосредоточенные — стрелочники, маши- :ты, осмотрщики и прочие. Кругом были здания, машины, изделия и :ройства.

Захару Павловичу представился новый искусный мир — такой ιавно любимый, будто всегда знакомый, — и он решил навеки удержаться ı нем.

Голубое платье.

(Рассказ).

Пантелеймон Романов.

I.

Несчастье случилось на свадьбе недели за две до Покрова, когда леб был уже весь убран и в поле оставалась только запоздавшая картошка.

Дни стояли ясные, погожие, с утра все блестело от сильной осенней осы, над полями летала длинная паутина, и в свежем осеннем воздухе гоял крепкий запах побуревшей картофельной ботвы и конопли.

Спиридон накануне свадьбы дочери даже ходил на свой загон осмотреть, не пора ли выпахивать картошку. Постоял там, посмотрел з-под руки кругом и понурый пошел домой. Месяц тому назад дочь, 'стюшка, пришла и сказала, что выходит замуж за сына кузнеца Пар-ена, комсомольца.

— А денег на свадьбу кто тебе приготовил? — спросил Спиридон, : взглянув на дочь.

— Каких денег? Приданого ему не нужно, а венчаться будем не попа, просто запишемся, — сказала как-то небрежно, почти мимоходом, стинья, вильнула своей косой и ушла.

Жена Алена ахнула, а Спиридон бросился было за дочерью с кула-ıми, но сейчас же остановился и, махнув рукой, только сказал:

— Вот чортова порода-то пошла!..

Больше всего его задело почему-то, что жениху приданого не нужно. !начит, бездомовый будет, раз копейку не ценит», — подумал он.

Сам он был средний, смирный мужик, круглый год работал, не раз-бая спины. А в праздник надевал новую поддевку и шел в церковь или ал на базар, чтобы походить там с кнутом в руках по рядам между телег лавченок с кумачом и калачами, узнать, что в какой цене, и купить оей бабе на выезде из города в палатке связку мягких калачей.

Хотя он никогда ничем не выражал своей любви к жене, и если она зжала одна в город и долго не возвращалась, то он выходил на улицу ıсмотреть, не едет ли, но всегда смотрел не в сторону околицы, а как будто сторонам, чтобы люди не увидели, что он о ней беспокоится и ждет ее.

Говорил он с ней только о хозяйстве и ни о чем больше.

Теперь Спиридон стал молчалив, раздражителен, и если выпи-ал и его чем-нибудь задирали, у него глаза загорались диким огнем, і он, не помня себя, лез драться.

Один раз даже и в трезвом виде он едва не убил Семку-кровельщика, аленького, лохматого мужиченку, за то, что тот ехидно его поздравил с хорошим женихом и партийной линией».

Алене было под сорок, она уже давно сменила красный платок на ерный, но была еще крепкая и ловкая на работу баба. Вставала всегда о света, топила печку, когда Спиридон еще спал, варила ему завтрак и олкла в деревянной чашке толкушкой картошки. А если он уезжал, авязывала ему в узелок ситного, яиц и оправляла воротник, когда Спири-(он подпоясывал надетый поверх полушубка армяк красной подпояской.

Когда же он бывал пьян и лез с кем-нибудь драться, она всегда ювисала у него на руках и твердила:

— Спиридон, голубчик, будет... Спиридон, милый, не надо...

И уводила его домой, прикладывая землю к синякам, которые он ебе насажал в пьяном виде. Однажды он заболел горячкой, Алена целых пять недель высидела около него и все-таки выходила, хотя сама стала как тень от бессонных ночей. И ни о чем она никогда так бога не молила, как тогда, чтобы Спиридон поправился. Если бы ей поставили, как условие выздоровления, отдать за это половину своей жизни, она, вероятно, ни одной минуты не задумавшись, согласилась бы.

Чем ближе подходил день свадьбы Устиньи, тем Спиридон становил-ся угрюмее и сумрачнее. И возможно, что если бы не было этой свадьбы, — го не случилось бы и несчастья, такого нелепого и ужасного.

II.

В деревне начиналось веселое время свадеб. Но Спиридон ходил понурый, точно пришибленный. Ему казалось каким-то позором, что свадьба его дочери будет н е н а с т о я щ а я, без попа.

Свадебная пирушка была у жениха. Алена хотела было надеть свое лучшее голубое шерстяное платье, которое ей Спиридон однажды привез із города, но в самую последнюю минуту почему-то передумала и надела другое праздничное платье, попроще. «Как кто подтолкнул», — расска-зывала она потом, уже в больнице Спиридону.

Гости стали собираться еще задолго до темноты. Прежде бывало із церкви ехали на тройках с бумажными цветами, заплетенными в гривы і хвосты лошадей, а теперь приходили и приезжали без всяких цветов.

Спиридону и в этом показалось что-то позорное и обидное.

Казалось, что над ним и над его дочерью смеются, за настоящую свадьбу не считают. И он, надевши свою праздничную поддевку и намас-ливши волосы коровьим маслом, чувствовал себя глупо, как будто он совсем не кстати вырядился. Другой бы на его месте вовсе не пошел сюда или бы нарочно все старое надел.

И чем больше он думал так, тем становился рассеянней и угрюмее.

Когда гости вошли в избу, то все было как-то неловко, не по-настоящему: с молодыми не знали что делать — благословлять их было нельзя а садиться прямо за стол и трескать, не перекрестивши рыла, было неудобно.

Изба жениха была на городской лад: разделена на две комнаты и в одной из них — дальней — виднелись две железные кровати. Это была спальня молодых. Икон там, конечно, не было. А в первой половине, где в красном углу стоял стол с лавками и была печь с печурками для сушки онучей и лаптей, — висел в углу только один крошечный образочек, — вероятно, мать отвоевала.

Народ набирался в избу, главным образом, все молодые ребята в пиджаках и френчах и девчата, одетые тоже все по-городски — в белых платьях и туфлях с белыми чулками, как барышни. Они шумели, смеялись, как будто всем здесь командовали и заправляли они, а старики как-то неловко жались в сторонке.

В переднем углу стоял накрытый уже стол, устроенный из трех сдвинутых столов. На скатерти были положены вдоль по тарелкам вынутые из сундуков расшитые полотенца для утирания масляных ртов и рук. Стояли бутылки водки, вишневка и — на блюдах заливные куры.

Спиридона никто не встретил, не оказал ему, как отцу, почета, точно он не имел здесь никакого значения. И он стоял в толпе других гостей, дожидаясь, когда позовут садиться за стол. И чем он больше так стоял, тем больше в нем разгоралась обида: двадцать лет работал, дочь вырастил, а теперь на ее свадьбе стоит как неприкаянный, точно его из милости сюда пустили.

А тут попятился, не разглядел что сзади и попал сапогом в кошачье блюдце с молоком, стоявшее у стенки. Блюдце хрустнуло, разломилось, и из-под ног Спиридона потек ручей молока на середину пола. Некоторые из гостей фыркнули, а он покраснел до самого затылка.

Старики-хозяева, Парфен и его жена Анисья, тоже как-то нескладно толклись, видимо, не зная что делать со скучающими гостями. А молодежь забралась вопреки всем обычаям в спальню, оттуда слышался говор, смех. Устинья в белом платье, с волосами, собранными с затылка в прическу с воткнутой в нее гребенкой, сидела с женихом на кровати, тоже смеялась и то оправляла ему галстук, то волосы, как будто он был для нее уже с в о й.

И от этого не было, как показалось Спиридону, никакой серьезности, никакого благообразия. И даже отдавало каким-то бесстыдством.

У Спиридона настроение стало еще хуже, когда он увидел, что здесь присутствует рябой Семка, который один раз уже подковырнул его насчет этой свадьбы.

Кум Спиридона, Сергей Горбылев, пожилой мужик с серой курчавой бородой и волосками на носу, как будто понял, что чувствовал Спиридон. Он отодвинул ногой черепки и, нагнувшись к Спиридону, подмигнул и сказал тихонько:

— Себе тоже в г о с т и пришел?

— Вроде этого... — ответил угрюмо Спиридон.

Наконец, оживились, зашумели. Молодые ребята, напирая друг ɔуга, толпой вытеснились из спальни, причем всех толкали.

Комсомолец Гараська Щеголев, друг жениха, вышел на середину и поднял вверх руку, как бы требуя тишины. Все затихли и смотрели его и друг на друга с неловким чувством ожидания, что он сделает скажет что-то такое, отчего всем будет стыдно и неловко за него себя. Гараська утер губы платком и, заложив палец за борт френча, ал краткое приветствие молодым, заключавшееся в том, что он поздра- новую пару, отказавшуюся от предрассудков и строящую новый быт.

Жених в коричневом френче и брюках, стоя рядом с невестой, то рел на оратора, то, улыбаясь, перешептывался с невестой, чтобы скрыть неловкость. А она тоже изредка шептала ему что-то, закрыв рот рукой.

И опять эта смелость и развязность дочери показалась Спиридону и бесстыдством. Его старуха — не то, что шептать и смеяться при с ним, когда он был женихом, она стояла, словно окаменела совсем, — того боялась.

Спиридон смотрел на оратора, на его сухой, свешивающийся на перед хор, и ему лезли мысли о том, что на него, отца, наплевали да еще на ех подняли, когда в молоко попал, всем командует какой-то мальчишка, которого на губах молоко не обсохло.

В особенности ему показалось, что над ним потешается Семка, кото- ій, сидя на подоконнике и свертывая папироску, поглядывал на жениха невестой и все ухмылялся чего-то. Лицо у него было рябое от оспы, и носу было особенно много рябин, так что кончик его был точно весь ъеден. И оттого лицо его казалось Спиридону особенно гнусно-ехидным.

Когда начали наливать водку и обносить гостей заливной курицей, е оживились, языки развязались. И только Спиридон, не двигаясь, дел, смотрел в свою тарелку и думал о том, что все видят, какой он мрач- ій, понимают, почему, и все-таки не мог себя пересилить. Он только ɪдно, рюмку за рюмкой, пил и старался не смотреть в ту сторону, где дела жена, так как видел, что она уже начала поглядывать в его сторону.

За стол он сел в поддевке, и ее широкие рукава, обшитые полоской жи, мешали ему управлять ножем и вилкой. Стал резать курицу, упер лку стоймя в тарелку, а она, неожиданно соскользнув, так взвизгнула, о все гости испуганно оглянулись. А соседа с левой стороны всего задал риным желе, и тот испуганно выбирал его из курчавой бороды, точно у в бороду не куриное желе, а искры из кузнечного горна попали.

Спиридон опять весь покраснел и с досады чуть не пустил тарелкой пол и не ушел. Но удержался и только отставил тарелку.

— Неподходящее, видно, дело? — сказал ему через стол Семка.

Спиридон посмотрел на него и ничего не ответил.

Языки развязывались все больше и больше. Ножи отложили в сто- ну и стали работать руками, разрывая сухожилия на куриных ногах

и обгладывая их зубами с масляными губами. Молодежь, обступив молодых, заставляла невесту пить водку и целоваться с женихом.

И Спиридону казалось, что они нахальничают над его дочерью у него на глазах, а все смотрят на него и наверное смеются над ним, что он сделать ничего не может.

Семка рябой, то-и-дело наклоняясь вперед над столом пьяной головой, смотрел неслушающимися глазами на молодых, потом переводил их на Спиридона и вдруг закричал пьяным голосом:

— Вали, ребята, целуй ее все, — не венчаная!

Спиридон побелел.

Соседние с Семкой мужики начали унимать его, а он еще больше кричал и хохотал пьяным смехом в лицо Спиридону.

Все сразу затихли. Назревал скандал. Но все-таки все были далеки от мысли о том, что сейчас произойдет.

— Вали, ребята, не церемонься! — закричал опять было Семка.

Но в это время вдруг что-то случилось... Сидевшие рядом со Спиридоном два мужика полетели на пол, а Спиридон очутился около Семки и стал душить его за горло. Семка одной рукой отдирал руки Спиридона, а другой искал на столе нож. Заметив его движение, Спиридон поспешно отвязал одной рукой с пояса под поддевкой свой самодельный из косы нож. Отвязав, он навалился на Семку среди отшатнувшихся от них соседей по столу и только было взмахнул рукой над моргаешим под ножем мужиченкой, как у него на руке повисла Алена и закричала:

— Спиридон, голубчик, будет... Спиридон, голубчик, не надо...

Он с озверелым видом изо всей силы отмахнулся от жены рукой, в которой у него был нож, и Алена, слабо, испуганно и как бы удивленно вскрикнув, медленно осела на пол.

Платье на ней было разрезано от груди до самых ног и на полу показалась лужа темной крови, стекавшей от нее узеньким ручейком в углубление, и на ней плавала и кружилась пыль от земляного пола.

III.

Рана оказалась смертельной. Алену свезли в больницу, и она медленно умирала.

Все в деревне жалели Спиридона и говорили о том, какое несчастье опрокинулось на него: осталось хозяйство без бабы.

Соседи часто заходили к нему, когда он сидел один, опустив голову, и говорили ему о том, что одному ему трудно в хозяйстве будет, что нужно жениться, ведь он еще не старик... Можно посвататься за Катерину Соболеву, она хорошая по душе и работящая баба, хотя, впрочем, у нее трое ребят. Тогда можно взять Степаниду, у нее один мальчишка, вырастет, — помощником будет.

Но Спиридон ничего не хотел слушать.

На третий день его допустили к раненой.

Когда больничная сестра в белом халате провела Спиридона по экому коридору и остановилась перед крайней дверью, Спиридон, ший за ней неловко на цыпочках в своих больших сапогах и с шапкой ках, тоже остановился и посмотрел на свою шапку, точно не зная а ее деть, и на свои сапоги, не наследил ли он ими. Как будто его ьше стесняли чистые больничные полы, чем предстоящее свидание с рающей женой.

Сестра вошла в палату. Спиридон в раскрывшуюся дверь увидел льнем углу пустой палаты койку и на ней чей-то незнакомый и чужой тый лоб.

Сестра, заглянув на эту койку, повернулась и поманила Спиридона. — еще больше приподнявшись на цыпочки, отчего его сапоги неловко ялись на скользком натертом полу, — подошел.

Перед ним лежала Алена. Желтый, как у покойника, лоб оказался бом. И странно было, что он так быстро стал таким. Вокруг глубоко вших глаз залегли серые, землистые тени. Поверх серого больнич- одеяла лежали выпростанные бледно-желтые, точно только что вы- ые, руки с выросшими желтыми ногтями.

Сестра вышла. Спиридон сел на кончик табуретки у постели.

Ему было стыдно и неловко, что он сам убил ее, а теперь пришел вещать.

— Ну, как?.. — спросил Спиридон каким-то чужим, как ему пока- лось, голосом. Хотел откашляться, но побоялся.

Слабый взгляд умирающей остановился на нем, и по ее лицу вслед мелькнувшей бледной, как бы ободряющей, улыбкой пробежала тень боты.

— Помру... — слабо, едва слышно выговорили ее бледные, бескров- е губы. Она несколько времени лежала неподвижно, как бы отдыхая сделанного усилия. Потом все с тем же выражением заботы сказала: — т беда-то свалилась... как ты теперь один будешь?.. Не справишься... хозяйством-то...

Она вошла в свою обычную роль заботы о нем и говорила так, как что не ее положение умирающей нуждалось в заботе и сочувствии, а поло- ние Спиридона, который остается жить один, когда у него картошка выпахана, и за ним самим некому будет присмотреть и некому помочь.

И Спиридон как-то по привычке принимал это и даже невольно де- л вид, как будто его положение действительно тяжелое. Он даже хотел ло сказать жене, что соседи уж уговаривают его жениться, но что-то удержало от этого. Он только махнул рукой, как бы не желая говорить своем положении, и сказал:

— Да это что там, справлюсь как-нибудь. Вот тебя бы поправить...

Но больная на это только безнадежно покачала головой:

— Обо мне разговор уж кончен...

Потом посмотрела издали на свои руки, лежавшие на одеяле, при- дняв их ногтями к себе, и, подумав, спросила:

— Что ж, живут? — очевидно, подразумевая дочь.

— Живут покамест, —ответил Спиридон.

Алена опять покачала головой.

— Бесхозяйственный... от приданого отказался, значит копейк не будет беречь... несчастная она с ним будет... любить ее не будет.

— Какая там любовь!.. — сказал ей в тон Спиридон.

— Больше двух дней не выживу... отработалась... — сказала Ален потом, застонав от боли, лежала несколько времени неподвижно с закры тыми глазами.

У Спиридона зачесались глаза и защипало в носу от слез. Он поду мал о том, что она сама умирает, а думает только о нем, а он помнит, чт не раз все-таки подумывал о предложении соседей, и так как привык больш всего беречь копейку, то ему было жалко денег, если придется нанимат человека, так как один после ее смерти он все равно не справится.

Алена, открыв глаза, повернула к Спиридону голову на плоскоі больничной подушке, посмотрела на него и как-то робко, нерешительн проговорила:

— Положи ты меня в голубом платье... это твоя память... так н разу и не надела... только смотрела на него... видно, уж там вспоми нать буду.

— Жалко... — сказал не сразу Спиридон, — что ж оно в земле-т зря сопреет. Лучше Устюшка поносит.

— А, ну, хорошо... в чем-нибудь, там не взыщут, что не приоде лась... — проговорила Алена, и на ее губах промелькнула слабая тен улыбки. — И ровно надоумил кто...

Она остановилась, часто и слабо дыша. Спиридон подождал и, так как она молчала, он спросил:

— В чем надоумил?

— Платья-то этого не надела... и оно бы пропало зря... располо совал бы все...

У Спиридона опять зачесались глаза, а в горле точно застрял какой-то комок.

— Да это что там... человек дороже платья... — сказал Спиридон, махнув рукой.

— Что ж дороже... человека-то уж нету почесть... А я было уж надела его, потом опять сняла... прямо бог спас.

Спиридон утер украдкой глаза, проведя по ним и по носу шапкой, и на носу остался зацепившийся в виде пушинки клочек ваты от подкладки, которого он не заметил.

Алена хотела было ему сказать, но видимо ей стоило это большого напряжения, и она не сказала, а только смотрела на эту ватку, которая развлекала ее внимание.

Спиридон смотрел на жену и видел, что ей уж не встать, и она сама знает это, а все-таки продолжает заботиться о нем. И опять горе и жалость к человеку, с которым прожил целую жизнь, сжала ему спазмой горло.

Алена заметила это, ей стало жаль мужа, и, чтобы успокоить его ɔдрить, она сказала:

— Не горюй... может, еще выживу... случаи бывают...

— Дай бог... — сказал Спиридон, а сам испуганно подумал, что ведь ;еда тогда будет, если она в самом деле выживет, потому что все равно а какую работу не будет годна, ее только кормить да ходить за ней.

— К следователю уж вызывали, теперь затаскают, гляди, еще ло-напоить некому будет.

Он сказал это затем, чтобы, во-первых, отогнать от себя лезшие ιозу постыдные мысли, а кроме того ему как-то стыдно было сидеть ι умирающей от его руки жены здоровым, не обремененным никакой ·ой, никакими неприятностями, и ему хотелось как бы выставить себя :ее несчастном положении, быть может, немногим лучшем, чем положе-Алены. Он даже старался говорить каким-то слабым, больным голосом.

— За что ж таскать-то?.. — сказала Алена, отвечая на его слова :дователе, — кабы ты нарочно... что ж с пьяного человека взыски-мало что бывает!..

Она не договорила, закрыла глаза и закусила бледные губы.

— Больно тебе? — спросил Спиридон, чуть наклонившись с табурета.

Алена слабо кивнула головой, потом опять застонала и заметалась.

А Спиридон смотрел на нее и думал: неужели она все-таки выживет?

Вошла сестра, оправила одеяло, взяла руку больной и, отвернувшись, .ла пробовать пульс, потом мигнула Спиридону, чтобы он уходил. Но в это :мя Алена открыла глаза и, найдя ими мужа, сказала слабым голосом:

— Ну, иди... может, не увидимся... найми копать картошку-то, справишься один. А платье Устюшке отдай... пусть носит... меня : равно в каком... — Потом, отдышавшись, прибавила: — Жениться бы е... что чужому человеку платить? Я уж думала о Катерине... хорошей ши баба.

— Еще что выдумала! — сказал Спиридон, — может, бог даст, правишься.

Спиридон постоял с шапкой в руках около койки и, не зная как эститься, молча поклонился жене поясным поклоном, как кланяются койнику, потом пошел опять неловко на цыпочках из палаты все еще ушком ваты на носу.

Придя домой, в свою пустую избу, где еще так недавно жена хло-·ала у печки, Спиридон сел на лавку и долго сидел. Потом отодвинул ик стола, ища чего-нибудь поесть, но ничего не нашел, кроме хлеба олодных, осклизлых картошек на загнетке в чугунке. И от этой пустоты ишины чего-то остановившегося, от потери навеки своего неизменного ιотливого друга, от этих холодных картошек опять в горле начал наби-ься комок слез.

Ведь она как мать была для него всю жизнь, даже теперь, умирая его руки, думает и заботится только о нем, вплоть даже до его же-ьбы. А он не ценил и даже не замечал этого, и вот только теперь, когда

она не с ним, когда холодная картошка в чугунке говорит о ее, быть может, вечном отсутствии, — теперь он почувствовал.

И если не удастся спасти ее, то ради ее такой любви остаться ее памяти верным до могилы. И лучше есть эту холодную, осклизлую картошку, чем допустить, чтобы ее место заступил какой-то другой человек, хотя бы та же Катерина.

IV.

А когда он на другой день пошел в больницу, он подумал, как же теперь будет хозяйство: если она умрет, ему одному не справиться; нанимать — жалко денег.

Конечно, тут нужно самое лучшее — жениться на Катерине. Но у Катерины хоть и душа хорошая, а у нее трое ребят. Тогда лучше Степанида, — у нее один малый.

А если Алена и останется жива, то все равно она теперь калека и работать не может, и так как одному с хозяйством не справиться, то все равно придется нанимать, потому что, пока она жива, жениться на другой нельзя, да еще за ней ходить надо человека нанять.

И когда он подходил к больнице, ему подумалось, что вдруг сестра выйдет и скажет:

— Слава богу, твоя старуха останется жива, только тебе придется взять ее домой и нанять какую-нибудь соседку, чтобы ходить за ней, бог послал крест — надо терпеть, она уж не работница.

Спиридон стал соображать, во сколько это обойдется, и от волнения никак не мог сосчитать.

Подавленный этими мыслями, он вошел в больничный коридор и робко, точно ожидая своего приговора, стал с шапкой у двери.

Сестра встала из-за белого, выкрашенного масляной краской столика за которым она что-то писала, и, увидев Спиридона, подошла к нему.

— Ну... — сказала она.

Спиридон заморгал, у него замерло сердце и на лбу выступил холодный пот. Он даже утер его шапкой.

— Что ж делать, надо терпеть, — сказала сестра, — ...в ночь скончалась. Она там, ее вынесли в мертвецкую, — прибавила она. — Голубое платье дочери велела отдать.

У Спиридона как-то против воли вырвался вздох облегчения. Но при мысли о том, что хозяйство его осиротело, что он уже *никогда* не увидит свою старуху, и при слове *вынесли* он почувствовал в горле опять знакомый ком и неожиданно для себя стал как-то нелепо, по-бабьи всхлипывать, так что самому было стыдно.

Orientalia.

(Рассказ).

П. Павленко.

Бор. Андр. Пильняку.

I.

Тинэр, ученый и парижанин, был человеком книг, идей и увлечений. сю жизнь писал в серьезных журналах о странах, называемых Вос- ком, и хотя он ни разу не бывал во многих кварталах Парижа и даже не ал, подобно многим другим своим соотечественникам, дома, где в моло- ти жил Виктор Гюго, зато он был одним из немногих знатоков той со- еменной Атлантиды, которой в Европе склонны считать все земли и аны южнее Неаполя и восточнее Стамбула. Он знал десятки арабских ечий, помнил наизусть страницы арабских и персидских стихов. Но его знь сложилась так, что ему никогда не пришлось самому побывать в тах, о которых он добрые тридцать лет рассказывал у себя на родине, и не было причин предпринимать такой долгий путь, ибо Тинэр знал, он знает все, что можно знать, и что нет уже больше ничего, что могло увеличить его знания. И два года тому назад случилось нечто, что вы- ю его из этого давнего состояния столь содержательного покоя. Это ли работы неизвестного молодого ориенталиста, наверняка араба, кото- е он стал получать еженедельно в редакции «Le monde de l'Asie». Пре- сный язык и глубокое понимание материала отмечали работы молодого ора, и Тинэр охотно начал печатать его, рассчитывая видеть в новичке его ученика. Вскоре, однако, ученого охватило беспокойство: автор растал не в почтительного ученика и даже не в корректного единомы- енника, а в главу особой школы, ошеломляющей дерзновенностью его обхождения со старыми авторитетами.

Как и многие из его компатриотов ориенталистов, Тинэр исповеды- старые взгляды Винклера на европейскую культуру как на продукт точной мудрости, взгляды, получившие затем особенное развитие у фа Гобино, который открыл эпоху модернизма в Исламе. Молодой араб держивался аналогичных воззрений, но Тинэр должен был признать, этот неизвестный гораздо бо́льший мастер диалектической мысли, чем его старые и прославленные учителя взятые вместе.

Тогда Тинэр взял отпуск и получил место на географическом судне с тем, чтобы высадиться в Бейруте и вернуться оттуда через месяц.

Его корреспондент, молодой ученый, писал ему из Дамаска, и Тинэр приехал в Дамаск в дни, когда город, только что пережив разгром национальных отрядов паши Рамазана, громыхал французскими пушками, конницей, пулеметами, приказами, воззваниями, когда улицы были забиты виселицами для арабов и притонами для французов. И с Тинэром произошла досаднейшая вещь: имени его корреспондента никто не знал, арабское общество было разгромлено и распылено по стране, адрес оказался вымышленным, Тинэра никто не встретил, хотя он и сообщил из Марселя о своем приезде, и Тинэр уже сбился с ног в поисках, когда странные пути и намеки повели его по сирийским провинциям, вслед за учеными и богатыми арабами. В пути он захворал малярией, жестокая сирийская лихорадка прожгла его волю, и он свернул с дороги в поселок Бир-Эль-Меджеб, в заливе Сарафанда. Ему указали отель — низкий домик с заплывшими в грязи окнами — и он покорно направился в отель, чтобы переждать болезнь.

Море у Бир-Эль-Меджеба густо заправлено каменьями, как клецками хорошая похлебка. Здесь отдыхали от моря кипрские пираты, и контрабандисты Сура отсиживались от таможенных крейсеров, для которых недоступны были глубины у берегов городка. Среди путей из Европы в азийские глубины, путь, что ведет из Бир-Эль-Меджеба в горы, к Джебель-Шарки, был путем тех, кого из Суры и Бейрута выкурили французские миноносцы и кто, не желая частых и разнообразных встреч в дороге, нашел новые тропы в Дамаск и от Дамаска к морю.

II.

Была ночь в жестоком шторме, окутанная липкой сыростью сирокко и бредовых лихорадок. На пустынных уличках выл песок, камни набережной скрипели, как колеса воловьих арб, и в отеле всю ночь напролет дежурил у дверей кавас. Тинэр был парижанин и человек книг, проживший жизнь размеренно-точную, строгую, не злокипящую стихиями, — и жестокий шторм, ночь и неизвестность, спутанные лихорадочным ознобом, сделали из него библейского Иону. Он вошел в салон отеля, комнатку, пахнущую запахами кофе, бараньего сала, опия и чироса — зловонной рыбы, деликатеса этих мест,— и погрузился в костлявое кресло у столика с книгами, давно забывшими своего читателя, и такими, которых давно уже нет в Европе.

Отель был пылен, тих и скучен. Как всякая корчма на безлюдном пути, он жил больше воспоминаниями, чем действительностью; когда о гостях долго помнили, рассказывали о них тем, что приезжали позже, как об общих знакомых, и всем казалось, что они действительно всегда знали друг друга и что отель — условный адрес их дружеских встреч. Тинэр не покидал кресла, разглядывал старые книги и врачевал недуги лихорадки

епкой ракы — анисовой водкой. Хмель, вечер, лай шторма за окнами песня каваса в прихожей — все создавало часы покоя, глубокого, как авийский сплин.

Подобно Ионе, отрыгнутому китом, Тинэр глубоко переживал отх от дорог, его серые глаза покрылись пылью, на лицо, скрученное из :лваков и морщин, легли зеленоватые тени малярийного полубреда. 'ка Тинэра закостенело перелистывала страницы и перебирала кошки книг.

В ту же ночь другой француз, капитан Восточного легиона Эдуард львилль, прибыл в Бир-Эль-Меджеб. Бельвилль возвращался из Дамаска, э он сдал карательный отряд. Он проехал верхом и на волах через эбы Джебель-Иш-Шейха, через гранит, пески, реки и деревни сийских провинций между Дамаском и морем, его изнурили горные переды, его голова трещала от жирного дуновения сирокко и от пыли дорог. і лечил усталость приемами опия внутрь и спешил добраться до моря, эбы сейчас же уехать куда-нибудь, где существуют тишина, коньяк, иги, где нет женщин и политики. Он был плотен и крепок, на матовом це его, покрывшемся легкими красными ниточками морщинок, сухом, здоровом и чистом, хорошо отшлифованном песками и солнцем пустынь, жили янтарные глаза коршуна. Он был одет в военный костюм, поношенный, но сохранивший свои строгие линии, и держался как старый колониальный вояка — пренебрежительно и всегда подозрительно.

В последний переход кони с трудом держались на сумасшедшем ветру, а проводник едва ли знал дорогу. Много часов они плутали в горах и з безлюдьи ночи. Они глядели на часы, считали пройденные версты, каждый раз по-новому изменяли путь, но куда бы ни шли они — ветер встречал их с одинаковой силой, и ничто не намекало на близость человеческого жилья. Впервые Бельвилль чувствовал что-то вроде страха, потому что он никогда еще один не бывал под сирокко в открытых горах, в жару бредовой утомленности, в угаре опийных эссенций, ибо там, в пустыне за Дамаском, он был всегда крепок, бодр и пьян и никогда не знал одиночества. Колониальные женщины и друзья, вино и походы всегда наполняли его жизнь, жестоко отшлифованную песком и солнцем. Он не умел уводить себя в одиночество. Часы проходили в четком шаге коней, в свисте ветра. Но вот молния высекла зеленый огонь свой: впереди были темные кварталы домов Бир-Эль-Меджеба.

Кавас, пропевший много песен, давно заснул у дверей отеля, и его пришлось будить долго и зло.

Тинэр мечтал в костлявом кресле. Офицер вошел и занял другое, рядом. Они молча поклонились друг другу. За окном ветер шел разрушительными приливами. В потухшей железной печке суетился взметенный пепел.

Проводник подогрел офицеру красного вина, и Бельвилль при виде его реально ощутил, что он в земле цивилизации и что все в порядке. Он предложил вина Тинэру, тот молчаливым наклоном головы одобрил.

Они были европейцами и встретились в месте, где цивилизация являлась их ремеслом: в местах, где пыль цивилизации успела осесть только на самой поверхности уличной жизни, человек, вырвавшийся из фабрик культуры, может говорить как ее мастер. Так заговорили и они, земляки, о финансовой политике Соединенных Штатов и новостях Монмартра, сплетнях и новых академиках и дороговизне жизни. Но через два слова на третье Восток заслонял от них Европу. Марсель Тинэр два года готовил внутри себя настойку из пряных экзотических откровений, которые он предвкушал познать, которые ему мерещились повсюду и уходили из его рук, а Бельвилль за три года просто привык к Востоку, и ему уже даже не мерещились формулы Запада, потому что он их забыл, и Восток, как рабов, всякий раз возвращал их к себе, к видениям своей пыльной и медленноважной жизни, насыщенной солнцем, безлюдьем каменных пространств и прелестью красок, еще не знающих гнета обязательной моды салонов Запада.

III.

Так пили они вино, дремали и перебрасывались безразличными пустяковыми фразами. Слуга принес рому.

Кавас у дверей, думая, что франки спят, жутко запел, как одинокий волк, устав от бодрствования в страшной ночи. Это была певческая быль меддахов, бродячих рассказчиков.

Тинэр расправил желваки лица и вынул книжку. Кавас пел былину, возникшую недавно, в кипящие дни войны. Бельвилль слышал уже много раз, как она обегала пустыню, базары, кофейни, врывалась в казармы его цветных батальонов, дразнила слух вечерами на темных улицах — и сейчас он сидел безразлично, оперев голову ладонью, дымя трубкой. В острый жгут свивая свой голос, кавас восторженно взвывал, повторяя припев: «в мире людей и их дел все имеет свое назначение, даже грех может быть слугою высоких истин, лишь бы тот, кто признал свой жизненный счет, высоко держал бы свое чело!». Восток, таинственный, особенный, самобытный, раскрывал перед Тинэром свои экзотические откровения, и он спешил занести на бумагу прелесть чудесной непосредственности, для которой в архиве его знаний он найдет потом нужный ярлык, серию, номер, все, чтобы можно было смело уложить бумажную мумийку непосредственности в какую-нибудь затхлую ученую щель.

В песне рассказывалось о некоей Фатме, дочери почетного шейха Эль-Абрагам-Хильми, друга падишаха, умершего в год войны с франками. Она была проклята в мечетях, — эта женщина, — и оплевана на улицах, и именем ее называли публичных женщин и предателей. Сирия начала войну с франками. Весь народ ощутил близость свободы. Племя за племенем вручали свои судьбы Рамазану-паше, ставшему во главе национальных дружин. Дамаск выстроил баррикады на своих улицах, нищие по ночам набивали патроны, женщины пекли лепешки и делали сыр для походов, юноши поджигали дома неверных и убивали на улицах предателей.

)анки жгли города, вешали стариков, насиловали женщин, города Си-
и стали пустынны, как зачумленные оазы, глаза женщин застыли в сле-
к и горе,—и был один только дом, где раздавался смех, звенела тара и
ıцы будили оцепенение улиц, растерзанных пожарами, — дом Фатмы.
доме Фатмы франки поместили свой штаб, и Фатма не бежала, она
крыла франкам двери внутренних комнат, они касались руками священ-
х книг покойного шейха, принимали ванны в шадриване и веселились
женщинами гарема умершего шейха. Песня рассказывала, как Фатма
любила и назвала своим франкского командира железных птиц, врага
рода. Она оставила жен отца и переселилась в комнаты офицера, который
ещал увезти ее в Европу, когда кончится война. Зарева не погасали над
стыней, на плоских крышах Дамаска стрекотали пулеметы, бомбы ору-
й рвали глину жилищ, но сдаваться никто не думал, и все ждали дня,
гда Рамазан-паша накопит в пустыне силы и обрушится на Дамаск,
к разъяренный лев. Приближался октябрь — месяц действий, и по до-
м Дамаска потекли слухи о том, что Рамазан стоит с бойцами у оаза
рькой воды и в пятницу, после первой фатихà, ударит на Дамаск и за-
кватит франков врасплох. По ночам в домах Дамаска перестали тушить
)гни, нищие старики набивали патроны, женщины рвали тряпье для пере-
вязки ран и варили настойки из алоэ, останавливающие кровь, юноши
стерегли последние дни предателей, и в мечетях имамы готовили речи,
которые они должны будут произнести в следующую пятницу, после пер-
вой фатихà, когда раздадутся выстрелы наступающих. Но франки узнали
) замысле Рамазана и решили послать железных птиц, чтобы найти в пу-
стыне оаз Горькой воды и проверить, вправду ли движутся бойцы Рама-
зана на Дамаск. Франкам понадобился проводник, потому что в пустыне
десятки оазов, и все оазы похожи один на другой, и многие из них назы-
ваются Горькой водой. Франки обещали деньги, — никто не пошел на
позорный заработок. Тогда они обратились к преступникам, ворам и убий-
цам, сидевшим в тюрьме — и воры и убийцы не пошли на предательство.
И Фатма заявила тогда, что знает оаз Горькой воды и завтра поведет туда
железную птицу франков. Этой ночью слух, сухой как клок верблюжей
шерсти, бежал в пустыню, по шатрам, по караванам, по оазам, он бежал бы-
трее огня — дальше, дальше, в пески пустыни — к шатрам Рамазана. Слух
ыл краток: «на утро Фатма поведет железную птицу к Горькой воде».
Утром командир железных птиц и Фатма улетели. Рамазан-паша не спал
сю ночь, он всю ночь распылял бойцов по пустыне, он велел рыть колод-
цы для патронов и хлеба и воздвигнуть прикрытие для обозов, и сам рабо-
ал киркой заодно с бойцами. Вскоре после солнца показалась птица
франков, она шумно шла к оазу Горькой воды, и тогда Рамазан, который
о последней минуты не хотел верить, что дочь шейха, женщина Сирии,
может предать его, поднял руки, чтобы проклясть ее. Но вот, уже кружась
ад щетками пальм, птица дрогнула и пошла боком, подобно стервят-
ику, выглядывающему жертву, ее клекот прервался вдруг хрипом, вслед
а которым сама птица захрустела стальными костями в чаще пальм.

Подбежав, люди увидели мертвого франка и женщину, в руках которой был дымящийся пистолет. Широкий гяурский плащ, закутывавший ее, аспахнулся, как лист лотоса, и на нем лежало ее грешное тело. Женщина ыла жива. Тысячи рук, готовые убить ее, опустились в растерянности. Кенщина была превращена в бурдюк колотых костей, истекающий вином рови. Одни глаза ее были живы, они горели огнем последних напряжений. Іна потребовала к себе Рамазана и потеряла сознание. Рамазан пришел со тариками и шейхами. Ее раны омыли соком алоэ и обернули в тряпье, моченное горькой водой, и Фатма пришла в себя и рассказала о своей кизни такими словами: «Когда мастер кончает седжадэ для богомольцев, дущих в Мекку, в Омм-Эль-Кора, он в углу под рисунком чертит буквы воего имени. Чтобы там, о, друзья мои, в Мекке, когда богомолец развер-ет седжадэ перед камнем Каабы и, свершив фатихà, возрадуется сиянию лагочестиво сделанного рисунка на седжадэ, чтобы и там незримо присут-твовало имя того, кто выносил труд свой в сердце своем. Я не была бы очерью Дамаска, если бы на рисунке жизни своей сегодня не записала ровью буквы моего имени, чтобы, видя теперь замысел мой, вы возрадова-ись за родину».

Эпические тона песни быстро переходили в нервный пафос, кавас ысекал свой голос остро, как огонь из огнива, ему некогда было дышать, и і не мог отдохнуть, ибо песня сама влачила его к экстазу, но для уха вропейца песнь походила на вой шакала.

«Потом, — пел кавас, — Фатма обратилась к Рамазану и сказала иу: «Паша, лев наш, сила наша, честь наша, — вот я пришла к тебе ак невеста и принесла тебе мое приданое!» — и она отдала ему кипу умаг, тайных франкских бумаг, которые она украла у франков. Силы ее ставляли. Азраил набросил на лицо ее голубую чадру предсмертия. Но іа могла еще слышать, как сказал ей лев наш и господин наш: «Фатма, от говорю я перед шейхами и стариками, — я принимаю тебя в шатер іой как жену, ты будешь женой моей, Фатма, и я допишу кровью имя юе, отныне светлое!»

И вздохнув грудью, полной слез и восторга, кавас опять остро ознес славословие той высшей мудрости, которая и грех заставляет быть іугою добрых истин. Он повторял его много раз, лаская им свои расте-інные мысли и врачуя собственное ничтожество, и голос его был напря-ен до боли, натянут до шакальего визга, голос, бродящий в искусстве и : умеющий вернуться к будням.

— Чудесная баллада! Чудесная быль! — сказал Тинэр. — Тот, о знает Восток, поймет этот тихий бред только что сложенной песни. азве нужно запоминать стихи поэтов, цитировать чужие — в чужой ше отзвучавшие — строки, когда свои слова готовы ткать песни? Стихи роши, когда они расточаются. Прекрасны люди, которые умеют расто-ать стихи. Чудесны поэты, которые рождают восторги, и из восторгов мые высокие те, которые открывают родники песен. На Востоке медли-льная жизнь оставляет человеку много часов для себя. Он сам поет свои

и, сам услаждает себя занятным рассказом и, размышляя о жизни, открывает законы своего бытия — тяжелые и грузные, правдивые и ные. Поэты создают здесь только зерна песен, зерна, источающие ный замысел, ткань же песни творит здесь каждый.

Тинэр окликнул каваса. Кавас сразу смолк. Растерянно ступая на евших ногах, он подошел к столу и робко поклонился.

— Прошу простить меня, эффенди, — сказал он, — я не знал, что одрствуете и что моя песня может обеспокоить дорогих гостей.

— Что за песню ты пел? — спросил Тинэр. Он смотрел на араба ками тяжелых глаз строго, как судья.

— Это не песня, она не похожа на наши песни, — ответил кавас. — легенда, эффенди. Ее рассказал нам заезжий араб, из племени «сбаа», роходил здесь с неделю назад, он шел в Ангору, к Гази-Мустафе, ы пропеть ее победителю неверных.

— Легенда? — переспросил Тинэр и через очки взглянул на Бельвя. — Вы слышите, дорогой друг, это, оказывается, легенда. В высшей ени интересно. — И записал что-то в книжечку, два-три слова.

Все время, пока длилась песня, Бельвилль лежал в кресле, закрыв аза и раскинув руки. Его лоб, матовый прямоугольник, был бледен, и пли пота ползли по нему, как прозрачные гусеницы. Он открыл глаза, днялся и, глядя на каваса, гневно ударил рукой по дубовому краю есла.

— Ты — старый пес, — уйди отсюда! — сказал он кавасу и оберлся к Тинэру. — Не удивляйтесь, — сказал Бельвилль, — не торопиь чему-нибудь удивляться в этих проклятых краях. Дикари, прокля наивные дикари, они не знают сами, чорт их возьми, что им нужно де живут те боги, которым они молятся.

Тинэр поправил пенснэ, это было опять-таки интересно, перевернул аничку в книге и заложил ее карандашом, чтобы записать несколько слей, если офицер их вдруг выразил бы, и стал пожирать слова офиа, изредка направляя ход его мыслей ближе к песне.

— Я все-таки не совсем понимаю, — сказал он.

Бельвилль не дал ему договорить.

— Я говорю вам, — чорт бы подрал эти края, с их романтикой, — бно сказал он. — Все это меня так измучило, так измотало. Впрочем, виновата лихорадка, конечно. У меня припадок. — Он несколько раз вел рукой по лбу. — Чорт бы их побрал, с их героизмом!

— Да в чем же дело, мой друг? — спросил Тинэр, все более теряюйся в недоумении. — Все было так искусно, не правда ли? — Совсем ажно, что это поэма наших врагов, — мы победили, чего еще? Надеось...

— Слишком рано, о, слишком рано вы надеетесь, — прервал его ьвилль. — Вам захотелось до зарезу героизма, легенд, эмоций? — выплеснул в судорожно открытый рот большую рюмку рома, и ром спуего слова, он помолчал с закрытыми глазами и потом, успокоившись,

продолжал. — Тинэр, — сказал он, — это глупейшая легенда. Всего только три месяца, как погибла Фатма, и вот — извольте — уже какой-то истерический араб взрастил на ее могиле этакий куст лживых славословий! Так создаются Далилы, не угодно ли!? Но это ложь. Ложь ее легенда. — Я знал эту Фатму, — сказал он.

— Вы? — Тинэр поспешно распахнул нутро книжки и зашелестел страничками.

— Я знал эту Фатму, Тинэр. Выбросьте из головы все сказки о героизме и обо всем, что выше проституции, которая одна была ее главным и единственным ремеслом, поняли? Это была грязная потаскуха — и ничего больше. Раскройте ваши анналы, раскройте их и запишите мои замечания очевидца.

— Это очень ценно, — пробормотал Тинэр, открыв чистый листок,— тем более...

— Тем более, что это сущая правда, что я вам расскажу. К счастью история коротка. Легенду надо расценивать как политическую вылазку против нас.

IV.

Ветер шел разрушительными приливами. Арбы ветра скрипели на камнях набережной, стекла окон дрожали зябкой дрожью, шла знойная сухость сирокко, несущего бреды и лихорадки. В ночь, в ее темную, сплошную волну, робко втекал реденькими белесыми туманами слабый начальный рассвет.

— Дочь очень богатого человека, — говорил Бельвилль, — знаменитого шейха Эль-Абрагама-Хильми, Фатма, получила образование в Европе. Париж, холостяцкий образ жизни и легкомысленные книги наших почтенных соотечественников воспитали из нее экстравагантную женщину. Когда ей стукнуло двадцать один, отец вернул ее к себе. В его серале, в Дамаске, было все, что нужно для жизни человеку Востока. Мебель эбенового дерева, инкрустированная перламутром, индийские шали, иранские ковры, благовония из монастырей Хаурана, управляющие видениями сна, и — наконец — прекрасная библиотека, наполненная не только книгами восточных мудрецов, но и европейских писателей, если они имели отношение к Востоку и к философии. Ее поселили в гаремлике, среди девяти белых и толстых жен Эль-Абрагама-Хильми, этих девяти мирных гусынь, всю жизнь пасшихся вкруг брачного ложа. Отец не успел ее продать, чтобы она сама стала гусыней и матерью, как велит их закон. Благороднейший шейх однажды неловко затянулся кальяном, отдал богу душу, и Фатма стала властительницей дома и гарема. Она быстро научилась всему, что знают в гареме — танцу бедер, искусству рассказывать грязные анекдоты и любить женщин порочной любовью. Посмотрите, Тинэр, как лжива легенда: она скрыла этот ее лесбийский порок. А в сущности — в нем очень немного положительного! — Теперь вы представляете себе эту лэди? — Париж, монмартрские куплеты, лекции в Сорбонне,

ирт с нашими молодыми идиотами из начинающих фотографов, потом ием отца, срамные действа в хаммаме по четвергам, опийный угар — должно быть, как отрезвляющее, — книги. Книги она пожирала ıно, как голодная утка, это правда. Я имел честь быть одно время ее бовником и пробовал научить ее читать по-человечески, но эта женщи- Тинэр, органически не терпела никакой опеки, она читала Полибия Гезиода, Шопенгауэра и Руссо, Шлоссера и трактаты о мессианстве ıама шейха Джемалледина-Эль-Афгани. — Вы спрашиваете, разбира- ɛь ли она в том, что читала? — Чорт ее знает, должно быть. Она была ıьтурной девчонкой, отрицать этого нельзя. Впрочем, боюсь утверждать, нэр, чорт ее знает, — любимой книгой ее был все-таки «Поезд любви» ւрля Бремона.

Бельвилль отхлебнул рому и продолжал:

— Ну, что же, портрет почти готов. Остается изобразить вам себя, ıго друга авиолейтенанта Жерара и эту глупейшую смерть. Я жил с ней яцев семь на правах приходящего мужа. Как подруга она была изу- ıельна. Она была порочна, как хороший десяток Клеопатр. Мне стыдно ɑсказывать вам об этих вещах, Тинэр, хотя все это дело прошлое. По- ерьте мне, я впервые в жизни встречал эдакий экземпляр.

— Впервые в жизни! — чрезвычайно важно, — заметил Тинэр. — I запишу.

— Да, не называя моего имени, можете записать, что старый коло- иальный офицер, имеющий в активе любви женщин всех расцветок и всех оциальных классов, не встречал еще другого такого «дна».

Он продолжал:

— Жерар, лейтенант авиафлота, отбил ее у меня на восьмом месяце. I защищал право на нее дуэлью, но должен был уступить сильнейшему. Iх брак длился ровно месяц. Мне потом рассказывали, что Жерар просил азрешения матери назвать Фатму своей законною женой, но верно ли го — я не знаю. Я лежал в госпитале и наращивал хрящ на дырку в ко- ги, сделанную Жераром, когда разыгралась эта глупейшая история. лушайте, Тинэр, все так просто в этой истории. Жерар — мальчишка, любленный по-уши, она — гетера, знающая толк в хороших самцах, икакой счастливый союз тут не мыслим, тут сама собой напрашивается акая-то необычная развязка. Я полагаю, Жерар нашел ее в том, чтобы окончить с Фатмой и с собою. Влюбленные — а он был влюблен в эту абу — они иногда умеют придумывать трогательное коллективное мерщвление.

— А бумаги? — спросил Тинэр. — Ведь она принесла с собой се- ретные документы? Я классифицирую это как заранее продуманную иверсию...

— Бумаги? — рассмеялся Бельвилль, — секретные бумаги — это уже г араба-певца, уверяю вас. Надо же было чем-нибудь показать, что она а самом деле героиня, а не обыкновенная истеричка. Этот араб, заметьте ɜбе, Тинэр, он не историк, он поэт.

— Позвольте, но мы имеем живого свидетеля в лице этого Рамазана-паши, — не унимался Тинэр.

— Этот живой свидетель, если вы сумеете его повидать и унести от него голову, вам скажет, что да, бумаги были. Герои всегда нужны народам, особенно в дни войн. Легенда делает героев. Он скажет, что бумаги были — пачки, кипы, баулы.

— И все-таки, — вспомнив что-то, продолжал Бельвилль, — она была чудесной женщиной. Ее голова работала не хуже, чем у любого из нас. И как же она была красива!

Он погрузил руку в карман френча и вынул толстый дорожный бумажник, в бумажнике он раскопал фотографию и протянул ее Тинэру.

— Полюбуйтесь, — сказал он. — Божественно красива была дрянь, что там говорить!

Тинэр взглянул, и глаза его стали сосредоточенно-строги. Он увидел тело женщины, освобожденное от одежд, нагое, греховное, сильное, напряженное — и увидел красивейшее, тонкой лепки лицо с умными, очень умными и тоже обнаженными глазами. Внизу фотографии шло посвящение и под ним подпись. Тинэр невольно скользнул по ней глазами, и глаза его спутали строку.

— Действительно, какая-то чертовщина, — буркнул он.

— Что? — спросил Бельвилль. — Вы хотите прочесть посвящение? Прочтите. Все равно, она умерла. Прочтите вслух, чорт с вами со всеми...

Но Тинэр печально и растроганно ласкал глазами мелкую резную завитушку Фатмы под портретом. Потом он достал из своего портфеля пачку рукописей, судорожно забегал по ним пальцами, нашел, нет, не то, еще, вот, — и показал одну из них Бельвиллю, и Бельвилль сквозь лихорадочный озноб, сквозь ром и усталость, увидел странное, — увидел, что рукопись закончена той же хрупкой завитушкой, что и посвящение на портрете. Он молча поднял глаза на Тинэра. Тот осаживал на нос поспешные пенснэ. Потом они оба взглянули на рукопись и портрет. Рукопись тем же почерком была озаглавлена: «Кризис наук о Востоке». Пути к таинственному востоковеду, которого искал и не мог найти Тинэр, отыскивались.

— Я не знаю, кто из нас двоих сумасшедший, — сказал, наконец, Бельвилль, — но что один из нас ненормален, это не подлежит никакому сомнению.

Тинэр молчал. Тогда Бельвилль взял у него из рук портрет.

— Не выдумывайте глупостей, — сказал он. — Слышите? Я болен. Не выдумывайте глупостей. Сожгите ваши проклятые бумаги. Ложь. Этого никогда не было.

— Ужели она была моим корреспондентом? — сказал Тинэр.

Свернув рукопись трубочкой, он постукивал ею по столу. Желваки его лица напряженно работали. Трубочка рукописи барабанила по столу. Это барабанили мысли, еще рассеянные в голове молекулами, и он соби-

ал их губкой мозга. Бельвилль допивал остатки вина и рома, храбро меіая одно с другим.

Жар сирокко, несущего бреды и лихорадки, омывал комнату. В ночь, ее темную сплошную волну, втекал реденьким белесым туманом слабый, евеселый рассвет. Лампа над столом теряла силы, шмыгала фитилем, кала керосиновой отдышкой, все потеряло уют и краски, все стало сеым, грязным, настоящим.

Бельвилль сел глубже в кресло, сунул в край рта сигаретту, спрял руки в рукава френча. Тинэр все стоял у стола и ловил мысли. Бельилль, глядя на него с пренебрежительной усмешкой, сказал:

— Знаете что, Тинэр, — а, может быть, это и на самом деле было. Іе волнуйтесь. Чорт их всех знает, кто они. Я был в ее серале после ее иерти, действительно, у нее в столах вороха всяких бумаг. Она, помнится ие, даже вела дневник.

— Вела дневник? — спросил Тинэр.

— Да, вы все это узнаете на месте, — продолжал офицер, — вернись в Дамаск. Ну, чего же вам еще, зайдите в сераль, суньте десяток ранков старшей жене, и она покажет комнаты Фатмы и все эти бумаги, и прочее. Все равно ваша экспедиция кончена и кто-то пошутил над вами.

— Вы думаете, покажет? — спросил Тинэр.

— Отчего не показать? — сказал Бельвилль, дернул плечами и встал. — Конечно, покажет. Вы только не пожалейте лишнего франка. Все равно все это страшная ерунда, и никому она не нужна здесь, в этой продажной стране.

Слегка пошатываясь, он вышел за дверь, в прихожую, шпоры как маятник отбили шаги его до выходной двери.

На улице он тряхнул плечами, посмотрел на перекипающее от штор-ма море, оглянулся и тихонько засвистел, — высоко изогнув брови, — какой-то пустынный напев. И нельзя было сказать, разгонял ли он этим свистом наросшие за ночь мысли или, наоборот, собирал их, как пастух собирает отару.

V.

Тинэр не стал ждать. Верхом он добрался до Харуна, там пересел на автобус до Катаны, от Катаны до Дамаска проехал на поезде, таким образом выиграв два дня. В путешествиях неожиданности всегда очень приятны, и хотя и кони, и автобус, и вагон были грязны, воняли бедностью, кишели вшами, но бедность, как и вши, были фольклором Сирии, избегнуть его было жаль, — и Тинэр все записывал о вони и вшах, о жаре, о породе коней и скорости поездов. Всюду были следы жестокой войны и разрушений.

В Дамаск прибыли ночью. Было жарко. Он едва держался от усталости. У подъезда гостиницы он вылез из автомобиля, ему показали комнату, он ощупью нашел кровать и уснул, чтобы, проснувшись, увидеть Дамаск, греющийся в тишинé солнца.

Дамаск, «очи Востока», прохладно пахнет барбарисом. Над Дамаском стоит вопль базаров. Он слышен еще издали, за несколько верст, ломающийся в облаках бледной пыли.

Пыль, вопиющая в пустыне, — вот Дамаск. Шторм войны смыл рои вокруг Дамаска, рассек черепа вилл, разметал стада, бросил сотни палаток, костров и людей на вороха садов, растоптанных в слякоть.

В городе, в его улицах и на площадях с шадриванами, крик негромок, лицы пахнут плесенью и сырой землей, стены домов теплы и выпечены лнцем, как крутые хлебы с сухой, вкусно пахнущей коркой. Терраса стиницы, закрытая цветными фигурными лоскутками стекол, выходила улицу. Солнечные котята прыгали по столам, на которых высокие вшинчики с цветами и снежные скатерти источали веселый и покойный эт. Кофе было прекрасно, пряное и горькое сквозь сахар.

Худенький арабчонок, почистив Тинэру ботинки, предложил себя гиды. К дому Эль-Абрагама-Хильми, находящемуся в туземном квартале, нужно было пройти через добрую половину города, мимо базаров, караван-сараев, дорогих витрин, синема, опять базаров, складов, школ, феен, пожарищ, развалин. Караван-сараи вспоминались по запаху доформа, запаху действенной цивилизации в пустыне, базары пахли зьим салом и медью, имбирем и шафраном. Всюду тарахтели и икали лиными голосами форды, в витринах лавок спели на солнце сиропы, ренья и эссенции — гордость Дамаска; проходили белые верблюды, тиквары показывали медные чаши с арабесками и стихами из Корана, тки из черного янтаря, — лапали прохожих руками, жирными от мирры. мирную оголтелость улиц иногда вдруг врывался тяжелый грузовик, битый французскими солдатами и штыками, он расталкивал людей и рблюдов, люди подымали шум, распихивали в сторону ослов, уносили тки, предупреждали друг друга об осторожности перед автомобилем. абченок Тинэра, мирно шествовавший по тротуару, тоже кричал что-то скудным жилистым голосом и что-то кому-то советовал. Через полчаса нэр сам стал кричать, сначала на арабчонка, потом на других, но никак замечал, что кричит и что вокруг него шумно, потому что все двигались дленно и медленно же орали. И только когда он свернул в улицы, далее от рынков, то понял, как было там крикливо, и только тогда уловил м, стоящий над городом, которого раньше не слышал. И, однако, он как не мог понять, откуда исходит такой шум, ибо на улицах было мало одей, меньше, чем всегда бывает в Дамаске, базары спали, не было дно ни лошадников из Шаммара, ни фокусников из Хеврона, не пестреплащи племени нуэмов, приходящего в Дамаск таборами, как на яррку, отсутствовали даже ближайшие соседи — абу-зубеды из Дерато оуладали из Алеппо.

Но вот улицы стали шире, в улицы все чаще стали впадать переулки тупики, застроенные громадными домами, застывшими в суровом безлвии, как дома Венеции вдоль старых нешумных каналов. Было много лнца, и все казалось оранжевым. У дома, покрытого, как конверт мар-

ми, голубым и синим фаянсом по серому мрамору, арабчонок остановил-. Дверь из гулкого дерева, простеганная узором из медной проволоки, ла закрыта, жалюзи окон спущены; за высокой стеной, через которую эеливалась сиреневая пена глициний, было тихо. Бронзовый кулачок двери постучал по дереву очень несмело.

Женский, годами расщепленный, голос спросил, — откуда, кто, зачем? Никакие пиастры не проползали сквозь дверь, чтобы помочь разго-эу. Становилось очень неловко, но арабчонок сказал что-то смешное и кное, цепь изнутри ослабела, и Тинэр вошел, опустил в чью-то руку астры, сбросил обувь, сунул горячие ноги в туфли без пяток и, ничего е не схватив глазами, поднялся по деревянной лестнице наверх. Пахло прогоревшими углями.

Лестница привела в многоугольную комнату, голубую от фаянса, коврах ржавых тонов. Вышла женщина, закутанная в белое, и Тинэр иетил, что у нее были скупые и требовательные глаза. В двух словах он сказал о легенде, о том, что он ученый востоковед и пришел по-этреть, где и как жила Фатма.

— Мы ничего не показываем кроме одной комнаты, где она принимала франков, — сказала женщина. — Если мосье угодно...

— Да-да. Чрезвычайно интересно. Благодарю.

Тинэр ощупал в кармане книжку и поднял занавес, закрывавший вход в эту комнату.

Шали ярких цветов с фантастическими рисунками, шерстяные и шел-ковые, скрывали холод фаянсовых стен, шали из Мешхеда и Бруссы, одни падали строгими складками классических тог, другие распластывались по стенам, как крылья гербарийных бабочек, — желтые, светлоржавой листвы, алые, синие. На полу лежали ковры. Мебели было мало: низкий диван у стены и перед ним маленький шестиугольный столичек, резной екретер в углу и большой грузный письменный стол, заваленный книга-ми, журналами, вскрытыми письмами, листами исписанной бумаги.

— Могу ли я просмотреть книги на столе? — спросил Тинэр.

Женщина стояла недалеко от двери и пощипывала рукой распу-тившуюся нитку на шали.

— Да, господин. Мы положили для того, чтобы смотрели.

Тинэр перестал стесняться. Почувствовав себя следователем науки, н резко придвинул к себе стопку книг и оглядел корешки: книги Е. Юнга Е. Бонзэ по географии Востока, Омар Али-Рашид «Высокая цель позна-ния», Тагор «Гитанджали», Морис Декобра «Мадонна спальных вагонов», Петруччи «Натурфилософия в искусстве Дальнего Востока», безыменная нижка «Трое в одной кровати», сборник стихов Фузули, — он отодвинул топку.

Женщина с требовательными глазами следила за ним.

— Это всё? — спросил Тинэр.

— Да, кажется, — ответила та и позвала кого-то глухим контраль-о: — Гебела!..

Вошла другая, смуглая, жилистая, с валкими под легким платьем бедрами.

— Франкский господин спрашивает, все ли книги здесь? — спро-ла женщина с требовательными глазами.

— Ах, пусть не гневается на меня благородный господин, — пропела ишедшая, — я такая забывчивая, я, наверно, что-нибудь забыла...

И она стала припоминать, ахая и закатывая глаз, не забывая пере-огнуть бедрами и на секунду обнажить лицо.

— Ах, я вспомнила, Зиле-Ханум, — сказала она. — Да простит мне спожа, я забыла ее тетрадь, что она написала для нас.

— Какую тетрадь? — сжал желваки лица Тинэр.

— Ах, господин, так это для нас, там песни, что мы пели.

Тинэр протянул ей несколько долларов.

— Прикажите кому-нибудь найти эту тетрадь и покажите мне.

Доллары исчезли в широких рукавах Гебелы.

— Ну, пойди же, Гебела, сестра моя, прикажи поискать тетрадь, — азала первая.

Тинэр опустился в кресло, закрыл глаза и стал ждать. Женщина ребовательными глазами молча щипала шаль. Снизу слышались голоса смех, бубен, топот босых ног по деревянным лестницам. Тинэр весь ел в себя — и очнулся, когда рука женщины с требовательными гла-ми протянула ему толстую кожаную тетрадь. Гебела не вернулась. ло тихо. Никто не надоедал болтовней.

В этом доме прошла необыкновенная жизнь необыкновенной жен-ны. Он открыл тетрадь. Хрупким узорчатым почерком были написаны хи песен. Он стал читать их. Он прочел песню о любви женщины к нщине.

Он перебросил страничку.

«Я написала Анри о книгах. Посмотрим, сдержит ли он свое обещание, жать меня в курсе парижских новостей. Сидя здесь, я прихожу к мы-, что Европа гораздо лучше, виднее и понятнее издали, я здесь не-вненно большая европеянка, чем на rue de Bauches, в Париже».

На следующей:

«Быть красивым лучше, чем добрым, но лучше быть добрым, чем уро-». Это я прочла сначала у Оскар Уайльда, потом у Джемалледина Руми. ати книги Руми на добрых пять веков старше уайльдовских».

«Если женщина не умеет делать своих ошибок красивыми, она только ка».

«Анри прислал, наконец, журналы. Начну писать».

Дальше:

«Я просматривала книги о Востоке в библиотеке отца, как ужасно го пишут о нас европейцы! Мы гораздо меньше говорим о Западе, мы ча учимся у него, и мы знаем его лучше, чем он нас. Война, которую начнем с Европой, покажет, что мы знаем Европу гораздо ближе, чем сама хотела бы, чтобы ее увидели.

На следующей:

«Марксова теория низвела все эти философические путаности до степени точной системы логарифмов. Если не ниже. Если заняться от скуки эеобразной «mots croisés», то в конце концов можно наловчиться механически извлекать квадратные корни, например, из Шопенгауэра. Какой был идейный циник, а вот не устоял же перед Востоком и разразился кой чувствительной ерундой, за которую стыдно. Должна сказать, что гораздо менее чувствительны. Война в полном разгаре, я выжидаю, еди произносят мое имя с презрением».

Дальше:

«Решила выбрать для упражнений по востоковедению журнал Тиэа. Уверена, что все сойдет.

Читаю Шопенгауэра и не могу притти в себя от удивления, как он кож на Наман-Кямиля. Вот тебе различие и рас и культуры! Ясно, ю не в этом.

Написала Анри, что мне все осточертело. Дурачить французских зных так же скучно, как и все прочее. Но развязаться с журналом Тиэра трудно. Спасают их же циники. Вчера выручил положение Макс Норау, которого я чудесно переписала по-своему, и была поэтому весела.

Гебела меня ревнует к книгам. Если бы ты знала, Гебела, как я обой дорожу в этом тихом монастыре увядания. Как больно помню я вои колени, бронзовым браслетом опоясывающие мой живот. Как хорошо чувствую твой взгляд на себе, когда, забавляясь с другими, я вижу тебя рислуживающей мне.

Рамазан ушел в пустыню. В доме моем французы. Мы не выходим а улицы, страшно соседей, поем, пляшем, и все веселы, как никогда. Человеку не дано выскочить из круга своей касты, рода, племени. Он должен ройти путь своего народа, для меня это ясно. Хочу быть веселой до конца. tre aimé c'est bien, mais etre aimé comme on le voudrait — c'est rare. Я мею это редкое, я люблю Жерара, франка и врага, я любима. Я заплачу а любовь, когда буду сразу платить за всю жизнь. Певцы из Ассира недаом поют: «и грех бывает слугою высоких истин, когда тот, кто признал вой жизненный счет, — высоко держит свое чело!»

Дальше:

«Тинэр выезжает из Марселя. Жаль, что мне сейчас не до него. I рассказала бы ему пару-другую веселых историй о своих работах журнале. Но нет, мне не до него. Я не знаю, когда это произойдет — втра или послезавтра. Я приготовилась к прыжку, как кошка. Завтра? Никто ничего не должен знать. Я открою свое лицо только тогда, когда го будет нужно, и так, что уже никто мне не закроет его».

Тинэр закрыл тетрадь.

Конечно, теперь все было понятно.

— Если господин устал и у него нет, где отдохнуть, — сказала женщина с требовательными глазами.

Тинэр не понял.

— Если у господина нет знакомых и ему скучно... — повторила женщина.

Тинэр вспомнил Гебелу.

— Нет, благодарю. Это не важно.

Опять лестница с запахом угля, подъезд, скрип дверей и арабчонок, кому-то чистящий ботинки.

Тинэр углубился в лабиринт улиц, пошел без цели и направления. Его лицо работало, глаза его, помогая мозгу, почти ничего не видели. Печаль управляла Тинэром. Она захватила его целиком и, наполнив своим дыханием мозг и чувства, вырастала в страх перед тем непонятным, что вдруг увидел он в этой обыденной жизни.

Он шел теми же, что и утром, рынками и площадями, прокуренными запахами пустынь и цивилизации, он видел движения жизни, объезженной французскими танками, и слышал рыки автомобилей, стерегущие знамена французских легионов, на площади перед домом генерала Гуро. В отелях и притонах громыхали оркестры. Он даже остановился на минуту у плаката на стене и прочел, что командующий тщетно старался, в течение последних четырех месяцев борьбы, показать хотя бы одного повстанца представителям прессы и что, несмотря на это его желание, ни одного повстанца не было обнаружено в районе расположения корпуса. Командующий должен был извиниться перед журналистами за невозможность удовлетворить их любопытство. Тинэр улыбнулся: генерал неосторожен.

Тинэр шел мимо базаров, кофеен, лавок, развалин, караван-сараев, и он слышал отовсюду куски знакомой мелодии, которая стала дыханием улицы.

«Если посчитать этих певцов, — подумал он, — станет ясно, что их больше, чем можно позволить в покоренной стране. Кто же — победители? Мы или они?»

И чтобы не растерять всех нитей виденного, он — как пришел в отель — сейчас же сел за стол, чтобы записать легенду араба Тейсуна, из племени «сбаа» — песнь кипящих песков, кипящих душ, кипящих войн.

Кавказские впечатления.

(Отрывки из книги.)

Андрей Белый.

Грузия.

В миг отъезда — мгновенная метаморфоза; взлетевший, дымящийся авес, странно раздрался клоками, покорно ползущими около черных одножий; везде проступили сады чаровницы Армиды; Армида — джария.

Мы — даже ахнули!

Этим показом Аджария бросила: «Не забывайте!».

В Батуме — давеж; пограничники; перегруженных — осматривают; онтрабанда — гуляет; мельк личностей темных.

Но поезд в луну ускользнул; чистота и удобство в плацкартных агонах; мелькнуло исхоженное: Мыс Зеленый и Чаква; серебряное Цихисзири: летит мимо окон; уже — Кобулеты, где в августе — жизнь; Кобуеты — курорт для тифлисцев, спустившихся с гор (в горы едут в июле); перь Кобулеты пустуют; уходят аджарские горы, косматясь лесами, которых — кабан и медведь; вот равнина, вспотевшая топью: леса нехожие, сети фруктовых садов, — заболочено все; попадаются мертвенно лые лица мингрельцев, больных малярией; и страшно подумать здесь садиться.

Ночь свершает обход — в серебре; появляется за Нотанеби — Самеди; Рион перед ней; с Нотанеби — шоссе в Озургеты, которое — верст семнадцать от станции; пятна пространств Кутаисской губернии; здесь спортируют: шелк, кукурузу и фрукты; я где-то читал, что обилие шен — беда; ими гнутся деревья; их свиньям бросают; две трети плов погибает; нет сбыта; и сборы беспроки; сады — необорные.

Светит.

Не спится: торчу под окном; за садами, болотами, оку невидные чью, а может невидные вовсе (за далью) подъемы к Сванетии.

Вот куда тянет.

Долина Риона, где розы цветут в январе, где в конце февраля зацвеет камелия; некогда тракт караванный (от Черного моря в Центральную зию), эта долина, когда с малярией справятся, в аттракцион превра-

тится, — хотя б Кутаис, утаившийся в ярких ландшафтах и в мифах (как-то: грот Язона); да, кстати: Медея, которую знаете вы, — та, с которой Язон сочетался — грузинка; «Медея» — обычное имя здесь; ныне повсюду встречаете маленьких черноволосых Медей (и — позднейшая вставка: с одной познакомился я; она — дочка Яшвили, поэта грузинского).

В более позднее время являются римляне: Грузия сторожевою окраиной римского мира была, очень дорого стоящей; круто горами ломались пространства истории («нашего» древнего мира); за Грузией шел неизведанный мир, о котором ходили темнейшие слухи; Каспийское море делило историю древнюю — на две; они чуть не встретились: объединенный Китаем восток; и мир Запада — Рим; но случилось что-то: какое-то вдруг появилось пятно: пятно вихря; вихрь рос, превратясь в ураган: вихрь народов; и далее — переселенье с Востока на Запад, менявшее четкий античный рельеф.

Эту местность проспал, как и в первый раз; все Шаропань просыпают; в пути от Тифлиса же все просыпают Сурам: перевал; Шаропань — при горах: недалеко хребты; в них же — залежи марганца; узкоколейка ведет к ним; а речка Квирила, что значит — крикунья, шумит; поезд мчится в долине.

Проснулся.

Туманы, подъемы; там чернокосматые, точно коты, обстав поезд, гнут спины горбины; сначала — лесные, а после — безлесные: миры утесов взвороченных, где — на утесе утес; верхи срезаны мутью; лишь в просинь мгновенную высверкнет мрачно пятно серебра: это — лед; неприветно в такую погоду.

Вот станция Ц и п а.

Как холодно.

Около перевала Сурамского голо и пусто; петлит змеей поезд, свиваясь в утесах; и кажется, — ты ползешь в небо, и горы уходят под ноги; но это не радостно; местность — ровнеет: поля; и — селения с бедным посевом, с пейзажем, скорей, — новгородским; долинки такие есть сфера альпийских лугов; горы сгладились не потому, что их нет: потому что они — под ногами. Откуда-нибудь, кто-нибудь, может, смотрит из низа: он дикую недостижимость утесов увидел, рассеченных на-двое тучею; выше ее, в точке гребня, быть может, — уносится поезд наш; пусто и ровно.

Сурам.

Инженер, проводивший туннель, поднимается в мыслях пред каждым; туннель вели одновременно с Сурама и вблизи М и х а й л о в а (та сторона перевала); отверстья в положенный срок не сошлись; инженер был уверен, что он прогадал в вычисленьях, что труд погиб прахом, — не выдержал; и — застрелился; но в тот же момент два отверстия встретились; повременил бы!

Герою труда сложен каменный памятник.

Гасятся всюду огни: воцаряется мрак; «тох-тох-тох» прогрохаты-
' отчетливо в каменном склепе; и явственно тащимся вверх; вдруг удары
ільные колокола возвещают, что — пункт перевала; и тотчас же —
гвенный спуск: до Тифлиса.

Мы вылетели в серый мир предрассветный; пасть — сзади; дымища
'да валят, а вокруг вырастают вершинки; растут, как грибы, из-под
выше, чаще, стремительней.

Местности около Гори — проспали; проснулись меж Гори и Мцхе-
; то — Грузия; ранней весной, по дороге в Батум, любовались мы ей.

И опять: пожираем глазами.

Ландшафт — не аджарский; тот — буен; а этот — скупой и сухой;
городный. Где роскошь лесов, бамбуков и лиан? Всюду — сушь очер-
ій, безлесица; но — до чего проработано! Вспых колорита, ярчайшего,
как скомкался; пестрости — пересеклися кричаще и грубо; из пере-
ния вспыхов — рельеф приподнялся аджарский: мазки, мир экспрес-
; рельефы же — смазаны.

Над подтифлисским ландшафтом работал — резец; гравер, опытный
істер, отбросил все яркости; декоративности стерты: сознательно; все —
эедысчислено; линии — будто сухие, простые; во всем — экономия,
:ность; но и именно: невыразимость подчеркнута ясно и трезво измерена:
эрмулой.

Сухой отчет о местах: не места; цифр колонки — не холмики.

Живя в Аджарии, нам вспоминалися строчки из Фета:

На суку извилистом и чудном
Райская качается Жар-птица.

Но в Грузии Фета не вспомнишь. Кого вспомнишь?

Пушкина.

Так, как у Пушкина, бедная строчка для многих, кто уши растряс
аяковским, глаза ж истерзал краской Фета, — пожалуй, покажется бед-
ій долина грузинская с сетью холмов, после чалм пестроцветных, — не
р — подбатумских, вполне приспособленных, чтобы служить декора-
ией дивертисмента «Руслан и Людмила»; потоки кипящие там, как...
ады Черномора Невидимого; и клоками брады Черномора несется ту-
цкий туман, за который, схватяся, Руслан, посетитель Аджарии, борется,
немогая в борьбе; Черномор — это климат; и он же есть шапка, в кото-
ій сидит Невидимка Людмила, искомая нами, как всеми: погода прекрас-
я; снимет свою невидимку Людмила, — и метаморфоза чудес: чудеса
решете, как и в дивертисменте, до... до пресыщенья, как в строчках:

Переходят радужные краски,
Раздражая око светом ложным.

Аджарский свет ложный, мгновенный, как быстрый ракеты разрыв,
к бенгальский огонь.

Я любителям всякой романтики (с «р» и с два «р») ехать рекомендую в Аджарию.

Грузия для пушкиниста. Чарующа эта часть Грузии: тихой своей ıростотой; простота же — предел изощренья; здесь грубые вкусы, надувıись, пройдут; и отметят: «Природа бедна под Тифлисом». Такую отметку встретил в каком-то из путеводителей; это сказать — то же самое, как сли б выразиться: «Пушкин — не задевает; в нем, знаете, как-то все едно; эмоции нет; вот — Надсон; и напыщенно продекламировать:

Пусть роза сорвана, она еще цветет;
Пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает.

Эти места — отмелькают; пусть я ничего не узнаю от Грузии: чередованье спокойных зеленых долин, окаймленных сработанным росчерком иний рельефов, мне свяжутся с милыми, сердцу знакомыми строчками:

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне они
Другую жизнь и берег дальний.

Тот берег есть берег времен; отстоянье от нас его — тысячелетия; зборатория сумеро-аккадийских культур — вот она: в разработанной, зреработанной, четкой культуре линейных сложений; «другая жизнь» — эиподымается; это история длинною лентой развертывает свои смены артин; льется кровь; цитадели культуры штурмуются дикими ордами ıовь проходящих народов; кровь Грузии — старое очень вино, настоявеся на глубоких страданиях; мы еще в шкурах ходили, а Грузия — ıстрадала; она первая здесь принимала удары: монголов и персов; и ıт отчего: «Ты не пой мне, красавица, песен своих». Да, мы поняли: эстности эти — точнейшие ноты; глядишь на них — песни встают.

И вся Грузия — песня: мотив — благороден; слова — очень строги очень грустны.

. . . .

Было сыро и облачно; но и в дожде благородство сухих очертаний эказывалось, как рисунок: отчетливо; даже сквозь дождик, совсем не ıжарский, мы радовались: климат сух; и куда эти хмури исчезли? Остаıсь... в третичном периоде.

Хмурый денек, а — приветливо.

Штрих, мной подмеченный: в Аджаристане пластична земля; всегда — ıмка; и контуры — переменяются; воздух там вылепил землю; но воздух ıешался с водой; там — вода в атмосфере.

Здесь — четкая сушь; здесь резец с совершенною четкостью выглубил ıнию, не изменяемую атмосферой: в гравюре не значима краска, но — линия.

Эти рельефы окрашены все же: вот желтый тон в темнолиловом эльефе; но оба рельефа — на третьем, глубокозеленом: три ряда холмов; м аккордом тонов восхищался товарищ:

— Смотрите, все время меняются; то доминирует желтый, то...

Тут оборвал он слова: любовались лиловою лавою все потопивших нков, пока не явился причудливый город из складок утесистых, чтобы иться зеленой волной.

Это — слева.

А справа — зеленые гущи долины, как скатерть приподнятые чьей-то ной рукой в подкуренье туманов и переходящие в горы, скорее — в ения: что там такое, — понять невозможно.

— Смотрите: зубчатым кольцом из холмов окаймилось там все.

Крут оранжевый холм в забледнениях нежнолимонных.

— Там что?

— Старый замок.

И — головы вздернули: встали — перпендикуляры.

Мцхет: старый какой!

Вон и серозеленый собор: вон и серые крыши; за ними — утес; тесе же — Мцыри.

Мы будем там: скоро.

. . . .

И — нет! Не могу прекратить эту запись: потоками ассоциации осятся лечь на бумагу; гоню их: пошли!

Два художника встали: один — в альмавиве и в шляпе с полями, — адатый, власатый; и — с трубкой; такие когда-то ходили по улицам; все уже знали: художник, романтик: стиль — «чорт побери!». Он — лантищем был; он наляпал Аджарию; нас удивил; и — спился.

Был другой: сухой, бритый, седой и с губами, поджатыми крепко; ил рисованию он; был — педант: детворе ставил двойки; и всякую там отсталость выказывал по отношению к бурным стремленьям; был же классик; Пуссена любил, любил Дюрера, молча: не лез ни к кому с восхиньями; напоминал, впрочем, Тютчева (та ж суховатость лица); лишь лазах, очень маленьких, карих, прикрытых очками, — какие-то бегали корки; что рисовал, — неизвестно: какие-то сухости академические.

Вот он — умер: стояли пред папками, перебирали рисунки; чуть их сожгли; но случайно знаток оказался; сказал: «Посмотрите-ка, разве видите вы — гениально; какая гигантская сила порыва, зажатая есте с резцом в кулачок суховатый, сказалася в росчерке линии, с виду остой, здесь взлетающей в грядки утесов, зубрящихся (зубрина к зубне — ходы на кварту, на квинту); и после слетающих. Сколько умения, ания форм.

И умерший художник, «учитель мальчишек», стал в памяти — гением; произведенье его называется:

«Местность близ Мцхета».

Она — древний город, где каждая складка холма есть орнамент южайшего стиля, где узкий прощел между складками — уличка, где растрески слагаются в правильно-сетчатый, выщербленный горельеф предметных, как музыка, тем.

Это — древняя летопись: полуразрушенные Вавилоны прохожих культур, токи ордищ, перевших долиной Куры, отчего на холмы преклоненный Тифлис, серый Мцхет, дряхлолетний, столица покинутая, изрываясь морщинами муки и скорби, но муки и скорби возвышенной, — лица свои поднимают с укором под небо смятенное.

Великолепная рябь: рябоватые местности Мцхета, точимые ходами, выдолблинами пещер, перехваченных сетью, слагающей город подземный, куда убегали все жители края спасаться, — старинная рябь городов подземельных и рябь первозданная, вдруг переходят в рябь крыш, в серебро обветшалых церковных тычков; надо всем же, как щит черепах ископаемых, выгнулась крыша соборная над желтопенной водою Куры; а в Куру полосой голубою, не смешиваясь желтым цветом, влилась голубая Арагва.

Рябая стена, камневатая — фон; увенчалась — развалиной Мцыри.

За Мцхетом — Тифлис.

Но сперва в окна глянули странно бетоны гиганта «Загэса».

Снижались кругом рябоватые стаи утесов; меж них подползли рябоватые кучи крыш, дымов.

Тифлис.

Мы — приехали!

. . . .

Сеялся меленький дождик; он кончился; стало приветливо; серый Тифлис: он — приветливо серый: есть серость, которая — лишь аллегория скуки; и есть серый цвет: просто цвет безо всякого примысла; может быть нежен, очарователен он; эти серые здания, серые храмы с серебряными островерхими вышками, серые стены добротны тем древним налетом, пожухлостью многих годин, пролетевших осмысленно; серость отстоя, быть может, столетий, простерлась, как тень некой думы и грусти; вот — слово: мы едем изгибистыми, порой громкими уличками в безалаберном шуме прохожих, но стены, прохожий тот шпиц, — безалаберят смыслом, еще мне не ясным.

Воспринимаю я город в цветах; первый символ осмысливания восприятий — цвет, как для Скрябина, воспринимавшего цветом тональность; Берлин мне останется буро-сиренево-серым; Тунис — ярко-белым; Неаполь стоит — краснобоким. Тифлис стал мне «серым» — с вокзала; таким и остался, хотя стал белеть, когда мы приближалися к центру; бела Эриванская площадь; разброды и сброды.

В Тифлисе на улицах — жизнь; это — радует; вместо того, чтоб из центра бежать, схватив шапку в охапку, в глухой переулок, почувствовал давно исчезнувшее побуждение: выскочить мне из пролетки, смешаться с роями людскими: бродить и роиться.

Вот уличка — тихая: всюду открытые окна; и — звуки рояля; Паскевича улица (бывшая); тихо, бело, грациозно; и — зелень; горбина над домом — манит: перескок через крыши за город, в природу, — приподнят и подан ландшафтом, врастающим в город; открытые окна; и — звуки Бетховена.

Вид у Тифлиса — восточный; а ритм, подаваемый звуком, не образом, — западный; определение «Запад» беру я условно; в моем «осмыслении» «З а п а д» — культура науки, искусства, общественности.

Найдено выраженье, повеяло духом «культуры» мне в нос; я же думал: «Восток»; это значит на нашем, убогом, изношенном и неправдивом жаргоне понятий: вполне «н е к у л ь т у р н о с т ь», быт — узкий и стабилизированный; нечто вроде: вино —

На узорные шальвары
Сонный льет грузин.

Каюсь: ассоциации нашего подсознания — крепки; привяжется такое: кахетинское, сон, шаровары, шашлык; и живет себе; тут — никаких шаровар, никакого сна, даже узорности в смысле обычном нет: зелень, от, белый цвет чистых домиков, звуки Бетховена...

«З а г э с».

Я заснул белым днем, когда стали кричать, как обычно, под окнами:

— Ан-тон, Ан-тооон!..

— Что такое Антон? — очень многие из приезжающих спрашивают у тифлисцев: кричат о каком-то «Антоне» под окнами, каждое утро; оказывается: не «Антон», а другое какое-то слово, грузинское (предмет продажи); московское ж ухо построит «Антона», которого — нет.

— Что такое Антон? — я спросил у Мутафовой.

Она смеялась:

— И «мхатцы», когда здесь гостили, расспрашивали об «Антоне»; совсем не «Антон» — и она подсказала какое-то слово, которое тотчас забыл; для меня остается: «Антон»; без «Антона» таинственного мне Тифлис — половина Тифлиса.

Совсем не «Антоном» был занят я утром, а тем, что мы едем на два часа раньше; хотелось во Мцхет; собрались взять машину; но очень приветливо профессиональный союз дал свою; но осмотр наш двоился: и Мцхет осмотреть основательно, Мцхетский собор, называемый «С в е т и Ц х о в е л и» (постройка древнейшая была разрушена при Тамерлане, в пятнадцатом веке), взобраться до Мцыри (до Лермонтовского); все то — надо; но, но — надо ж видеть «Загэс», закавказскую станцию, иль конденсатор энергии, памятник Ленина (как раз под Мцыри — в долине); и т о надо видеть, и э т о: историю и современность.

История все же должна отступить (мы решили вторично быть в Мцхете); «Загэс» — побеждал: он живою легендой стоял: при Тифлисе; открытие официальное — близилось.

Утром сказали: машина приедет на два часа раньше; и с ней инженер Микеладзе, виднейший строитель плотины, Куру преградившей; должны подвезти его (или вернее он нас подвозил); принялись будить З. Н., уставшую двумя спектаклями в день (накануне).

Рожок, фырч — подъехала; с ней — Микеладзе; а мы — не готовы; вошел Микеладзе, весьма загорелый, слегка коренастый мужчина, с лицом пережженым от солнца, — приветливый, очень культурный, любезный: совсем не «чужой», — как бы «свой»; это «свой» и «чужой» — категории восприниманья; бирюк я, угрюмый, застенчивый, — точно улитка сжимаюсь при виде «чужого»; «чужой» же — не есть чужой мыслью, иль вкусом, тональностью неуловимою; много людей по воззрениям близких — «чужими» встают предо мной, а порою далекие, парадоксально далекие люди — «свои».

Категория «с в о й» и «ч у ж о й» — атавизм детских мигов; как только увижу «чужого» — все скошено; я не о т о м становлюсь; и не т а к выражаюсь; бодрюсь, прикрывая конфуз, хорохорюсь; и ряд инцидентов, печальнейших, корень которых — конфуз, возникает; «конфуз» и сложил репутацию некогда мне; в 1907 году писывали в газетах, что я —

. . . . .Андрей Белый —
Весь в скандалах поседелый.

От корреспондента на-днях я сбежал, дико струся; боялся сегодня, что с нами поедет «чужой».

А «чужой» — вот какой! Мы — поехали; быстро возник разговор интересный; в лице Микеладзе прекраснейшего объяснителя мы получили: Кавказа, «Загэса» и Мцхета; потом — и хозяина, нас принимавшего.

С фырком машина, разрезав Тифлис, очутилась в том самом пейзаже, где с другом бродили на-днях: перегон Тифлис — Мцхет, в 20 верст, — перегон по Военно-грузинской дороге; взвивается эта дорога на холм, чтоб открыть на мгновенье далекий, глубокий прощел, образуемый кряжами над желтоводной Курою; отсюда отчетливо, близко (иллюзия) глетчеры свисли.

— Казбек, — показал Микеладзе фуражкой.

Узнал я гиганта, знакомого в снимках; под снежными шапками приготовлялися тучи — обычный обед, испекаемый к полдню, часам к четырем подаваемый где-нибудь грозами и ураганными ливнями: или к Тифлису, иль — к Владикавказу; ветра подают тот пирог вздутых туч, падающих к вечеру и ожидненными мазями красящих небо. Люблю облака при горах с их особою логикой, странной для жителя плоской равнины; с гор раздуваяся, тучи и пучи, готовые лопнуть от грома и молний, срываются с места, чтоб сгинуть: бесследно; ишь — вспучилось: войско гигантов обсело вершины; стащившиеся, — шествуют: по небу; но сохраняют видимую форму (горы, их родившей); вон те облака — слепок гипсовый: гор; эту тайну пригорного облака выдал однажды Волошин, лет тридцать подглядывающий в Коктебеле воздушное блюдо вершин; не знаю, ответствует ли «миф» об облаке, строимый им, данным метеорологии; правдоподобен он; главное — очень красив; его принял на веру.

— Посмотри-ка, — учил Макс Волошин, — вот облако образова-ь: на этой горе, — и он тыкал свой палец на облако; после — на гору. івни-ка их формы: ты видишь: у облака — форма горы.

И я видел, что — да, хоть не видел, как облако с гор поднималось; :ошинский «миф» все же принял; связь облака с горной вершиною — івная: и облака — те же горы; гора — то же облако.

Пучился дикий мир дыма — от гор, при горе, под горами: над ды-ии — дым; вместо только что видимых кряжей — мгновенно расту-е там пятиглавья, трехручья, горбы: не понять, что — гора и что — а; Кавказский хребет, раскрутясь, полетел в небесах; его видеть ьзя (мы слетели в ущелье) — он, все же, взлетевший, — висит, чтобы іями рухнуть.

— Быть ливню!

— Не будет, — смеясь, говорит Микеладзе.

Авто же скользнул вдоль Куры по долине, сжимаемой кряжем, то вь раздающейся; белогребенные, желтые воды: их гребни, как бе-: зайцы, вприпрыжку летят друг чрез друга; меж ними — смерть одит: Тифлисская хроника ведома мне; каждый день кто-нибудь за-лебнулся.

В Куре не купайтесь!

Купаются: бронзовые, голорукие и голоногие люди отовсюду кидают-я в кипень; у берега буйволы влезли по шею; рогатые черные головы, упо уставились.

— Вот, Андрей Белый, — З. Н. показала на голый утес, прерывая од мыслей моих.

— Что?

— Утес!

— Почему?

— Вы же любите голые горы: мне с вами связались они.

Да — люблю; оголенность есть знак вышины; горы, крытые лесом, — релестные; только! «Высокое» предпочитаю «прелестному»; прав Шопен-іуэр; не слишком торчат здесь отвесы, дорогу каймящие, — все ж они учше Аджарских, покрытых лесами: классический, тот же рисунок ышин, переставленных вниз; кто-то лазил высоко; и, снявши рельефы, ринес их в долины; горищи о много сот футов, порою — не горы в моем эсприятии; малый пригорбок — порою «гора»: все зависит от линий.

В. Э. Мейерхольд, безответственно сняв свою шапку, отдался при-екам.

— Смотрите!

— Вполне безопасно, — фуражкой махнул Микеладзе.

З. Н. вспоминала Мурман; я не слушал, задрав нос: на :рооранжевом срезе утеса, высоко над нами, — огромная стая пещер-ых отверстий: глазищами слепо таращится в мир: ничего не увидела; о история оком невидящим смотрит на нас, на «Загэс» и на памятник енина; не понимает: таращится!

Вдруг — панорама, в которую мчимся; из-за полотна, на широкой долине несется навстречу кусок двадцать третьего века железобетонными формами; разгромоздясь, — подлетает; несемся — под ним: загораживая подбегающий, выше лежащий, обводный канал (из Куры — и в Куру), очертания странные, мир чуднодиких и чуднопрекрасных бетонов (плотина ли, крепость ли, иль городок «марсиан») — вырастает: уступами, скосами, лестницами, переплетами, трубами, равными с домик, диаметром в шесть аршин (в трубах — вода); это место, где кони Куры, инженером подкованные, заключенные в трубы, — ритмическим скоком несутся в бетонах; да, да — 18 000 ярых коней галопируют; ржанья ж — не слышно; и — топа не слышно (все то — будет дальше).

— Сюда мы подъедем потом, — говорит Микеладзе.

И — мимо.

Повертываюсь; сбоку дом — тихий дом: на отлете; при нем — часовой.

— Это что?

— Ключ к Тифлису: потом!

Микеладзе, смеясь и гордясь, как художник пред созданным им изваянием, стал выражаться энигмами, не открывая нам карт; так и лектор: ударное место свое бережет он, к нему подведя, отступает, длиннотами речи томит; неожиданно — грянет, как в спину.

Другая картина: она есть введение к первой; мы — к ней.

Снова странно изящная ткань переплетов; как кружево, в небо белеет из башен, бетонов и дамб: то — плотина, разрезавшая Куру надвое; снова — Уэллс, повествующий о мире Марса; совсем не земля: здесь железобетон излагает в пространстве конструкции формул: красиво; но — это ли слово: «красиво»? Могуче — спокойствием сдержанных контуров, вставших над ржаньем и топом: отчаянный шум, сочетаемый с мощным молчанием контуров: всюду винты, мосты, лестницы, взвив переходов, сплетений, воздушных и легких.

То — влево.

А — вправо: на фоне щербатой стены, над которой возвысился Мцыри единственным жителем, дряхлым монахом, — рабочий поселок, весь чистенький, как на параде отряд, развернул, отступя, караул желтых кубиков (домиков) вокруг гиганта, прекрасно слитого над странным сложением каменных кубов, размерами с домики, с силою палец руки разлетевшийся в землю уставил — гигант, указуя:

— Вот — здесь!

— Фигура же выше обычного роста раз в шесть, — говорит Микеладзе; но кажется — больше; она не принижена кругом обставших рельефов; ее пьедестал — разнобокие кубы: параллелепипеды: этот — пошире, но ниже; тот — выше, но — уже; препарадоксально; и все ж — убедительно; лучше сказать, — п о б е д и т е л ь н о: здесь торжествует победу наш век — над Курою, над Мцыри, над Мцхетом, как бы отошедшим, очистившим место, понявшим себя; лишь оттуда, чуть видные, черные очки пещер — не внимая, не зная, не видя: таращатся в солнце.

Нет, — статуя Ленина есть продолженье ландшафта; и ею показана: ıя эра земли; и ландшафт, повелительно сбрасывающий все иные затеи ътуры (попробуйте «виллу» здесь выстроить, — нет, не построите), ина взял; это Ленин, врастающий в почву, без позы, — хозяйствует: ıоряжается местностью; в городе эдакий памятник — ужас; его — .е ставить; он площадь любую размером убьет; высота его — пяти-кного дома; представьте в Москве его: Красная площадь, Лубянская щадь, — нет, нет: не годится!

Над ревом Куры, обрамленный отвесами, Мцхетом, плотиной, под ıри — уместен он: в фокусе прошлого, будущего, — настоящего; ıри, и — Ленин; иль: «С в е т и Ц х о в е л и», и — Ленин; здесь, ти: ведь Мцыри — когда-то прославленный был монастырь, в пятом : воздвигнутый; здесь до него поднималось над местностью — капище ıа; место скрещенья культур (христианской с языческой) — стало ɔетьей культурой: железобетонной.

— Стоят три культуры, — сказал Микеладзе под Лениным и подмах-вверх фуражкою: — Мцыри — окончил язычество в Грузии, новую у когда-то открыв; Ленин — с Мцыри покончил; и — вот, — подмах-'л снова влево: — электрификация!

Вспомнили мы: р е в о л ю ц и я, э л е к т р и ф и к а ц и я — м е с т е р а в н ы с о ц и а л и з м у.

Изваянный лозунг — «Загэс».

— А теперь мы — к плотине, — повел Микеладзе.

Вступили в фантасмагорический мир: я не стану описывать ряда ртин, промелькнувших, хотя б потому, что становятся ясными эти ртины не в слове, а в формулах; не инженер я; и формул строительных показать не могу; Микеладзе водил — поперек, вдоль, вверх, вниз, ъясняя нам действие всех механизмов («Загэс» есть музей механизмов); ослушали лекцию около часу; расло удивление: это все выполнить — $3^1/_2$ года!

Сначала Куру — отвели; поразрыли двухверстный обводный канал, ложивши покато бетоном ту страшную яму, иль ложе пустое, забаррика-ровали установкою стаи чудовищ (машин); спустили стальные щиты; потоки вод — грянули в них; щиты — выдержали.

— Посмотрите: вот уровень, — снова махнул Микеладзе на ровное высоко разлитое, спокойное озеро (здесь Кура — озеро). — И — вот ıда: глубь какая; глядите-ка!..

Переведя нас, показывал он коловерт глубины, где бросалась и ядала с рыком, мотаясь саженными гривами, желтая муть, двухсажен-ıе волны, взметенных зеркальным отвесом спадающих вод, толщиною кремлевскую стену: от верхнего уровня к нижнему; громокипящая масса, бугрив за плотиною яму воды, явно выгнула реку, построивши холм, ıлко клохчущий, — не опадающий холм; будто там запыхтели вулканы дводные; а слои вод — задавясь берегами, с холма опадая, помчались ратно к плотине — потоками: справа и слева.

— Пришлось углубить дно реки в двадцать метров почти, чтоб ослабить гигантскую силу удара подушкою водною; все было б смыто!

Бетонными спусками вел Микеладзе — робеющих, нас: мы — у водного рева:

— Сюда: осторожнее!

Взбрызги бьют в ноги.

— Ах!

— Нет — ничего: проходите.

И — перебежали под пад ужасающий; в уровень с нами — клохтание; спереди выше, как сваливаясь всею мощью — горб, пену мечущий, точно летящий обратно; но он — не летит; пролетают при береге только потоки, обратно бросаемые и давимые: берегом.

— Здесь — рыботек.

Мы садимся на корточки: малый обводный поточек — у ног: молниеносно несется; и все ж — он ослаблен.

— Дно ската уложено часто гребенками, силу воды ослабляющими, так что рыба идет здесь.

— Как, — вверх?

— Разумеется...

— Трудно поверить!

— Хотите, мы ершу опустим; и вытащим рыбу? — смеется на нас Микеладзе. — Я знаю — не верят: и все-таки рыба идет себе: с устья — на верх, от Каспийского моря: доходит до самых подножий хребта; и у рыб альпинизм процветает.

Он долго водил: мы разглядывали всю систему щитов: щитов в действии; и — запасных, приготовленных к случаям экстренным.

— Видите вы эту стену воды? — продолжал Микеладзе: — глядите: направо, меж гранью потока и дамбами — щель (то же — слева); ее глубина — пять аршин почти; скат водяной, обрамляющий нишу — перпендикуляр; стена — гладкая; в этом отверстии может спокойно стоять человек, непосредственно при водопаде; в вершке ж от него — гибель, смерть; если ногтем зацепишь за гладкую стену, — конец: ничего не останется.

— Лучше не думать, а то — все завертится...

Силою скорости строят здесь воды вполне неподвижную форму, присущую твердым телам; тело твердое — интерференция бешеных сил, скоростей сумасшедших; нарушится их равновесие — взрыв; тело твердое — бомба; материя — склад таких бомб; атом — что как не бомба? И — прав Гераклит: неподвижная форма элейцев — иллюзия скорости: все бытие — становление; ставшего — нет; все константы есть призрак; сам свет убывает; то вскрыл Майкельсон; через семьдесят пять тысяч лет сама скорость луча светового нолем обернется; вселенная, вся — будет ноль; бесконечность вселенной, и эта константа вчерашнего дня, пошатнулася в экстраатомном пространстве, чтоб, может быть, скорость свою развивать — внутри атомов: средь электронных миров.

— Все течет, — непосредственно вырвалось.

— Да, здесь ужасно, — вздохнул мой притихнувший друг.

Мы стояли в течениях; там — притекало спокойное зеркало; там дала беззвучно твердейшею сталью стена; там метались, выспрь летаясь и прядая в дали, беспрокие грохоты.

— Эта вода — не работает: та, что в обводном канале, — не эта: демте туда!..

И повел по сплетениям мостиков: узкий обводный канал, полосою клянною тихо несет мощи светов; бетонные, белесоватые скаты.

— Все то, что вы видели, собственно, лишь для того, чтоб взнуздать ом месте Куру; запряженные воды идут по каналу к турбинам, которые проезжали; турбины осмотрим в обратном пути.

Мейерхольд — восторгался; сказал я:

— Вы, Всеволод Эмилиевич, — не забудьте конструкции эти; авось годятся для сцен новой драмы: о будущем.

Снова, покинув плотину, — под памятником; Микеладзе нарочно дножии стал.

— Вот какой я: вы можете ясно судить о размерах.

Под Лениным — карлик он.

Думал я:

— Карлик — приземистый Миме; однако как здорово он, оттеснив ю Куру, ложе взрыл; и стальные щиты опустил; ну, и мускулы ж нужно ія этого!

Точно поймав мою мысль, Микеладзе вздохнул:

— Да, — работа, наверное, стоила мне трети жизни; теперь я с расиренным сердцем хожу: вот на сколько расширилось, — и показал он сколько.

Взглянув с вожделеньем на Мцыри забытый (туда бы, — наверх), ı сказали друг другу:

— А все-таки — будем!

Но ясно: сегодня туда — невозможно нам; соединять ту романтику этим железобетонным - фантасмом — безвкусица; да и не выдержат рвы; придется все смазать.

Мы сели в машину; катнули вдоль берега, Мцхет обогнув, переехали ст, — новый, прочный; а старый, прекрасный, служивший недавно е, — торчит, полузатопленный вставшими водами; снизу глядели на мост.

С небреженьем сказал Микеладзе:

— Построен Помпеем он.

— Как?

— Да: он — римский; хотели взорвать. Говорят нам, что — археоля: трогать нельзя; все равно: Кура справится с ним — очень скоро.

Во мне шевельнулся протест; инженер этот, с дикой Курою играюй, точно с котенком, не слишком ли он позволяет себе? Ведь — история же; в Германии крик бы стоял; этот мост фигурировал бы на картинах; рмил бы всю местность; и американцы глазели б в бинокли, обстав;

но, представивши эту картину и вспомнивши, как мы смотрели на старых евреев, свершавших обряд проливания слез у стены (дело было же в Иерусалиме), — припомнивши трех стариков, в золотых, странноватых халатах в обстании американцев, защелкивавших в кодаки этот «плач», я сказал себе: «Пусть разрушается мост; хорошо, что нет янки, и — нет кодака».

Круто тут повернули на Мцхет: впереди оказался он, легший у той же скалы, изменившей рельеф, ставшей остро приподнятой; Мцыри с тычка — величав; здесь «Загэса» нет: Мцхет, Мцыри, мост; здесь — история.

Спину подставив истории, мчались обратно мы: к сооружениям станции (две лишь версты от плотины).

Вновь — формулы математические, став гигантами, нас обступили: железобетоном своим; то дворец марсиан, а не станция; стоя на высшей площадке над странным ландшафтом, рукою показывая пред собой, продолжал рецитировать нам Микеладзе поэму свою о воде:

— Вот отсюда, взнуздавшись, Кура пригоняется к тем четырем (не четыре трубы, а четыре чудовища) трубам: и здесь — побеждается.

— Трубы, диаметром в шесть аршин, — немо, красиво слетали; меж ними — ступени бетонные: пирамидальная форма, скликающаяся разве с капищами вавилонскими.

— С этого места покорна Кура; она — служит; припомните грохот плотины; сравните его с тишиною — вот этою; но тишина только кажущаяся: огромная сила течет через трубы; работы в 18 000 сил лошадиных она производит: к динамо-машинам течет.

Сквозь огромные стекла (почти что стеклянные стены) под нами лежащего здания ясно динамо-машины видны нами.

— Пойдемте туда.

Мы пошли.

Новый мир: щелк колес, лёт ремней, рычагов рокотание, перерезающий визг, измерительные аппараты, торчки рукояток; и посередине — четыре чудовища, пересеченные, каждое, гладким, светящим винтом, шириною в столб: сталь; столб вращается в полном беззвучии: и совершается акт превращения силы воды в электрический ток напряженья огромного; смазчики в блузах, рабочие, перетиральщики с тряпками — в группах стоят; среди них — инженер; Микеладзе знакомит нас.

— Мы в помещение это пускаем не всех: тут нужна осторожность.

— Идемте.

И сквозь рычаги он выводит в пустынную комнату, напоминающую узкий, чистый, почти что стеклянный сарай, отделенный от прочих машин; ни души: как в пустыне; громадные, точно свитые удавы, тишайшие лежат кабеля; на наружных дверях, приводящих сюда, в помещение это, отчетлива надпись: «Смертельно!».

— Нет, — не приближайтесь: рискованно к ним приближаться...

— Убьют?

— Может всякое быть.

— Хороши!

— Это — резервуары энергии: местность окрестная вместе с Борм способны электрифицировать, не говоря о Тифлисе; Тифлис осве:ся ими же.

— Да: ничего себе!

— Змеи...

Мы вышли из здания: в солнце.

— Сюда? — Мейерхольд показал на отдельно стоящий домок, такой ıький: при часовом.

— Что ж, идемте, — не без колебания вымедлил нам Микеладзе. — собственно... — да уж идемте...

— Сюда не пускают?

— Для вас исключение.

Входим: безлюдие, блеск чистоты, миньятюрность, изящество; гладгены; на них циферблатики, диски; преострые, интеллигентные стрелı них; все — корректно тишеет: блестит, присмирев; стрелки — галсı; белые диски — крахмал; их оправы приятного черного цвета нанили смокинги.

— Не прикасайтесь!..

— Да мы не...

— И не зацепляйтесь!.. — твердит Микеладзе, строжея.

Проходим в центральную комнатку; все циферблатом облещено, обео чистым диском на сероспокойных стенах; посредине же — столик; рей — туалет: миньятюрен и чист; вместо пудренниц, вазочек — виатура сигнализации: кнопочки, лампочки вспышек и сеть рычаков; скорей инструмент для концертов затейливых, чем аппарат; нимаясь со стула навстречу — причесанный, прибранный, вылощенный одой человек, во всем сером, с опрятно повязанным галстуком, но еестественно-бледным лицом и с глазами вполне апатичными по эшению к внешнему миру, но сосредоточенными на каком-то предмете мания, здесь не представленном; усики — американски ущиплены.

Микеладзе знакомит нас.

— Белый, Андрей, Мейерхольд, инженер (имя рек); мои функции чились; вас инженер (имя рек) познакомит с работой своей.

Инженер (имя рек) пригласил нас усесться за столиком; и деловито дел интересную лекцию об управленье системами всех механизмов — эда вот: из-за стола; и Тифлис, и Боржом, и плотина, и трубы с турбии пересеклися — здесь, в столике; здесь инженер (имя рек), не вставая тула, — все видит, все знает, всем повелевает; не стол, а — «п р е- л»; он при помощи кнопок, нажимок и вспышек (свет синий, свет крас-, свет белый) отчетливо ведает: сколько энергий в запасе, в расходе, ие машины работают, сколько щитов опустили, какие приподняты, колько дюймов спустилась Кура и т. д.; все — перед ним; и на все он цет резолюции через рычажечки и через нажимы; он — не инженер, пьянист; от летания пальцев по клавишам-кнопкам элактрификация

края зависит; он — кучер, отчетливо правящий армией диких коней (восемнадцать их тысяч): конюшня — большая. Восемнадцатитысячнопалый, — он с каждым конем обхождение знает; одною рукою — в Куре (там подковывает лошадей), а другою рукою — в Тифлисе играет на арфе из тысячей проволок; эта игра — свет Тифлиса.

Картина чудовищная.

Вы пойдете в уборную, и выключатель повертываете: отметится некогда здесь этот акт молодым человеком; и в то же мгновенье в Тифлисском театре бросает рефлектор В. Э. Мейерхольд на Аксюшу из «Леса» Островского; это — узнается тоже; что было б с рефлектором, если бы здесь молодой человек задремал.

В трескотне циферблатов забегали б черные, острые стрелочки, что-нибудь шипнуло б, что-нибудь вспыхнуло бы; молодой человек, протирая глаза, вероятно, вскочил бы: жест — полный порядок; тифлисский квартал, погруженный в глубокие мраки, опять заиграл бы огнем разноцветнейшим, а Мейерхольд бы оканчивал этим огнем свою сцену.

Пока нам читалася лекция, я представлял себе акты творения света из тьмы молодым человеком, который представился тысячерукою, тысячеглазой химерою; а молодой человек, инженер (имя рек), с очень бледным лицом и ущипанным усиком, сдержанно дал нам понять, что он лекцию кончил; привстал, ожидая, когда предоставим его мы безмолвию.

Странная, страшная комнатка, где обыденность течет в чудесах и откуда странна жизнь за окнами: в двух лишь шагах живут люди, которые не представляют себе, что здесь деется; доступа нет; видят лишь часового, да надпись: «Смертельно!».

— Спасибо вам...

— Вы извините нас, что...

Молодой человек очень просто заметил:

— Пожалуйста!

Кончен осмотр.

Мы сердечно жмем руки водителю нашему, т а к показавшему мир неизвестный и спевшим поэму о нем; объясненья, которые слушали мы, есть поэма, иль новая метаморфоза Овидия: метаморфоза в о д ы в чистый свет.

Микеладзе, довольный волнением нашим, смеялся, кивнув Мейерхольду:

— Коли мне хотите доставить приятность, оставьте билетика два (мне с женою) — в театр.

Мы простились: поехали.

Мчатся ландшафты в обратном порядке; у города остановился в «Б е л о м д у х а н е»: известный тифлисцам духан и известный тифлисцам хозяин духана (одним ли тифлисцам?): «З а х а р З а х а р о в и ч» письма имеет отвсюду; он — оригинал и чудак; он встречает проезжих флажком и — бьет в колокол: знак, что здесь — станция, что он — начальник ее, что машина по знаку звонка должна остановиться пред «Белым духаном».

Мы остановились (нас — остановили), слегка закусили, «Боржома» 5нули; и — дальше.

Вернулись — измученные, подпеченные солнцем; В. Э. предстояло :ь в диспуте: с диспута я улизнул.

И мы с другом, уж ночью, взлетели на фоникуляре к вершине Давида, і видеть Тифлис под ногами; увидели — тьму: тьму кромешную (тучи 'дились); такую тьму редко видишь; средь тьмы, но в обстании тьмы етырех сторон) — там, глубоко, под ногами страннейшее зрелище, — млечный путь; это — звездное небо внизу растекалося длинной, но ›ю лентою; так и вселенная звезд; она — скопище средь... — средь ? Центр вселенной — Канd̀лус; а — вне ее? Нет ничего. «Ничего» — черное видели мы от вершины Давида; оно — подползало от всех четы- концов («мира» едва не сказал) к миру звезд под ногами; то малое, но ıиванное море огней, — весь Тифлис; то великое, черное, что обсту- ›, — ничто мировое; оно вдруг рвалось и раскидывалось: в осле- льном миге мы видели ясно обстанье холмов; приближалась гроза; в одном с нами уровне, скатываясь от Каджор по пологому ну; постукивал гром приглушенно; прикрапывать стало, прихлю- ывать.

Думал: когда-то Тифлис, сжатый в тесную кучу, обставленный баш- ми и крепостями, ночами боялся за участь свою; отовсюду ползли на го; тихо спалзывали; были гребни покрыты лесами; мне кажется, что ›ронцов для защиты Тифлиса лес снес; оголилася местность на много эст; сползы чеченцев рискованней стали.

Тифлис под ногами опять вызвал мысли о «Демоне» Врубеля; демон :юда, глядя на вселенную, из черноты, тосковал; вспых зеленолиловых эниц — прямо в спину нам: хd̀-хо-хо-хd̀-хо-хо — тихо поохало.

Да, — несомненно: здесь что-то от Врубеля; что-то от занавеса, асовавшегося в Солодовниковском театре, расписанном Врубелем навес вместе с театром сгорел); мне ясна его связь с этим именно ме- ›м; был весь — ночи мрак: сплошнота черноты; лишь внизу, в уголке, ›же зрителей — поприседали изысканно девы — Тамары, Заруи, армя- грузинские; ясно: концепция занавеса зародилась — здесь именно.

Ух — как рвануло лиловозеленым; «р о - р d̀» хорохорился гром: экатили с Каджор грузы гирь.

И — последняя мысль: вся картина, которую видим у ног, — :лючительный акт эпопеи увиденной; первая часть: отраженная сталью ра; и под ней — Кура скачущая; часть вторая: Кура, запряженная в : распокатых, бетонных оглобли, что значит — обводный канал; третья ть: воды, сжатые в пасти трубы; часть четвертая, или — закон превра- ıья энергии: стержни стальные, вращенье; часть пятая: змеи, которых ıючее жало — ток: кабели, легшие с грозною ленью; шестая часть:) циферблатов и стрелок, совсем молодой человек (имя рек); наконец — ть седьмая: изверженный кабелем свет, раздробленный, растысяче- ıный.

И... и... — надо всем: те растысячеренные пальцы — над стадом коней Поссейдона, над кабелем, «З м е е м Г о р ы н ы ч е м», к цепи привязанные, над Мейерхольдом, сейчас диспутирующим, и над ванною комнаткой, где — моем руки, везде кончик пальца спокойного и аккуратнейшего гражданина с ущипанным усиком: то — инженер (имя рек), иль его заместитель, сидящий над столиком.

. . . .

Точно рвануло: лиловозеленой волной, сквозь которую красны начала выбиваться: «Б а м б а ц!» — приударило; знаю, когда приближается центр электричества в воздухе, синие молнии, или зеленые молнии, ржавясь, становятся — красною молньей.

Сильнее захлюпало; в хлюпе — присвистывает; это — ветер; пошли свистохлюпы.

Слетаем с Давида.

Военно-грузинская дорога [1]).

Так и не спал.

В шесть — вскочили; в семь — чай; в половине восьмого — простилися; сбор — Эриванская площадь; час — восемь часов.

Пунктуальны!

Экспедиционная база — пуста; хорошо еще — дождь прекратился; погода — двусмыслит: глаз левый — затучен; из правого — солнечный луч; потом — правый прикроется: левый — стреляет лучами: из облака в облако; в улицах — тень; на горах — копошня тучевая: там — облако с облачком водится; мы наблюдаем: поездки небесные из-за горы к удаленному Владикавказу; сам ветер — попутчик.

Ждем: площадь пуста; половина девятого.

Вот... появляется... Арсеношвили: лениво стоит в горизонте, вперяясь в пустую машину (в духане шофер); из семнадцати спутников — Арсеношвили да мы; но и он, постояв, удаляется, нас не увидев. Являются, медленны и благодушны: Яшвили, вцепив вцикский знак; и — поэт Леонидзе; и бродят по площади, но, не встречаясь друг с другом, расходятся медленно.

Мадам Табидзе!

Мы — к ней: возбужденно:

— Ну, что же?

— А, здравствуйте.

— Что же?

— А что?

— Опоздали!

— А, что вы! Побродим, — сойдемся: тогда и поедем.

---

[1]) Автор с товарищем присоединился к экскурсии, устроенной Союзом грузинских писателей, любезно предложившим разделить с ними путь; Табидзе, Яшвили, Арсеношвили, Леонидзе, Катарадзе и другие участники — писатели и поэты Грузии.

И, так объяснив, исчезает.

Пришел Ингароква, с супругою, милою, нервною дамой; я думаю: в неделях сойдемся: все вместе; уехать сегодня — немыслимо; благоıней — домой.

— Подождем — соберутся.

— А если погода испортится?

— Трудно сказать, — где какая погода; ведь путь — двести верст; ах — быстрые смены; где дождь, где погода — сказать невозможно ɩа.

Уже приходили Табидзе, Колау Надирадзе и Гафриндашвили; все — (не раз); и — становится весело; площадь — роится; одна за другою на слетает на Владикавказ.

Ура: все!

Две — машины: большая и маленькая; в нее сел Леонидзе; с ним два ıх деятеля (коммунисты); мы едем — в большой; Ингароква садится фером; он есть представитель президиума (от «Союза писателей»); ʼсадили вперед; рядом с нами — мадам Ингароква; другие — за .ми.

В ноги огромный букет положили.

Летим: и домами Тифлис застрелял; стоп: и — стали.

Выскакивает благодушно пред лавочкой кто-то.

Поехали: стоп!

Снова выскочил — кто-то за чем-то; я думаю — сели на мель; и нанное, к вечеру, — эдак часам к девяти, доберемся до... пригорода; - назад повернем: неудобно лететь в темноту.

Все же — выбрались: лавочки, рифы — осталися: скатертью стеся, мчится дорога под нами; обскакивает; за спиной — отлепетывает.

. . . .

Холмогоры, которые мы уже видели; сносится за спины вся перед:етская местность; дугу описав, старый Мцхет уступает дорогу не мцхетм местам; заворачиваемся на город, в веках погасающий: серый и стаı; и Мцыри — повесился: так же.

— Прости!

— Здесь я выросла, — да, — закивала мадам Ингароква на монарек, проветшалый, подсевший к соскалию.

— Как?

— Здесь училася: в школе.

Не верится.

Перекачнулась утесами рамка долин; мы, прижатые к скалам отвесı, завинчиваем фут за футом над уровнем моря; зеленая прелесть долин оградных направо упала и врезалась устьем под Мцхет, а истоком отула холмности, перепоясавшись зеркалом голубоватым Арагвы; обана сторожевая руина: остаток круглеющей башни, построенной, ɩется, римлянами; между башней и краем скалы пробежала машина, уг вынесшись в ширь упоительную, с переката горбатого вставшую.

Мцхетские местности срезаны.

Но забираем попрежнему — вверх; тут, как мопс тарахтя, нас обскакивает небольшая машина; и, с дикими гиками мимо несясь, повергает фуражку, сплошной руконог веселящихся спутников в нас, обскакавши, бензину наддавши в носы и исчезнув в смутненье серебряном — полудождей, полудымок; мой друг углубился в беседу с мадам Ингароквой; бросаюсь словечками с мужем ее, вздевшим шапку барашковую и от этого ставшим лезгином; кричу о красотах зеленых долин, а Яшвили со мной перекрикивается:

— Кто Грузию нашу сравнил со строкою поэта,— не может солгать, потому что такие сравненья...

Не слышу, но — верю: беру от него комплимент, как и старый, в оправе серебряной рог (из него испивают грузины); мне рог подарили Табидзе; в него затрублю.

На нас пачками выстрелил фронт перспектив; залетав по горам и имея направо зеленые склоны долины, дробимой подхолмьями в многодолинчатость.

— Место, где князь Чавчавадзе убит был!

И мне показали кустами от нас убегающий скат к Карталинской долине; то тот, то другой из поэтов, вскочивши на полном ходу у меня за спиною и бросивши руку вперед, давясь ветром, с плащом отлетающим, громко кричит, рот раздрав, свои строчки гортанные, режущие острием дактилических рифм, точно стрел наконечником, воздух; и слышатся в общем потоке кричания, только какие-то:

— Ххàлебэ... Дàлебэ... Мхə́кэпэ... Цхə́кэкэ...

Ясно, — в такой ситуации речь разговорная выглядит глупо; поревывать — можно; молчать — тоже можно.

Поревывал — тот; и помалкивал — этот, над густо косматой культурою лоз Карталинской долины; разрезав теченье реки Горшискури, пронесшись над нею (здесь — мост) и швырнув себе за спину, точно зеленую скатерть, долину, селенье Цилканы разрезали и затянулись горами, покрытыми лесом, как крепким корсетом, летя на хмуревшие выси; таился за синею тучей хребет; перевал Базалетский; и виды на гору Седло.

Подъезжали к Душету.

Я стал волноваться в обстаньи развернутых видов; отец возникал предо мной, как «маленький Коленька», — не как профессор Бугаев: ведь он — уроженец Душета; бывало, меня посадив на колени, поглаживая, с восхищением он развивал из арбатской квартиры — лет сорок назад:

— Что природа московская, Боренька: ты бы, дружочек Кавказ посмотрел: там не ствол, брат, — стволище, такой вот, — и руки раскидывал.

И предо мною Душет возникал: и в нем — дедушка, храбрый наездник, любимый солдатами, горцами, даже лезгином, с которым он дрался; он — доктор военный, лечивший десятками пленных, и с ним встречав-

ійся в дичах один на один: разряжали они пистолеты на воздух и, как наки, гарцовали над пропастью; припоминался мне князь Чавчавадзе, которому гащивать ездил «Василий Бугаев» и с ним распивать кахетин-)е; старые годы живели в рассказах отца, — скорей деда по возрасту 37-м он родился); он в сороковом году помнил уж эту долину; в то время л Лермонтов под Машуком; Лев Толстой еще не был здесь.

Да, — старина обвивала плющами.

Яшвили с Табидзе, которым сказал я, что Грузия родина мне, пока- на Душет, живописно открытый направо, у склона горы, предлагали:

— Заедемте?

Ехать? Зачем! Все равно же не знаю — ни улицы, ни места дома, в :тором родился отец; что-то грустное есть в слишком близко придвинутом)шлом; к тому ж — подзапаздываем; а хотелось до тьмы любоваться рьяльским ущельем.

— Не стоит.

Дорога, дугу описав, забиралась зигзагами кверху; в седле, меж 'х гор, — перегиб перевала Душетского (тысяча метров над уровнем .ря); и — вставшая даль с маршем синих гигантов на нас; пред собой ни взвесили синие хмури; во всех измененьях рельефа и действиях воз-уха сказывалось: наступление грозного фронта; валили распухшими :онусами и валящимися облаками; а мы — утеснялись ущельями.

Передавал Ингарокве рассказ, много слышанный; трехгодовалый тец ясно помнит: забухали выстрелы; бабушка — плачет, а дед — уте-ıает: она — неутешная; двадцатитысячной массой, свалившися с гор, репостцу обложили лезгины; отряд крепостной очень мал; вдруг, — как рохнет... Тут память отцу изменила; он помнит последствие: помощь ришла-таки; и, прокричавши, лезгины полезли на горы.

Я был поражен: этот тонкий историк окрестностей, кровный лезгин ıявил:

— Факт, рассказанный вами, действительно был в Анануре, который :ть крепость, Душет защищавшая; мы — подъезжаем к нему; коли вы ıхотите, сейчас попадете в те самые стены, где батюшка ваш пережил ападенье лезгин.

Так вот старый рассказ, возникавший туманно, как миф, и случайно рипомнившийся в этом месте, осел матерьяльно вот этою вздернутой естностью, очень дичавшей лесами и гребнями; может, через эти леса растрески крутизн подползали лезгины с сердитейшим дедушкою Ин-ıроквы, чтоб сделать «секим башка»: деду Бугаеву; внуки, воссевши удобной машине, летят над былым и беседуют об утонченных проблемах ультуры; сегодня ведь, выслушав из этих добрых, смеющихся уст фо-ıант комментариев, я поучался; в 20-м году Ингароква, попавши в Мо-кву, — мою лекцию слушал.

И вот — Ананур.

Поселение средь перетряса распуганных желтых земель, припустив-:ихся в бегство, сбежавшихся снова — усесться: попрежнему; но — не

усевшихся, а развалившихся, брошенным лагерем с рядом палаток, изорванных ветром, с упавшею пушкой, с телегой, зачем-то подъявшей оглоблю: под облако; горы — в лесах и в безлесиях, то волосатых, то желтых, плешивых; растерзанный вид неподвижно ленивого и синесерого неба, в повешенных облачных комьях серявых, с пролетом, лучащим столбы; небо вместе с горами — тревожилось; жар раскалялся — внизу под поселком пылило (под Мцхетом же лужи сребрели).

Селение серое, сонное; выше, над ним, — на склоненьи под холм — серобокая, неравнобокая крепость надсела лет двести стенами и башнями, сжав превосходной конструкции церковь; правители местности здесь проживали когда-то за серой стеной под набегом лезгин, упадающих с северных гор; крепость строена прочно: высокая, сторожевая, квадратная башня привстала над башенками; Эристава Бардзима зарезали; после же дед Ингароквы хотел резать: деда Бугаева (это — фантазия).

Странное место: в нем сон воплотился; события сороковых годов, дедом испытанные, пережил я; и, встав из машины, — над сонным селением шел по холму желтоватому, или по линии времени — вспять; уже стены — замкнулись; в четырехугольнике — сороковой год столетия прошлого, трехгодовалый отец; за стеною — лезгины; уж громкий военный сигнал раздается: атака!

Фантазия это; сигнал пробудил: нас скликает, наверное, автомобиль; разбрелись, — а пора: солнце жарит, душнеет; и так запоздали; повертываюсь; мой дорожный товарищ, мадам Ингароква, Колау Надирадзе — зовут к старой церкви: ее отворили; но как-то рассеянно тычусь в сырых, темноватых стенах; церковь лучше — снаружи: прекрасная лепка орнамента: витиеватость сплетения, столь характерная здесь для культуры строительной; вновь отделившися, выглянул из-за бойниц на окрестный раздерг котловин и отвесов, покрытых лесами; и — сызнова прошлое: сорок ведь лет пораздумывал об этой крепости, сказочно вставшей из припоминаний отца и подставленной ярко действительным фактом: мне сорокалетие переменило рельеф.

— Очень странно!

Спускаемся: автомобиль — призывает настойчиво; от стороны перевальной, с гигантов хмуреющих, — пучится громкокипящее море; оно захлестнет нас; и если желаем увидеть хоть что-нибудь у перевала, то — в путь; таких мыслей — шофер; таких мыслей и я; но — машина пуста: разбрелись, — без надежды собраться когда-нибудь; Арсеношвили и I. Катарадзе, спокойнейше здесь просидевшие, под верещанье гудка, призывавшего в путь, вдруг проснулися: неторопливо пошли прогуляться; мы — ждем; мы — волнуемся; мы уже в сборе; их — нет; побежали тащить их; и — канули; я — заявляю, что следует нас обвязать бечевою — стадом бродить; наши дамы глядят на меня с удивлением:

Вот, — наконец: с гор бегут, размахавшись:

— Нашлись!

— Где ж?

Фигурки, бегущие сверху, показывают: еще выше.

— Там!

Ждем... Наконец, появляются, медленно и величаво, восстав над уте-
ı: Арсеношвили и П. Катарадзе; вперившися в нас, нам помахивают; и
кественно, не торопясь — опускаются.

Сели: поехали — к Пассанауру (верст 20 пути).

Местность эта запомнилась менее; я не скажу, чтоб она не красива:
:ива; наверное, местности — квалифицированы: облагать полагается
ıревысоким тарифом похвал, как в Боржоме; а стало быть, — как в
озерных швейцарских горах, многократно увиденных и многократно
ıзанных глазом туриста, с веранды отелей, поганящих местности; не
инспектор я; и — утверждаю: «туристичий» глаз — глазит местность;
, не защелкнутый в рой кодаков, совершенно иной, чем защелкну-
; этот последний — как будто облизан; ландшафт, пред которым тара-
ись «янки», становится мерзко подмасленным камушком (для — вящ-
глянцев); иные любители камушков пляжа, их маслят; иные ж сове-
г их растирать — на носах; после масляных дел... проститутками вы-
;ят камушки; кто растирает у носа морские дары, представляется мне
ıчему-то при галстухе, но... без штанов.

И промасленный вид получает ландшафт, умножаемый щелканьем
ıериканских «кодачников»; пахнет... сигарой и виски.

Неслися в обстанье зеленых покрытых лесами горин, исщерб-
ııных рядами слетающих с них перегорбий: все-то еще — «reizend», не —
ocl»».

Но под Пассанауром полезли под небо высоты; и стало выглядывать
ɔ-то — между; что? Вершины: но — странные, сложенные точно — не-
м; заглянет; и — нет; глянет — там; глянет — здесь; и от этого «ока»
е, — будто возвысится.

Странно!

Все время казалось, что катимся вниз; то — иллюзия: мы — подни-
лися; но вырастание гор шло стремительнее вырастанья дороги; она—
ıднималась медлительно; горы же в небо неслись — курц-галопами;
ждая к нам приступившая с севера круча сперва привставала над той,
ı которой неслись (под лесной), — привставала кустарником, строго
зглядывала, кто такие; и после уже, убедясь, — появлялась при нас:
ıвоировать боком крутевшим; и тотчас над нею, привстав мелкой трав-
ю, конус вышинный, осолнечный, бритым лицом занесясь, из раздымок
эспрашивал, — кто мы такие.

И — нехотя брался: сопутствовать, став еще выше.

Гранение почв, осажденных из воздуха розово-желтою массою
ше лежавшего мира, державшего в темени синь, потрясало; пока-
зали круто вверх занесенной рукой, — под углом уже в семьдеся
ıдусов:

— Вы посмотрите-ка!

— Видите?

И — удивлялись, смирнея, вбирая крепчайшее, как алкоголь, дуновение в грудь; стало четко пощелкивать где-то под ухом (знакомые звуки высот); пульс же — рвался.

Слияние Черной и Белой Арагв, или — струй разделенность.

Под Пассанауром, за нами, — задорный рожок; повернулися; точка из пыли; несется вдогонку, — как черная мушка, как черный жучек, как собачка, как... как...: нарастает; машина квадратная воздухи рвет.

— Это — наши!

Подъехали.

Как из-под Мцхета рванулись, — так сгинули; а оказались — за нами; из автомобиля выскакивает Леонидзе с запиской:

— Душет — вас приветствует.

Милая, добрая, очень игривая, — шутка-приветствие; наши друзья, обогнав нас, слетали в Душет, и, набравши там подписи от настоящих душетцев, узнавших про «Белого», — «Белому»; я же серьозно растроган; ведь этой запиской Душет, моя родина (т. е. отца), отзывается прошлым; не даром же я волновался, не даром стоял Ананур воплощенною явью; записочка эта — улыбка Душета и память отца, память деда.

— Спасибо!

— Из Владикавказа черкните душетцам ответ... — улыбается мне Леонидзе. — Сумею в Душет переслать: там мой брат.

. . . .

Появляются домики Пассанаура, — из зелени, жмущейся тесно к подножью перпендикуляров, уткнувшихся в очень высокую синьку; Тифлис лишь на метров четыреста поднят над уровнем моря, а Пассанаур — выше тысячи; на самое себя севшую гору Давида рисует наглядно подъем наш с Тифлиса; а Пассанаур затоптали гиганты, взлетевшие к двум с половиною тысячам метров; задравши носы, удивляемся им: вышина от подножий к вершинам равна приблизительно полудесятку «Давидов», воссевших на плечи друг к другу; подъем же — крутенек; какие-то «выспри»: там — «выспрь»; и тут — «выспрь».

Прекрасная дачная местность: тифлисцы съезжаются летом сюда; веселейший зелененький, горнолесной уголок; у духанов — живейшие кучки; снует возбужденный ездою далекою люд: комсомольцы, оркестрик, туристы; сроение черных и серых машин от огромных до... маленьких; перед гостиницей есть ресторан; в этом пункте встречаются владикавказские автомобили с тифлисскими.

Пассанаур — половина пути.

— Вот куда бы на дачу?..

— Совсем не Боржом: Разборжом!

Пролетаем чрез эти прекрасные местности; надо сюда прибегать: с побережий, с Тифлиса и с Севера.

Выскочили, потерялись среди кучек; Яшвили — уже повстречался: знакомые — из Кисловодска, в машине; заказывать стали обеды; боюсь, что — засядем: не встанем.

А странно, что Пассанаур мог легко оказаться могилой моей; Анаже — могилой отца, деда, бабушки; им угрожали — лезгины; со мною илось по слову писателя: «Он ахнуть не успел, как на него едь насел».

Милый мишка!

Их — два было: раскосолапые, раздобродушные; и — небольшие, лезных ошейниках; без загородки метались они у столбов; преестено думать: ручные, почти что — «мишата» (кавказский медведь ше нашего); переносить уморительное копошенье «мишат», не затеяв , — невозможно; и я подбежал к одному: потрепать по коричневому боку; не мог я заранее знать, что он — злой, нелюдимый дикарь, он без ограды метается: вкруг него бегали дети; и я — потрепал по ренной морде; тут злые, свиные глазенки уткнулись в меня; обнался клык — очень желтый и очень большой; не поверил враждебному ; еще сделав шаг, наклонился всем корпусом к тупо опешенной морде; вдруг: оказалась нога моя, выше колена обцапкана очень мохнатыми ии, с силою рвущими прямо к себе; пришла очередь мне быть «опенным»: «пешка ничтожная», — так метнулось в сознанье, не верящем, то — всерьез; но когда морда, скалясь, приткнула к ноге моей клык его ощутил сквозь одежду), чтоб хрустнуть ногою моею, поняв, что тавозникло, — быстрейше рванулся назад; этот «рыв» на мгновение спас, ому что ошейник давнул по звериному горлу; дикарь, поперхнувшися, прокусил мне ноги, но рванулся за мной, натянув свою цепь; стал вне ры его; но нога, еще крепче зажатая в страшных когтях, испытала ьнейшие рывы; зверь явно подтаскивал ногу, стараясь втянуть в сферу ря другого, такого же «мишки», чтоб вместе со мною покончить:

— Сериозно; борьба не на жизнь, а на смерть.

Из последних силенок рвал ногу, но силы скудели в могучих клещах; - мелькнули окрестности великолепные, солнечные; была жалость, я не увижу Казбека (а вовсе не страх); в этот миг я увидел, что кто-то, ясь над медведем, бьет палкой (не действует); бросил тогда:

— Дайте палку.

И — выметнулось:

— Что есть мочи: по носу!

Потом вспоминал я, что действовал с трезвым расчетом; кабы размахся, размах дал бы время рвануть (тут — «капут»); без размаху я — тнул: по носу; и я удивился (потом), с какой силою; я и не знал этой ы в себе; я — попал в уязвимую точку (медвежий нос, — очень чувителен); бухни по черепу — нуль; точно опытнейший зверобой посту- (это все мне потом стало ясно); эффект — удивительный: зверь, зауув свою морду и лапами пнув, отвалился, а я — покатился обратно: спину, увидев, что друг побледневший стоит с растаращенными от уга глазами (он в это мгновение — сцену увидел).

Вскочил, оправляясь; тогда подбежал ко мне плотный и мне незнаый брюнет:

— Вы счастливо отделались.

Не по себе: растерялся.

— Подите, оправьтесь.

Пошел; и оправился я — не от страха: от оторопи (физиология действовала: сердце — прыгало); но растеряйся в борьбе — мне не вырваться бы.

Через миг инцидент с неподатливым «мишкой» казался сменным и далеким; и я не сумел его выяснить толком, не веря «опасности»; да и друзьям было трудно поверить; поверили: мадам Табидзе, мой друг, неизвестный брюнет, да возившийся с палкою кто-то, кому приносил благодарность: за палку.

Казалося: эта борьба моя с «мишкой»— черта; до нее — восприятья одни; и за ней — все другое: «такое», что нет сил сказаться; ходил с растаращенным взором, немой и застывший во всех проявлениях, чувствуя странную, невыразимую силу динамики в пульсах своих (вместо тела); сидел и ходил, как без тел; то — не «мишка», а — горы.

Как будто впервые я их увидал.

Подходя к перепуганным мишкам, коричневобоким, взволнованным «нашим скандалом» (они суетливо метались, шарахаясь от комсомольцев, прошедших с оркестриком с песней и с лозунгом, вздернутым красным полотнищем в синие выси), — хотелось смеяться нелепости этого случая (точно случился он где-то в далекой, чужой, независимой жизни).

Сидели за столиком: речи прощальные — как корабли дальних плаваний; я — говорил; ну и — мне говорили; шофер присылал поторапливать:

— У перевала сроилися тучи!

Я стал агитировать за ликвидацию пассанаурских банкетов, стакнувшись с Яшвили, который, вперяясь в часы, свои реплики вкрапливал в тосты:

— Через две с половиной минуты...

— Осталась — минута.

— Идем!

И — пошли: мимо «мишек», — к машине.

. . . .

Тут я — обалдел; как-то сжавшись, ревел про себя от восторга; взглянувши на друга, увидел блаженнейшее выражение глаз, не глядящих почти, до краев переполненных; верно, глаза мои лезли и вклеились в мощи утесов, которых как... не было: все стало легким, сквозным, непомерно протянутым.

— Вы — оглянитесь.

— Оставьте же: я — не могу.

— Это...

Даже смеялись мне в спину, но я — не стыжусь; не увидеть же — проще чем видеть; и про дорогое лицо можно выразиться: «Вот — кожа»; и — правильно: кожа; про эти ландшафты не стоит труда отбабацать:

ки. Про ледник Девдорахский прокрякает кто-нибудь: «Что же, к грязноватый, в котором не прочь заморозить шампанское». Все – истинно; лучше подобные истины прятать; свидетельствуют они ко о трупности всех восприятий; то — истины «слепнущих»; слеп- — не есть реализм; реализм — это видеть (чем больше, тем лучше); ить динамизм восприятий; фантазию нужно иметь, чтобы видеть; и , и художник стоят пред полотнами; видят же — разное; «пес» — пятные примази, годные, чтобы над ними поднять песью ногу; худож- видит здесь кисть Рафаэля; простите меня, кто в невесте отметит лишь потеющую, а в Казбеке — сплошной «погребок», для меня уподо- і в силе своих восприятий лишь псу.

Если был переполнен «чрезмерно» — то значит; «чрезмерное» — моих восприятий действительности; а не фикций; не фикция — цель эля: картину явить; и фиктивность: увидеть — квадрат, приготовлен- для орошения песьего.

. . . .

Когда мы тронулись в путь, Катарадзе сказал:

— Тут — начнется.

И — вот: началось.

Что? Но — как мне сказать: ничего; победнела, пожалуй, окрест- ть: леса уползли; даже кустики сбрились; но катастрофичности срывов, пин — я не видел; и все же: подобного в Альпах, в Норвегии (где и нины и прочие «ужасы») — тоже не видел; вся ширь изошла очерта- ями ненормально протянутых линий и складок, воздушно намеченных; крепкотелые земли? Все: проницаемо, вольно; обычные ощупи скажут:

— Ну — горы: как горы!

А их выражение?

Переменилось оно: остраннилось; из тысячитонн пережженого угля исталлится в блеск: бриллиант; из горы рудяной — граммик радия; ландшафтов, увиденных нами, — эссенция тонкая, неуловимая, выжа- ь, дав выражение этим погибельным высям; умеренность их очерта- і — линейный раккурс Хокусая, итог зарисовок всей жизни, являю- й Фудзи.

Так только могу я подать негатив впечатлений, сковав выражения в мулу; образ — не действует; воображение — меркнет; ландшафт г — формула: мысль; она действует жестом, — не живописью.

Все отдельные горы, которые к Пассанауру росли до предельных шин, уростая до неба, за Пассанауром — снижались: не ростом (пре- ившим прежние росты), — а явным сползанием с неба; их — жест: эху — вниз; жест вершин, до сих пор попадавшихся, — вытянутость: зу вверх; так бы выразил перемещенье рельефов.

Обстало, стояло ужасно: перпендикулярами, не обнимаемыми до хов; и — казалось: они коренятся в пространствах заоблачных; в Пас- ауре — подобия Атласов; Атласы вдруг обезглавились; главы и плечи нули в лазури; лазури, врезаясь меж розово-серых и серо-зеленых

неясностей, образовали громаду, стоящую вниз головой — из небес; и поддерживали эту местность, дорогу, нас ехавших в перепрокинутом виде над небом (не — «под»): растворенными, голубоватыми главами.

Здесь отпихнулись лесные горбы, великанами выше стоящими, — спрятанными еще в Пассанауре; толпа над лесными вершинами, ставши по грудь, — опрокинула их, ставши подле; но: ставши, громады сквозили; и палец, казалось, их мог бы проткнуть; гладкоголые здесь начинались зигзаги — в просветах, как схемы намеков; отбросился натурализм реализма; все стало — лишь символом, умопостижным и полупостижным; глаз, ставши понятием, силлогизировал местности; в фокусе самосознания переместился доклад пяти чувств, сложась в орган, явившийся для равновесия чувства высот (в ухе щелкало); воспринималось летение наше в долине, как бы в опрокинутом виде; стоявшее воспринималось: стоящим на небе; вполне можно было б не видеть сквозящих гигантов, оставшись при чувстве высот, потому что рассказывал — пульс; и — раскрашивало окисление крови озонами; быстрь вертокругов! Табидзе мадам замигренила; каждый смигренить бы мог.

Кроме того, оставался для глаза разгляд: освещение; каждый предмет выявлялся иначе; зазыбилася странно неверная светлая дымка (она придавала прозрачность всему); облака стали миром кисей, из которых просунулись пятнами розово-серые массы, свисавшие с неба: массивы вполне без подножий; в подножиях — голубоватые воздухи и сизо-синие мути вечерние; а между тем — стоял день еще; солнцем желтимые зелени лбин, подаваемых в свете, изрезались черною, четкою тенью; теснясь в разрежениях, перемещениях неба, черневшего сквозь синеву; бездна мира склонилася ниже, чем следует, подухватясь за десятки гигантов руками: над нами почти; к горизонту цвет неба жиднел в фосфорических ясностях; в ясностях, наискось выступила бело-серая лбина раздавом всего, что ни есть; ее бледная мощь потрясала; надвесясь, она отступила; и стала — ничем.

Запахнул ее воздух.

Все перемешалось тишайше; и мы утопали в себе; или лучше сказать — из себя; может быть, — и кричали (не слышал); полуослепленный, летя средь пространства шестого, вышинного чувства: и вне, и внутри — не имело значения.

Так уносились мы верст восемнадцать вдоль правого берега Белой Арагвы, взлетая к полуторе тысячи метров; про эти страннейшие местности в путеводителе сказано, что пейзаж их «живой, привлекательный»; местность у Млет «удивительно радостна».

Все?

Хорошо еще — «радостно»; в укорочении чувств сказать можно, что «местность, как местность». То скажет пигмей восприятий: отколет кусочек породы, пронюхает, произнесет: «Отложения нижней Юры».

Это — правильно; ясно и просто: «Юра, живописно...».

А я-то? Спец слов, а — потею, нища выражений: обламываю лексиконы газетного слова, вздыхаю о Дале, что нет под рукою его; и потом

лечиваю перечерками фразу; тут нужны слова, о которых кричит ковский:

Начнешь это
слово
в строчку всовывать,
а оно не лезет —
нажал и сломал.

. . . .

Млеты скучились тесно у склона горы; они будто сбежались, как стааранов, испуганных грозным вставаньем гигантов над ними: и домики ые, и — церковушка; безумно красивое место; но жить не хотел бы есь; перед Млетами — струи Арагвы; за Млетами — мост; дальше путь оборван: отвес голокаменный: а под ногами — кипение пенное; мост бежал к каменистому миру, отрезавшему половину небесного купола; наверху — невозможно предвидеть; нам, вышедшим, чтобы размяться, зывали вертикалями рук, образующими прямой угол с висящею пенной бездною горизонталью дороги:

— Теперь, мы — туда!

— Нет?

— Куда же еще?

— Таки — в небо?

— Да, — если хотите.

И — стало задумчиво: с этого пункта — взлетанье в район облав и в заоблачный мир; оголтелый гигант, приодевшийся в зыбь освещей, которому я удивился до тайного вскрика души, должен был приподть, точно черную муху, машину с шофером, с семнадцатичленным сраньем людских организмов, чтоб, перенеся через тучи, поставить на ня себе; и потом мы покатимся — по теменям того мира, который, коли отреть снизу, отрезан по грудь: неизвестностью; тоже — хорошенький з, приблизительно равный огромнейшему пятигорию, равный, — ну да: иблизительно пяти «Давидам», коли смотреть у поднятия фюникулера флисского вверх; этот низ препочтеннейше выглядит; тут — пять «Дави»: подножие наше; а верх — убегал; к всем чертям! Путь вклинялся в антское тело. Налево же встало такое чудовище, что становилося не по е: были видны ножищи; а там — приблизительно, где у нас пуп, — иналось роение, напоминающее — не туман или тучки, а — хаос нот первозданных, таящий сюрпризы: оо-ооо!

Огласить этот рост человечьим ревеньем нельзя: много сот киловатт, ногорлый громкоговоритель с отверстьем трубищи в домищу, пожалуй, рет этим ростом.

Являлся на будущем уровне нашей дороги «хавос» мировой, напаощий громом, чтоб, перепрокинув, низринуть обратно: на Млеты; от го места угрюмые тени упали на мост, на Арагву, на нас, занимающихся такой космогонией и перед эдаким вверх улетаньем, — папиросокуием; странная вещь человек; все стояли взволнованные ожидающим; али ж вид, что — пустяк; и отряхивали папиросы в клохтанье Арагвы.

— Что ж это? — указывал я на косматое чудище, видное только до пупа.

— Там — Гуд-гора.

— А как курится!

— Сегодня свиреп Перевал.

— Ничего не увидим.

Так вот Гуд-гора. И припомнился Лермонтов, Максим Максимович, буйволы, одолевавшие кручу — вот эту; и — Гуд; и т о г д а он курился.

— Пять раз я там ехал, — плечами пожал Катарадзе, — последний же раз — две недели назад; и всегда — то же самое: горы — запахнуты; вот — полюбуйтеся!

Поздняя вписка: мы дня через три все глядели сюда, в это место; и видели — то же: оно повторяло себя ежедневно, охлестывая дождепадом и ветром; всклокочатся в ужасе волосы гор, закосматит старик Перевал; и в долину Казбека угрянет: кулак постучит по затылкам; мигнет огненосно; взревет, слезы выплачет; только под утро — притихнет: до полдня; смеялись, глядя в перевальную сторону.

— Приготовляет обед Перевал!

Он готовил и ужин; часам к четырем иль к семи, пригонялось дождливое блюдо: к Казбеку; и градами с молньей закусывал старец.

— Не видывал вовсе хваленой картины хребта, — продолжал Катарадзе, — увидеть оттуда все то, что таят перспективы, — такая же редкость, как выиграть на лотерейном билете.

— Какая погода была две недели назад?

— Две недели назад — лежал снег: замерзали и кутались.

Выкурены папиросы; прощаемся мы с коммунистами, сопровождавшими нас, взяв в машину к себе Леонидзе; они, прокатив, приблизительно сто двадцать верст вместе с нами, — помчатся обратно:

— Счастливо вернуться!

— Путь добрый: грозы избежать вам!

Прощаемся, машем руками, бросаем окурки, садимся: и — трогаемся — туда! в эти хмури; в равнинах теперь белый день и сияние солнца; до вечера — долго; а мы уже — в сумерках; вечер под Млетами; над Пассанауром на дальних гигантах свершаются метаморфозы из солнечнотравных и солнечнокаменных пятен, стоящих под небом; те — зеленожелтые; розовые, белобрысые, бледнолиловые — эти.

— Ну — едем.

И — едем!

Нет, тащимся еле по великолепному взлету над каменным срывом; отвес — не отвес: ряд торжеств мясокрасных уступов, сходящих друг к другу с достойным триумфом; здесь взорвана розовотемная глыбина; там же — продолблена красная грудь занесенной скалы; ряд зигзагов слагается в ломаный путь к Гудауру; четырнадцать верст поднимаемся над тем же пунктом; четырнадцать верст опускается он; и машина ползет с озадаченным фырком; и Млеты — уходят: не мы колесим, а туда и сюда

ходные Млеты сжимают себя в преисподнюю, с пенной Арагвою, с анаурской дорогою; ни вертипижин, ни срывчика! Не от чего голове ужиться: воздушно торжественный пир; то гигант, поднимающий — до колен, до бедра, до подгрудия — нас охраняет от кризисов вида, вя к высокому; чувствуем, как уплывает, что жило до Млет: или — санаур, Мцхет, Тифлис, Цихис-Дзири, Москва, сама жизнь: опусти- события жизни отсюда под воздухом: мушкина жизнь моя; я — шкин сын»; нет, бывалое, — было ли? будущее не свершится, пока... опустимся; в Пассанауре медведь-таки драл меня; мне в содроганье смертном увиделись тихие вещи, которых коснуться... намеком... зя, потому что намеки растаяли, как передмлетские вещи...

Сначала все вскакивали:

— А где Млеты?

— Под ноги ушли.

Новый — вскок:

— Посмотрите: Арагва-то!

Видели, вставши, — из низа Арагву (верст — за пять) — полосочю: показали едва бирюзовые мути из воздуха, скрывшие дали низов...: жет быть, до Тифлиса; а ближе лежащее, чтобы мы вынесли высь, отдали уступы, которые одолевали мы и, наконец, одолели — почти; тригыре зигзага, и мы, черной мошкою переползая по взлобью, — вполи к горным лысинам, врежемся в темени Гуда, расширенные надо всем: иенистая дымка, в которой погибло под ноги недавнее все — тени Гуда, торые столпотворением тучищ глядели с отвесов над Млетами: уж — ватили; все — сгасло.

То кралось — и вкрадчиво, и незаметно похитивши душу, как веколепная смерть в тучевых небесах; вот еще — наблюдаю воздушное еро в голубоватом расшире с под ним еле видной Арагвою, — но... как вижу (не надо: что вид?); вот еще... измеряю отвес мясокрасный: а он — едпоследний; с последнего слезет машина — навстречу нам; вижу, как скочил к нам из нее контролер: проверять документы; увидев значек Яшвили, — рукой умеряет:

— Писатели?

— От профсоюза машина.

— Не надо, товарищ: спешите скорее вы: на Перевале— сгущается; мочит.

— Ну?

— Добрый путь.

Как смутнейшие воспоминания, лишь в подсознаньи живущие,— обрывки всплывают как бы перед ухом: не в ухе; то было... до мига, да мы, докуривая папироски на млетском мосту, удивлялись, куда взлетим: того не было — выше; то ассоциация мусора воспоминаний.

Взлетели.

Куда же?

В — ничто

Нет — ни скал, ни — подъемов, ни — скатов, ни — ширей, протянутых под земо-млетскими спусками, ни — Кайшаурской долины; серейшая дымь, из которой убого торчащий огрызок травы, сыри, грязи, пронзительный крик из-за камня танцующих с визгом, бросающих цветиком в нас осетинских ребят, из ничто возникающих, чтобы в ничто обернуться.

И — все?

Все!

— Как скучно!..

— Убого...

— Завешено.

— К тучам приехали.

— Горы сбежали.

Вопим негодующе.

В этом «ничто» — дано «все».

— Ах, оставьте: из «Фауста», — слышу читателя; но возразить не могу, потому что описывать нечего; кладу заплату цитат на места с Гудаура до Коби.

— Как нечего, — спорит читатель мой, — в путеводителе сказано: тут и описывать.

. . . .

Все, что являлось, являлось у носа: пройтись, чтобы сгаснуть; в пятидесяти саженях расстояние было еще; а затем — впереди, позади, по бокам — его не было вовсе; и были: хилевшие травки да лужи вчера здесь лежавшего снега; серевшие снежные пятна являлись по близости; все продолженье; конец и начало — ничто, куда всходы манили; и сходы откуда-то — скидывали; на пятне зеленевшем коротенького кругозора, диаметром в сто саженей, из-за мглы серогрифельной пусто бежала бессвязица; в центре пятна тарахтела машина бездвижная вместе с пятном; в ней сидели бессмысленно — мы, наши дамы (с мигренями) прямо на лысине нас уволокшего в небо гиганта: плакат с перетертыми знаками горного лозунга нам развернулся вселенной пустейшею: серью, недвижно стоящей, прелегкой и очень сухою на вкус; и на ней, как на фильме, придрогом кривилися контуры диких исчадий тумана, подъемлющих писк; трах — подвыскочил осетиненок; трах: нет его; быстрый намек высоты, здесь укрытой, появится из разряжений; стяжения сизые, виснущие перед скатом, поднимутся; и — неотчетливо.

Все темена Голиафов, катившие нашу машинку над главным хребтом (здесь — «Кавказ подо мною»...), твердились компактною массой дороги, в которую Гуд сверг свой ужас.

— В шестой раз я еду,—в сердцах говорил Катарадзе,—не видя хребта.

Я бы мог отвечать сумасшедшею репликой:

— Вижу очами ушей, иль — шестым своим чувством, заложенным под лабиринтом дугой полукружных каналов [1]).

---

[1]) Остеологические термины.

Переживания стали в душе перспективою скрытых высот, по которым иночка переползала к тычку Перевала Крестового, равного восьми иисским «Давидам», стоящим подножиями друг у друга на темени.

Надо, где нужно, увидеть; и надо, где нужно, не видеть; врастание : с половиною тысячи метров ломает весьма, извлекая неслышные звуки да, где им не положено быть; очень глупо Бетховена перелагать в яные узоры; глупее его — комментировать; так вот со мною: не видя ин, утешаю себя, что картины плакатами были бы, перевлекающими щей (полукружных каналов) к глазам; а глаза не нужны: я их скинул; — как очки.

Там — градации снежных цепей: просребрел мимолетно кусочек эвища, — просто не знаю откуда.

— Семь братьев!

— Гора?

— Группа гор.

Из семи этих братьев — полбрата стояло: неясно; ушло, — потому 'ласили над этим путем агитаторы местности, — партия старого Гуда:

— Увидеть глазами невидимо вас посетившее чувство высот — зозможно никак.

Гудаур!

. . . .

Кучка домиков жалась на всход — малотравный, бестравный, кищий в бледнь разряженья тумана висящего, где прорезались едва голоіхие гребни небесных пород: удивительным очерком.

«Палеозойские сланцы», — бессмысленно вспомнилось.

Вспомнилось, что этот скат обрывается в пропасть; шестьсот сорок 'ров ее глубина (два «Давида»); за нею — подножие оледенений — в ыре уж тысячи метров почти: Хоризав, Есикòм; и — другие вершины видимые); вместо них — что-то странно висящее в воздухе, явно безıвое, главу укрывшее в мутень, — без ног, темновесно раздряпанных: мýтени!

Слева — начало облома всего, что ни есть; тут пути, нас носившие и ›енесшие, вдруг обломились; тот слом, говорят, — проясняем (не верю): ıсой Койшаурской долины, которой мне — нет; даже слома — нет; ıько начало его; продолженье — вообраменье; бинокль — полукружй канал.

В ухе — щелкает громко.

— Баран!

— Посмотрите!

— Куда залезает?

Баран,— залезающий зà-небо (небом зовем мы вуальку, скрывающую иинтерн Мировой), к здесь бормочущей интерпланетной турбине, щающей оси планеты, — дурак; забираться — опасно: стоят сторожа; : в небо пускают барана; а зà-небо — нет (в полосе разряжения ба» повисли); барану опасно: лавины грохочут по этим местам.

Подобравшись, осиливаем перевальный участок.

Завалы и справа, и слева бьют путь; вот — упад, перетянутый дымкою, малопонятные контуры стражей с дарами... лавин: на невидных главах; не слетит ли из серости белоголовый гигант: изничтожить всю местность? Кругом сумасшедший пролет упадавших камней, задержавшись на скате, повис: знак немой катастрофы, тут бывшей; и — горное пастбище, или «чòртова» долина; но «чорта» — не видели, а чертенята, бесившиеся из тумана, — исчезли.

Безлюдие, необитаемость, жуть.

Кто-то, беленький, встал в стороне, точно странник, сошедший с пути; посидеть под лавиною; нет, это — житель, встречающий путников.

— Что?

— Где!

— Там.

— Крест.

— Перевала?

— Вот именно.

Мы — в Перевале!

Крест ставлен Давидом, грузинским царем, — заявляет легенда; Ермолов его подновил; почему-то припомнилась надпись над Чортовым мостом в Швейцарии (у Гешенена); но — разница; гордость гранитов, и — тихость, разверт перспектив, из которых хребет возникает.

Там — муть серогрифельная.

. . . .

Перед Коби дорога спускается, пересекая завальную местность; лишь крути, — с которых бьет белый, рокочущий ком; бьет и справа, и слева: в иных перешейках пути; и — построены: тут — перекат защищающий; там — продолбление в скалах; дорога, испуганная, занервнела зигзагом, как змейка под палкой, в тумане висящей; все это мельтешит в глазах и пугающим, и восхищающим очерком; но — ни на что не похожим; порядок в сознанье растрясся: что раньше, что позже?

Я вынужден смазать...

Путь мне проясняем у Гоби: в сквозном обнаженье всего; вероятно, нельзя видеть выше положенной зоны; у нас — завязались глаза; был я вынужден слушать рассказы о том, чего нет; пальцы тыкались в муть: то да се!

А когда опустились под ноги себе, увидали какие-то части, не видные сверху; поехали — в ночь; не доехав, увидели утро: раздымки серебряные, а — не серь; в просквозившем сиял бледный очерк масс розовых, нежно белеющих дымью; земля, вставши в небо, в серебряном воздухе зыбилась, не прикасаясь к земле. Из груди, точно штопором, вырвалось:

— Да посмотрите же!

Нет — ничего.

Серебреет, и светится; и обнажается в нас упадающий и нежнорозовый, перетрясенный всем воздухом, сдерг и разлет устремившихся глыб;

зрежениях — голубизна, к нам летящая; и — без единого облачка; ва и слева, ее обрамляя, уставились мощные массы, слагая проход.

И — мелькнуло:

— Конечно: к скале приковали они Прометея.

Он прыгал из неба на ком нежнорозовый; прыгал из неба за ним обвшийся Зевс, угрожая трезубцем, — на ком нежнорозовый; и — Прося схватили: в прощеле двух скал; потащили приковывать.

Мы под отвесами розовых скал обернулись, задрали носы: любося, как солнцем охваченные изливались градацией пурпурных и пертровых блесков — две массы; меж ними, в оставленном мареве — все рнело:

— Ну — вот.

— Выезжаем из тучи.

— Смотрите!

— Светлеет!

И — вылетели на ландшафты: блистание золотом всех перетрясов поворотов; вид местности — пляска гигантов, в парчи облеченных; ..флиса до этого места — нет встряса; есть медленное вылезание: из-за сокого — высшего; ряд репетиций подъемных: подъем, подбираясь юдъему, — подъемищем стал незаметно; и только за Млетами — круть; и здесь — нет подскока.

А за Перевалом — обрыв; впечатление — спрыга внезапного; переянье одежды: походной — в парадную; те, кто стояли в зеленых и озеленых хитонах, развеянных мягкими складками, сбросив хитоны, ят голотелые, красные мускулы пружа; сюда Прометей перекинуть iел унесенный огонь; огонь — вспыхнул, разнесся: пожарилась местть.

Отбросились палеозойские сланцы, чтоб лавой Казбека пылать, а агва осталась — за спинами; области Терека вскрылись; увидим его, водою пилящею, точно скрежещущим ножиком, режет он почвы.

Уж Коби наехало ярким подножьем порфировых скал; и ущелье шалзывало; из него осетин начинает выглядывать дерзко, тесня отступающую, защищающую свои местности Грузию; Грузия тихо скорбит за чами, уткнувши лицо в плащ туманов; а солнце от запада — бьет; и лают порфиры.

Тут — встрясы народностей, почвы, пород первородных, вод, климов, бытов.

Из необитаемых высей слетаем в обитель людей, но — иных.

Горы точно шатаются: красные, пестрые, бронзовые, рассыпаясь олками черно-златистых пирритов; песчаники, лессы — исчезли; вы- ы — кривые: соборы, драконы и башни, охватывая, начинают кричать гим матом; стенения — красны и розовы; в далях ущелий, не горы, Iери какие-то; классика линий, которою мы чаровались у Мцхета, — езла бесследно; не Пушкин в природе; господствует Лермонтов, Вруь; отсюда до самого Владикавказа пошел стиль готический; легкий

зигзаг, стилизованный, переменился на кривозубчатую линию с нагроможденьем фигур, барельефов резьбы, мозаических ликов, цветных инкрустаций в перпендикулярах стены.

Где резец? Колориты; все краскопись: в светописях атмосферы; нет описи, контурировки: раствор колоритов пород в колоритах небесности; монофонический голос, пропевший холмами, — иссяк; все наполнилось полифоническим гулом: хребты, как десятки органов, звучат удивительно: пересечением Баха и Скрябина; светлая зыбка, которая с Пассанаура прошла солнстечно по высям, проелась в материю почв, распадаясь на палитру красок: от красного до фиолетового; что светило культурой небесных оттенков, то стало культурой тяжелых пород; точно свет, воплотясь, ствердился — в виссоны, брони, барельефы, в тяжелые иконостасы каких-то старинных соборов, создавших безумные культы.

От Коби к Казбеку — система долин, из которых и вправо и влево — ущелья, — система являет парадные залы огромного здания, купол которого — небо, а стены — хребты; все — приубраны к праздничной встрече: рассчитано, чтобы гостей поразить неожиданным выходом из боковых помещений — Казбека, Громадного Старца. От Владикавказа до Коби — хозяин Казбек; забываете вы о природе; она превратилась в культуру — дворца мирового; быть может, старик незаметный, Крестом Перевала прикинувшийся, был — Казбеком; инкогнито он наблюдал наш проезд (кто, зачем?), чтобы, перенесясь, нас сразить, распахнув неожиданно горы и встав из пролома — огромным, прославленным, розово-белым, алмазным.

Казбек вас поймает тотчас за Тифлисом, в прозрачные дни, приподняв над горами громадный свой конус; и спрячется; с Владикавказом поехали вы, — тот же самый Казбек, приподнявшися, — ловит; и прячется, чтоб приготовить прием у себя; он оглядывает двести верст.

Он и есть атмосфера пути: чем взволнуетесь,— то результат агитации партии этого старца; он — лидер огромного столпотворения гор; он с толпой агитаторов точно уходит в подполье; от Млет до Тифлиса стоят агитаторы горного дела в хитонах зеленых, с закрытыми лицами; с Коби снимаются маски, хитоны зеленые; митинг вершин, обряд лозунгов — в залах Казбека.

Тогда — на трибуну выходит... Казбек: его речь — раздается от Коби... до Ларса.

Долина Казбека — партер: перед кафедрой.

Вот и селенье Сиони с причудливо странной горою: Сиони; отвесные скалы; и — Терек (мы едем в долине его); встали в блеск разодетые горы (Куру, Элии); вот зажатое Хевским ущельем шоссе — расширяется; мост через речку, — и быстро несемся навстречу поселку Казбек по широкой, зеленой, какой-то атласной долине, обстанной гигантами; хлещет разбойничий ветер; лукаво веселое синее небо; и смех его — ветер; и мы, точно пьяные: наша машина, как с цепи сорвавшийся пес: припустилась по склону — летит, и летит; пыли за спину вфыркивают. И кричит мне Яшвили; не слышу я слова веселого.

— Хэ́бэкэ... Тэ́бэкэ... Рэ́бэкэ...—дактилем прытким слетают грузские рифмы.

Навстречу несется громадою граней железный и снегом увенчанный г; поселение робко к нему прижимается.

Вылетели; разорвался проломом хребет; из разрыва, имея зеленую у трибуной, поставивши перед собой колокольчик на ней, или «монасты›»,— в трети неба закинутый, неописуемо розово-белый, сребристыми ями, голубоватыми фирнами, белую руку на кряж уронивши, в алмазвенце, — белобрадый, задумчивый, вещий гигантище: речь держит ностям.

Это — Казбек.

За главою его просияние: предзаревое.

Машина подскакивает к помещению белому, где ресторан, с гостиа — база «Закавтопромторга» (не выговоришь: может быть, — я нал; ломается речь человечья об эти «сокровища» языковые); мы выпили; я стоял, рот разинув на Шат; его снежные ребра, подъятые лнцу, — сияли; Казбек — не сиял, углубляясь степением.

Броды, разброды!

Хороший поселочек; лавочки, ряд небольших, но приличных гостиц, открытки, фотографа будочка, улички, стильная церковка; здесь комртабельно можно зажить; знай мы — ранее!

Наши друзья повели меня к церкви; грузинский писатель с фамией местности этой, Казбек, за оградой сквозной похоронен; вот — крест д могилою:

— Бытописатель кавказской войны; в его книгах эпоха Шамиля тает.

— Здесь жил он?

— Да: помещиком был.

Леонидзе, Табидзе, Яшвили вполне занялись, свои спины подстали Тереку, громко струнящему в срыве под самым поселком; я — шел оль обрыва, бросая почтительный взгляд на лицо сребролобого старца; четливо бросил он руку на ниже лежащие горы, взнесясь головою в фон ба, и там запрокинув ее: всюду голубоватости фирнов и льдов средь ления снежного; и розоватые голые части перпендикулярных отвесов; розовых, голубоватых и белых отливов слагалось отчетливое Мировое ицо с выражением грусти и строгости мудрой, глядящее наискось; нос провалы глазные, седины, сам конус белеющей шапки — отчетливы.

Вот, вероятно, ледник: опускается к нам; их — одиннадцать, кажется.

Я повернулся на зовы гудка; пустовала машина: мой друг в ней сил, корчась дикой мигренью (от слишком поспешного взлета и слета); ним рядом мадам Ингароква, страдавшая; все ж собрались, потому о шофер исступленно мял десять минут гуттаперчу пищащую.

— Едем Дарьяльским ущельем!

И — мы полетели, зигзаги описывая, — через Терек; навстречу еслись — стены, скалы, обрывы, зигзаги, отдельные камни; дорога, при-

жатая к скалам, описывала пируэты крутейшие над мощью срыва; а в нем — кипел Терек.

Мой друг сквозь мигрень удивлялся:

— Смотрите-ка: это не стены, а мир барельефов, с излишнею роскошью прибранных: хоть одну сотую этих богатств разглядеть!

Вылезали — стремительно, ежесекундно — все новые роскоши: перли и перли, раздавливая окончательно: здесь километры изваяны переплетеньем фигур; справа, слева — затиснули нас; закачали зигзагами, вид отрезая и сзади и спереди; все предстояло в малиново-красных тонах; точно тучи крылатых существ, оборвавши падение, окаменевши, застыли в перпендикулярах гранитных; музей барельефов, где каждый ущельный изгиб — зала редкостей; мимо всего — проносились стрелою.

— Годами сидеть тут, а мы...

— Где же мрачность?

— Все — роскоши!

Терек — не дикий: струнил мелодично.

— Вот — замок Тамары.

Но мы не успели его рассмотреть: пронеслись; он — банальная куча развалин; все, что обстает, раздавило его; и по-моему: сторожевая, квадратная башня селений, которая нам примелькалась от Коби, — любая, прекраснее этого замка; он должен сидеть над отвесом; а он — под отвесами.

Лики и крылья, его обступившие мощью отвесов, являли отсюда сплошной гобелен: два ряда гобеленов о много сот футов; мы с Тереком, — сжатые ими; и ряд изощренных, окрашенных в пурпур зигзагов, которыми стены вонзаются в поголубевшее небо.

Теплело заметно; слетели ведь на полторы почти тысячи метров (слетанье стремительно здесь).

Вылетаем в последний зигзаг; вот и мост через Терек; стена серо-розово-зеленоватая, цапкими зубьями, точно когтями, каймит верх уступов, отрезывая от того, что мы только что видели.

Ах, — до чего это нежно!

— Борис Николаич, — граница: проститесь с Грузией, — кто-то мне крикнул.

— Прощай!

— За границей, — подшучивают добродушно грузины.

И — станция Ларс.

Тут выравнивается, как скатерть, дорога; машина — стрелой понеслась в туче белой, вздымаемой пыли; спадающий сумрак рельефы утаивал; да и не надо рельефов; наш глаз просит ночи; я перевернулся и видел: белела гребенка снегов над тесниной Дарьяла; прощально глядела нам вслед.

Огоньки хуторов и домов средь прекрасной, густеющей, сочной, всклокоченной зелени.

Балта.

И ночь и жара — охватили; наметились в сумраке: цепь безобидных олмов и огни разостлавшейся дали степной, от которой давно отучилися; ладикавказ надвигался: за домиком — домик; огни ресторанчиков, праздничной публикой (русской теперь); слобода, многолюдие, пыль сусветная, улички, много огней, магазины, машины, «Закавтомпрорг» (уф, — едва написал); перед ним на минуту мы встали:

— Где нам приготовлено?

— Что? От Союза писателей? По телеграфу?

— Да, да.

— «Гранд-Отель».

И он — вот.

Мы гурьбою ввалились, — усталые, пыльные, но развеселые; и, скорей распростившись до утра, пошли в свои комнаты; моя — малюнькая, но приличная; комната друга — и чище, и больше.

Сюда нам внесли самовар.

И не верилось, сидя за чаем, что мы отвалили верст двести — таких сети верст, где не раз восклицалось:

— Мгновенье, остановись: ты — прекрасно!

Император.

Помню —
  то ли Пасха,
то ли —
  Рождество:
вымыто
  и насухо
расчищено торжество.
По Тверской
  шпалерами
    стоят рядовые,
перед рядовыми —
    пристава.
Приставов,
  глазами,
    едят городовые:
«Ваше благородие,
    арестовать?» —
крутит
  полицмейстер
    за уши ус.
Пристав козыряет:
    «Слушаюсь!»
И вижу —
  катится ландо,
и в этой вот ланде—
сидит
  военный молодой,
в холеной бороде.
Перед ним,
    как чурки,
четыре дочурки.
И на спинах булыжных,
  как на наших горбах,

свита
сдет
в орлах и в гербах.
И раззвонившие колокола
расплылись
в дамском писке:
«Угрра!
царь-государь Николай.
император
и самодержец всероссийский!»

Снег заносит
косые кровельки,
серебрит
телеграфную сеть,
он схватился
за холод проволоки
и остался
на ней
висеть.
На всю Сибирь,
на весь Урал,
метельная мура.
За Исетью [1]),
где шахты и кручи,
за Исетью,
где ветер свистел,
приумолк
исполкомовский кучер
и встал
на девятой версте...
Вселенную
снегом заволокло.
Ни зги не видать —
как на-зло.
И только
следы
от брюха волков,
по следу —
диких козлов.
Шесть пудов
(для веса ровного!)

[1]) Река Исеть за Исетским заводом.

будто правит
  кедров полком он,
снег хрустит
    под Парамоновым,
председателем
    исполкома.
Распахнулся весь,
    роют
      снег
        пимы.
«Будто было здесь?!.
Нет, не здесь.
    Мимо!»
Здесь кедр
  топором перетроган,
зарубки
  под корень коры,
у корня,
  под кедром,
    дорога,
а в ней —
  император зарыт.
Лишь тучи
  флагами плавают,
да в тучах
  птичье вранье,
крикливое и одноглавое
ругается воронье.

Прельщают
  многих
    короны лучи.
Пожалте,
  дворяне и шляхта!
Корону
  можно
    у нас получить,
но только
    вместе с шахтой.

Вл. Маяковский.

Война.

Так!
Я знаю тебя наизусть
по урокам уже пережитым.

Ты — над глинищем ливень,
ты — грусть
кавалерии
в стоптанных житах.

Ты ревущий вокзал на ветрах,
ты горластый горнист, —
и едва ли
ты не встала с ночного одра
сумасшедшим в крестах и медалях.

Ты — столбняк,
ты сыпняк,
ты ровчак,
куда раненые заползают,

Я хочу удержать за рычаг,
только, где вестингауз,
не знаю.

Я не знаю,
куда ты летишь,
злой экспресс,
и о чем ты хлопочешь?

Этот дождь торопливый
и тишь,
и с убийствами
темные ночи!

От такой тишины по земле,
от такого
глухого безмолвия
даже в рукописях на столе
пробегают
короткие молнии.

Только тронешь перо —
и курцшлюс,
Только вымолвишь слово —
и сразу
по Европе,
как воды,
сквозь шлюз,
хлынут шлемы
за волнами газа.

Может быть,
только грянет лишь,
этим штормам
засвистан,
затенькан, —
ты с площадки экспресса слетишь
под откос
через две ступеньки.

И сражен за другие века,
станешь с будущим перекликаться.

Я писал эти строки,
пока
легкий дождь
шевелил акации.

Ник. Ушаков.

Цена.

Об этом доме по стране
Легенды ходят, оживая
В руках наборщика вчерне,
В делах и подвигах верней...
Хоть сверху нет шести коней, —
Он — тень страны сторожевая,

Он легендарней, чем Шекспир.
Поспорит, верьте, век за веком:
Стихией или человеком
Воспламенен земли пустырь.

Мы бьемся возле и живем.
Мы возимся и не жалеем
Под ассирийским мавзолеем
Того, чьим именем зовем
Эпоху цельную, как пуля.
Как утро ясную, как день,
Ведущий за руку слепую
Историю среди людей.

Дмитрий Петровский.

Полет песни.

Не на синюю рвань облаков,
Не на полночи млечную ленту, —
Опираемся твердой рукой
На седло в серебро позумента.

Так орел на родную скалу,
Отлетая, цеплялся когтями,
Так и мы о свою похвалу
Обопремся крутыми летами.

Посоветуй же, брат мой степной,
Ты, избравший меня запевалой,
Как клевать и как спать под копной,
Как рубиться рукою бывалой.

И степняк полетел к облакам,
Разогнал пулеметами тучи,
Изогнулась под телом лука,
И приладился конник получше.

И как тень по земле от орла, —
Винтового стального — упала,
Сотня конных просторы рвала,
И пехота в болоте ступала.

Если в горле опять твоя медь,
Моя песня, звенит и сверкает,
Значит думают дула греметь,
Значит пушка уж где-то вздыхает.

Не вздыхает свобода, — поет,
Утолится привычная доблесть,—
Облаками орлино плывет
Отдохнувшая вольная область.

Дмитрий Петровский.

Сердце.

Жизнь цветет березкой,
Каменной горой,
Лесом и повозкой
И, конечно, мной.

В половодье льдины —
Что машинный шум.
Но сильней машины
Человечий ум.

Ни цепей не знает,
Ни сырых темниц.
С облака снимает
Горделивых птиц.

Каждая аллея
Расцвела умом.
С каждым днем светлее
Человечий дом.

Лампочки-тюльпаны
Весело зажглись.
Славлю неустанно
Человечью мысль.

Но почетной речью
Я не обнесу
Сердце человечье,
Тайную красу.

Как же обнесу я,
Коль во всякий час
Только сердцем чую
Каждого из вас!

Петр Орешин.

Рыбак.

Скитался ветер вдоль реки,
Вдоль борта, в воду оступаясь,
Порхали рыбьи плавники,
Под рябью косточки купая.

Над бережком, над рыбаком
Гонялся он за поплавком,
Сырой обшаривал песок,
Сверкнув, летел на козырек,
Перелетал и вырастал
И между веток лопотал,
И от вершин до павилик
Трепал распаренный язык.

И зной вертелся стрекозой,
Грозил то сушью, то грозой,
Но дрёмой согнутый рыбак
В цыгарку вкручивал табак,
Прислушивался к поплавку,
Прикладывался к табаку
И с тишиною заодно
Воображеньем шел на дно,
Где между жирных облаков
Еще гулял его улов.

По седине, по всей повадке
Он был ровесником с водой,
Он был прошит одной посадкой
С ветвями, ловлей, синевой,
С вожжой батраческой когда-то,
И койкой жесткой, и семьей.

И все, что было, все, что грело,
Все за спиной его легло,

И только старческое тело
В пустое падало стекло.

Оно брело теперь к закату,
Теряло зной, роняло вес —
Так день сгорает без возврата,
И время гнет на перевес.

И я смотрел, покуда ветер
Тропой бездельника летал,
Покуда встрепанные ветки,
Вздохнув, почуяли привал.

Закат заигрывал с водой,
Стада к дворам несли удой.
Дрожа коленцами растений,
Вошла роса. Сырели тени.
И слушал я, и понял я,
Что все к концу тропа моя,
И что еще один закат
Не повернет стопы назад.

Николай Браун.

Анафема.

Имя ему при крещеньи «Anания» дали. Как дожил
Он до преклонности лет, стали «Анафемой» звать.
Очень высок и широк, и костист, с бородою по пояс,
В рыжем, как мох, зипуне был он неласков на вид.
Службу дозорную в церкви он нес и большими ключами
От нутряного замка громко звенел на-ходу.
В колокол бил многократно, раздельно, нарочито внятно,
Чтобы не сшибся в буран блудный в пути человек.
В службе ходил по амвону, и если икона какая
Свечек взяла без числа, то составлял их к пустой.
Дул на кадило умело, и дым возносился под купол,
Где господь-бог-саваоф руки держал на лету. —
Рыл на кладбище могилы. Случилось с ним трудное горе:
Сын, работящий мужик, помер, болезнь захватив.
Сыну старик, как и прочим мирянам, в три ровно аршина
Вырыл могилу. Стоял при отпеваньи, держа
Крышку. Когда ж лития совершилась по чину, гвоздями
Крепко настукал отец, будто бы впрок запасал.
После, на дно опустившись могилы, сам на руки принял
В гробе родное дитя, бережно на-земь спустил
И, как завыли все бабы, лопатою землю накинул.
Мать и жена на холме долго лежали. Старик
Поднял их с земи и до дому шел, не сказавши ни слова,
К вечеру ладил хомут, утром же пашню пахал.

П. Радимов.

Генуэзская крепость в Крыму.

Здесь леса хвойная роса
И моря треугольник синий.
Величественно к небесам
Влекутся горные морщины.

Как губка, выжавшая яд,
Эпох воинствовавших слепок,
Среди сосновых колоннад —
Полуразрушенная крепость.

Сюда в шершавой мгле волны,
Под знаком средиземной эры,
Неслись славянские челны
И генуэзские галеры.

И тут же в пекле близких лет,
Точа ножи о камни склонов,
Отряды рваные, «зеленых»
Кровавый укрывали след.

Сегодня санаторный быт:
И к дачам в утренних пожарах
Бахчисарайские татары
Подвозят с дынями арбы.

Шумит вода на новый лад,
С утесов падая далеких,
И льется горная смола
В израненные ткани легких.

И славит времени прицел
Обломков грудою нелепой —
Полуразрушенная крепость —
Свидетельница грозных дел.

Галина Томашевская.

Воспоминание.

Мы знали неволю ветров и погоды,
Разбитые избы, сожженные всходы
В походных путях мы встречали, скорбя.
И часто, высокий и седобородый,
Сермяжник для коней — высматривал броды,
Околицей вел, среди трав и репья.

Апрельский прибой — колыбельною зыбью
Укачивал мины, и лопался, сыпью
Слетая на скользкий, крутой волнолом.
Клубились свистки, и сирены грубели,
Шинели французские заголубели
В весну Черноморья — враждебным теплом.

Шатались зуавы по улицам белым,
Проспекты пропахли распаренным телом,
И висельник синий качался в порту.

Суровый — припомнит теперь, засыпая,
Рубашки канадцев, тюрбаны сипаев —
И вымпел постылый на сером борту.

Припомнит — команду и приговор грубый,
И город, вселившийся в медные трубы
Ревкомов повстанческих и баррикад.
Припомнит, как села в лога собирались,
Как падал от пули солдат-постоялец,
От пули, что взята была напрокат.

По станциям, селам, по зарослям яров,
Дождем пронеслись имена коммунаров,
Породистый колос на нивах зацвел.
Школяр затвердит географию боли,

Стоянок, походов, боев и подполья —
В названиях станций, заводов и сел.

И тот, — кто за пазуху прятал сурово
Наган и терпенье, и теплого крова
Пушистое сено и стены забыл,
Припомнит, быть может, не раз, проезжая,
Где прятался от пулеметного лая —
И в белые цепи, невидимый, бил.

И сходятся версты, — и в кровном пожатье —
Украинских долов просторное платье,
И Великороссии трубный угар.
С песков Туркестана доносятся гулы,
И звонкостью горной встречают аулы
Сибирской тайги замороженный пар!

Д. Бродский.

Нижний-Новгород.

(Из воспоминаний).

С. Елпатьевский.

Служащие.

Летом 1887 года моя ссылка окончилась, и я вернулся из Сибири. Мне было запрещено для жительства кроме столиц тринадцать губерний, в число которых почему-то не попала Нижегородская губ. Нижний-Новгород я и выбрал. Это был ближайший город к Москве, людный губернский город, где были у меня кое-какие связи и где уже поселился знакомый человек — Владимир Галактионович Короленко. Соблазняла и самая Волга.

После тихих Уфы и Енисейска мне показалось необыкновенно шумно оживленно в Нижнем-Новгороде. И Волга глянула на меня не той сумрачой, какой я видел ее в первый раз, когда ехал в Уфу. Начиная от Казани ла столбовая дорога, набитая красавцами пассажирскими пароходами, грузыми буксирами, огромными пузатыми белянами с уфимскими лесными изделиями, плотами сплавляемого леса, в гомоне криков, свистков, хриповых зоов пароходов, шумных пристаней. В самом разгаре была Нижегородская ярмарка, уже падавшая, по мнению нижегородцев, в своем значении, но показавшаяся мне многолюдной, шумной и яркой.

Я сразу попал в гущу нижегородской жизни. Вскоре по приезде сделался врачом Общества вспоможения частному служебному труду, оторое об'единяло огромную массу служилого люда, — приказчиков, служащих банков, причастных к огромному тогда Окскому и Волжскому пароходному делу, — разномастных людей от так называемых доверенных, получавших большие жалованья, до официанта Нижегородского вокзала, кстати сказать, одного из наиболее усердных читателей библиотеки Общества.

Уже в силу моей службы в Обществе, я сделался членом Общества, принимал участие в собраниях, был избран в библиотечную комиссию и продолжал работать в нем все десять лет, которые я прожил в Нижнем, когда был уже врачом городской амбулатории и членом городской санитарной комиссии. Общество было очень любопытное. Здесь впервые мне приходилось наблюдать вплотную эволюцию служащих торгово-промышленного класса.

и 90-е годы были временем усиленного роста капитализма в России и грого увеличения кадров служащих.

Менялись старые привычные отношения «хозяина» и «работника». Исли патриархальные и полупатриархальные уфимские и сибирские взаэтношения хозяев с своими приказчиками и служащими, там часто родниками и свойственниками, где разделительная линия была не резко едена и где сравнительно нередко служащий сам мог становиться хозяі. Здесь эта разделительная линия проходила уже глубоко. Были еще где, в особенности в старообрядческих кругах, старые патриархальные шения, но масса служащих уже резко обосабливалась в особенности в ходном и заводском деле, где часто не было лица хозяина, заседав› где-то в Петербурге или Москве в виде правления акционерного общеи где лицом к лицу стоял безымянный капитан и безымянный служащий.

Складывалось классовое обособление, осознавание своего классового ективa. Общество вспоможения частному служебному труду и являлось иняющим центром для нижегородского приказчичьего мира и для слуих Волжского и Окского пароходства. Повторяю, Общество было по ему составу не однотипное, пестрое, — были богатые люди—доверенные, ржевые маклера; были старики-приказчики основатели общества, люди, спитавшиеся на старых дрожжах и несшие в себе старую психологию, ли мелкие служащие, получавшие скудное жалованье, и много было моежи, порвавшей со старой психологией. Она не была тогда революционй, но, так сказать, радикально настроена. Поднималась индивидуальность, о освобождение личности, поднималось чувство чести, личного достоинва, и вставала жажда к знанию.

Мне приходилось наблюдать борьбу этих старых и новых людей. рьба вспыхивала сплошь и рядом по самым разнообразным случаям: при боре почетных членов, при отчислении сумм на просветительные нужды щества, на библиотеку, на назначение стипендий в учебные заведения. На й почве вышел даже характерный скандал на одном из торжественных инов членов Общества. Один из основателей Общества, горячо преданй успехам Общества старый приказчик, ценимый в Обществе, расчувовавшись, сказал речь, в которой поучал молодежь мудрости жизни, овая, по его мнению, состояла в том, чтобы приказчик хозяину долж- і процент добывал и себя не забывал, себе пользу устраивал. Вышел мкий скандал. Молодежь возмутилась, прочитали отповедь старику, что- не звал на воровское дело итти, и значительная часть демонстративно ла с ужина.

Другим об'единяющим центром для служащих был Всесословный клуб, ый многолюдный из трех нижегородских клубов, почему-то именовався в просторечии «Собачкой». Я застал еще клуб, когда вся жизнь его дилась к карточным столам, буфету и бильярду, и большой зал открыся, только когда устраивались маскарады, не енисейского характера, а нь неопрятные, очень вульгарные маскарады с мало прикрытым развра. И на моих глазах через несколько лет создалась при клубе хорошая

библиотека, а в большом зале читались лекции, для которых выписывали даже столичных профессоров, когда редко можно было найти пустое место в зале.

А дети служащих и нередко наиболее бедных поступали в гимназии или в высшие учебные заведения и на женские курсы, и мне много потом приходилось встречать революционеров, детей членов этого Общества.

Купцы и промышленники.

Поднимал голову, начинал обособляться, осознавать себя, как класс, купец и промышленник. Это, конечно, давно началось, но, после не особенно обособленного уфимского и енисейского купечества, мне особенно ярко бросилось в глаза купечество в Нижнем-Новгороде.

Волга кишела судами, Нижний делал большие дела. Нижегородский купец-промышленник в массе был старого уклада, не более ученый и образованный, чем уфимский и енисейский купцы — я не помню никого, кончившего высшее учебное заведение из тогдашних главарей торгово-промышленного дела, — он не выступал еще открыто на государственную арену, не заводил еще своих купецких газет, но он уже забрал силу и почувствовал эту силу. И он вел миллионные дела, ездил в Москву и Петербург, имел там конторы, встречался с столичным купечеством, у него были связи и деловые и часто родственные со всей Волгой, и, наконец, раз в год он спаивался на ярмарке со всероссийским купечеством, с людьми, уже понявшими свою новую позицию в государстве.

На начинавшие пустеть дворянские кресла садился купец. Его сыновья учились не только в гимназиях, но и в дворянском институте (та же гимназия), дочери поступали в институт благородных девиц, и рядом с не очень грамотными отцами стали появляться и занимать места в жизни их сыновья — доктора, адвокаты, инженеры. И на общем фоне нижегородской жизни, несмотря на довольно многочисленное дворянство, выступал купец, и он задавал тон жизни. Этот купец резко отграничивал себя от бывшего высшего русского персонажа — дворянина. Можно сказать больше. Как в былые недавние времена, в 40-50-х годах слово купец, «купчишка» звучало презрительно в дворянских усадьбах, так теперь купец с высоты своего капитала, с высоты своего растущего значения полупрезрительно смотрел на барина, на опускавшееся все ниже и ниже дворянство. Их разделяли интересы при дележе государственного пирога, которым искони кормились и дворянское землевладение, и торгово-промышленный класс, но, нужно думать, значительную роль играла здесь старая, веками сложившаяся враждебная психология крестьянства, из рядов которого, главным образом, выходило провинциальное купечество вообще[1]).

---

[1]) Долго спустя, проездом, я зашел к своему знакомому крупному пароходчику, игравшему значительную роль в нижегородской жизни. Это было время начала реакции, отобрания назад манифеста 17 октября, и мне в некотором роде пришлось присутствовать при организации первых шагов черносотенного движения. Когда мы мирно

Пред самым моим от'ездом, в 1896 году, развернулся в Нижнем Новго-
пир на весь мир, именины русской промышленности, — именно Нижний-
ород Витте избрал для открытия всероссийской выставки. Там было все
проявления новой эры в промышленности России. Земство, народное
зование, кустари, крестьянское хозяйство были представлены скудно,
ато широко и пышно разлеглись павильоны промышленности, и когда
хал царь на выставку, дворянство было оттиснуто, фигурировало яр-
чное и нижегородское купечество. Губернатор Баранов одел молодых
ов в костюмы древних гридней, и они, а не дворянские дети, были вы-
іены во дворце во время приема царя. А нижегородский «Волгарь», га-
верно служившая волжскому купечеству, излагая в передовой статье
‹и промышленности и новые позиции, которые стала она занимать в
ıи, напечатала фразу, облетевшую тогда все газеты и основательно
эянную: «Мы всё можем». Фраза была глупа, но в этой наивно-
й фразе сказалось новое самочувствие торгово-промышленного класса.

Несмотря на этот пышный расцвет, на это «мы всё можем», русское
іво-промышленное дело, — мне казалось тогда, — я говорю о предста-
...ях его, не в столицах, а в провинции, — каким-то не солидным, не
:пким, зыбким и неустойчивым. Старых, давних купеческих родов, когда-
гремевших по Волге, в Нижнем-Новгороде уже не было, сошли «на-нет»,
говорили нижегородцы. Разно сходили на-нет. Мои пациенты, старики-
:казчики, рассказывали, как купеческие роды сходили на-нет. Спивались
ци, вырождались от болезней, просто вдруг бросали дело и уходили куда
за глядят. Старожилы перечисляли мне, какие потомки старых богатых
іеческих фамилий безнадежно больны, находятся в психиатрических ле-
ницах, какие доживают свой век в богадельнях. Помнили еще в Нижнем
чай, когда в одночасье померли отец и мать и как трое взрослых детей —
ı уже вел отцовское большое дело, дочери — невесты — бросили свое
э, «расписали» свое имущество по монастырям, по церквам, по бога-
ьням, и сами все трое ушли в дальние монастыри.

И в мое время. Был в Нижнем знаменитый по всей Волге пароходчик
дей Чернов. Атлетического телосложения, властный, он время от времени

цовали, явились два гостя. Один высокий, сухой, за пятьдесят лет, человек старо-
:ого уклада, как я потом узнал, владелец крупной фабрики на верхней Волге, а с
молодой человек—таких в Нижнем называли «поддужный»—шустрый, лакированный,
ахмальном белье, с красивым портфелем. Старик-фабрикант сразу же заявил, что
поручением от Москвы, где образовался кружок почтенных дворян громких фа-
й, которые сорганизовались, чтобы сберечь самодержавную Россию от разрухи и
белли, которой грозил манифест 17 октября, и с просьбой моему знакомому органи-
гь такой же кружок в Нижнем.

Мой знакомый серьезно слушал рассказ фабриканта и реплики «поддужного» об
эблении Николая-чудотворца и коротко выговорил:

— У них (у дворян) кровь порченная... Нам с ними не рука.

И на настойчивые уговоры фабриканта решительно закончил:

— Нам не по дороге...

Так и ушли ни с чем организаторы черносотенства.

иногда в разгаре своих мирных занятий устраивал дикие дебоши и скандалы. Одним из его развлечений в такие периоды было являться в Соединенный клуб, обходить карточные столы и стукать лбами друг о друга играющих. Мне рассказывали, какая паника поднималась в клубе и как играющие покидали свои столы, когда получалось известие: Гордей приехал! Вывести его была задача трудная, несмотря на то, что один из швейцаров был приглашен именно за свою силу с специальной миссией выводить из клуба дебоширов, приходилось мобилизовать служащих, — Гордей Чернов снимал сюртук и, как щепки, разбрасывал наседавших на него людей.

Было в нем дикое, сильное и смелое. Много ходило рассказов о его подвигах во время всяких аварий на Волге, и при мне с удивлением рассказывали, как он в рупор во всеуслышание обругал губернатора Баранова крепкими русскими словами, когда тот вздумал вмешиваться в распоряжения Гордея Чернова, выехавшего на своем буксире разводить суда во внезапно наступившее половодье. Удивлялись, что и Баранов смолчал и не сделал из этого истории.

И вдруг, в разгаре своей силы, своих подвигов и дебоширств, Гордей Чернов скрылся из Нижнего, и никто не знал, куда он уехал, и только через год один из его приятелей получил письмо от него из монастыря на Афоне приблизительно такого содержания: «Попили мы с тобой, друг, погуляли достаточно, — пора и о грехах подумать». Я знал случай, когда приехавший на ярмарку за товарами провинциальный купец закрутил и целый год скитался по России с цыганским табором, только через год вернулся к себе оборванный и нищий.

На место спившихся, выродившихся являлись новые, свежие люди из крестьянства, из городского мещанства, но история повторялась одна и та же. Человек большого ума, с сильной волей, правдами и неправдами наживал состояние, заводил большое дело. Сын продолжал, изредка расширял предприятие, внук, много правнук, спускался вниз, и дело сходило на-нет или попадало в другие цепкие руки.

Если уфимские и сибирские купцы и промышленники были люди вчерашнего дня, то нижегородцы были третьеводнешние. Только третьеводнешние. В Нижнем помнили, как явились в Нижний дедушки крупнейших нижегородских хлеботорговцев и мукомолов Бугровых и Блиновых, крестьяне Семеновского уезда, и как начали они дело. Помнили кое-кого из крупных промышленников, как они мальчишками бегали из лавки с чайниками за кипятком. На моих глазах вырождались крупнейшие нижегородские семьи, появлялось то, что называлось чудачеством, дикие нелепые выходки, дело вываливалось из рук. Со смертью Бугрова, — его и блиновское дело стало рассыпаться, сходить «на-нет».

Я мало знаком был с столичным торгово-промышленным миром, не говорю об акционерных обществах, но близко знал провинциальный мир, и везде я наблюдал эту зыбкость, неустойчивость торгово-промышленного дела, быструю смену ее представителей. Как-то в Париже, во время президентства Казимира Перье, я прочитал в газетах, что торговая фирма Перье

цествует в одном роду 700 лет. В России за сто лет существования фирмы али дворянство, и я помню только два-три случая этого пожалования — эговые фирмы не доживали до ста лет. Как русское дворянство сходило нет при самых счастливых условиях для дворянского землевладения, так ское купечество быстро выбывало из строя; как русский дворянин быстро дворянивался и легко переходил в разряд разночинцев, так, и еще ско-, купец раскупечивался и превращался в мещанина, в мелкого служа-'о. И я думаю, что дело здесь не только в том, что у русской буржуазии было такого исторического прошлого, как у западно-европейской бур-ізии; не в том только, что она слишком молода, не успела выработать жных навыков, традиций, несложной, но крепкой идеологии западно-ев-ейского буржуа, не было наторенных и, так сказать, асфальтированных ей для нее, но и в сложной мудреной психологии русского человека. Ка-ось, в нем, в дворянине, в купце, сидел еще тот древний русский человек, веками бродил по лицу русской земли, садился на место и снова сни-ся; подавался на север, на юг, на восток и не успел окончательно усесть-найти свое подлинное постоянное место. И казалось, что под циви-ızованною внешностью, под сюртуком и даже фраком лежит давнее, ди-эе, стихийное, что взрывается дикими взрывами, что мирная, размеренная, ıсциплинированная жизнь не переносна еще для людей и прорывается или ́йными озорными дебошами, беспробудным пьянством, или уходом от мира молчание монастырей, в смирение дикой воли, «в послушание».

Старообрядцы.

Как-то так случилось, что нижегородские старообрядцы стали ле-іться, главным образом, у меня. Началось с того, что я был приглашен чить в огромном вдовьем доме, только что выстроенном тогда старообряд-:м Бугровым на краю города. А в версте от него в поле был огороженный ирокой оградой старообрядческий приют, в сущности являвшийся с мол-.ливого согласия местной администрации монастырем, где было все пола-вшееся для монастыря, — и молельня, уставленная старинными образами, и мные старухи богаделки-монашенки, и молодые девушки, и священник, івший, кажется, раньше православным, перешедший в бугровскую веру, .к тогда называли старообрядцев, прикосновенных в Бугрову. Там тоже иходилось бывать мне два-три раза в неделю. Постепенно практика среди арообрядцев расширялась, ко мне стали наезжать из уездов.

Я был даже приглашен одно время — чему дивились сами старообряд-ı — лечить старуху Блинову, тетку Бугрова.

Она играла большую роль в нижегородском старообрядческом мире, гроила монастырь в Заволжье, где, как говорили мне, было до семидесяти нахинь. Помню длинную амфиладу больших комнат, сидевшие в комна-х за пяльцами и за вышивками бледные личики белокурых и темноволосых зушек, жуткую тишину молчания в пустынных комнатах, и в самом конце лутемную комнату, увешанную драгоценными старинными иконами, где

сидела строгая суровая старуха. Блинова была строгая и властная и управляла не только девушками своего дома и монахинями своего монастыря. Мне рассказывали, как бородатые солидные купцы-старообрядцы жевали чай и разные снадобья, перед тем как явиться к ней, чтобы не пахло от них табачишком, которым некоторые баловались. И сам толстый, тяжелый, грузный Бугров, как рассказывал мне его племянник Блинов, если ему не удавалось улизнуть на свою мельницу, аккуратно клал бесконечные тяжелые великопостные поклоны под строгим взглядом суровой старухи.

Во главе нижегородского старообрядчества, даже значительной части старообрядцев Волги, стоял купец Н. А. Бугров. Он был ревнитель древнего благочестия и оберегатель старой веры, заступник ее. Повторяю, было тогда на Волге выражение «бугровской веры». И это было в нем настоящее, искреннее, сердцевиной его. Помню, я приехал к нему лечить кого-то из его домашних, — он потащил меня в гостиную. На стене висела известная картина Сурикова — «Боярыня Морозова».

— Заказал в Москве копию, — вот только что привез...

И, отступая и подходя к картине, все повторял:

— А? Что! Как написано! Нет, вы посмотрите: лицо-то... лицо-то!

И тыкал в два пальца, вытянутые боярыней Морозовой, и говорил:

— Видите! Видите!..

Он был огромный, тяжеловесный, несуразный, характерного крестьянского облика. И был человеком старого уклада по манерам, по костюму, по быту. Благотворитель тоже по старым купеческим манерам. Кроме вдовьего дома он устроил в Нижнем ночлежный дом, в поминальные семейные дни одаривал нищих, которых к этим дням собиралось великое множество.

И в своем оберегании старой веры он держался давних привычек, — искания «милостивцев», «подмазывания». Мои знакомые старообрядцы рассказывали мне, как в былые времена приходилось закупать на местах и в Петербурге нужных людей, как был случай, когда лакею дали двадцать тысяч рублей за то, чтобы он замолвил словечко и пропустил во-время к нужному важному человеку.

Не много отличались от этого старого и манеры Бугрова оберегания своей веры. С местной администрацией он был в наилучших отношениях. Злые языки говорили, что всегда нуждавшийся в деньгах губернатор Баранов пользовался широким кредитом у Бугрова, и рассказывали, как однажды Бугров встретил приехавшего в гости к нему Баранова с подносом, на котором лежали разорванные векселя Баранова.

— Чтобы вашему превосходительству не думалось!..

Его превосходительству, кажется, вообще мало думалось о таких пустяках, как выданные векселя. Я знаю, что он по годам не платил по магазинам за забранные там товары, и не слыхал, чтобы, в конце концов, он заплатил за них.

Бугров проник даже к Победоносцеву, главному вдохновителю преследований старообрядцев, и завязал с ним довольно близкие отношения. В Нижнем рассказывали, что Бугров вручил Победоносцеву крупную сумму

построение православных храмов в Сибири, о чем в связи с проведением 5ирской железной дороги хлопотал тогда Победоносцев.

У Бугрова развилась даже какая-то страсть, особое влечение к вы-опоставленным людям. Помню, как Бугров, тяжелый, неповоротливый, да ходивший важно и медлительно — легким аллюром, петушком сопро-ждал наехавшего в Нижний министра П. Н. Дурново, когда тот осматри-Вдовий дом. Был другой случай. Проезжал по дороге в Иркутск назна-ный туда генерал-губернатором Пантелеев. Он не имел совсем никакого ошения к нижегородским старообрядцам и не нужен был Бугрову, тем не ее Бугров устроил для Пантелеева со свитой и какого-то еще проезжав-о сановника катанье по Волге, приготовил на пароходе роскошный ін. Племянник Бугрова Блинов говорил мне:

— Любит дядюшка высокопоставленных людей! Его и медом не корми.

Старообрядцы в массе значительно выделялись из среды православного ечества, они были крепче, устойчивее и солидарнее. Гонения, которым зергалось старообрядчество еще в недавние времена,— в Нижнем-Новго-э еще хорошо помнили разгром заволжских старообрядческих монасты-эи, в котором близкое участие принимал и сам писатель Мельников-Печер-ий,— клали на людей особую печать, вырабатывали внутреннюю дисциплину, ырабатывали крепких духом, упорных людей, державшихся друг за друга.

Были между ними интересные люди. Изредка лечился у меня пароход-ік Овчинников. Как-то раз он вызвал меня к себе в Городец к заболевшей чери. Пришлось ночевать, и тут за вечерним чаем мы разговорились. Ока-лось, что кроме его небольшого пароходного дела у него было еще другое, которое он, повидимому, больше вкладывал души, чем в свои пароходные ерации. Он собирал старину — иконы, но главным образом старые руко-іси и старинные книги. Он собирал их всюду: в Москве, по Архангельской Вологодской губернии, и специально ездил разыскивать в Поволжье, на ал. Более всего интересовался болгарскими рукописями, которые он добы-л через проживавших в Болгарии и Румынии старообрядцев.

И в Нижнем на ярмарке. В те времена — я узнал это только от него— ярмарку приезжали люди, профессионально занимавшиеся скупкой таких щей, и свозили на ярмарку для таких, как Овчинников, любителей то, что певали собрать за год. Овчинников знал их всех, в совершенстве изучил о дело и рассказывал, как вначале попадался на подделки и как потом учился по бумаге определять, к какому веку принадлежит та или иная лгарская рукопись. Он выстроил на дворе каменное здание, отдельно от угих построек, безопасное в пожарном отношении, для хранения своих агоценностей и с гордостью сказал мне, что его книгохранилище известно ученых кругах Москвы и что к нему уже приезжали работать два моло-іх профессора.

Мои отношения с старообрядцами не порвались с моим от'ездом из іжнего-Новгорода. Как-то много спустя в Ялте, во время пребывания там в івадии Николая II — дело было незадолго до Японской войны — ко мне

явились трое старообрядцев. Один был нижегородец Сироткин, бывший потом городским головой Нижнего-Новгорода, и два представителя от Москвы и от Петербурга, — пришли посоветоваться о своем деле. Им нужно было добиться аудиенции у царя, чтобы вручить ему привезенную ими петицию от старообрядчества. Они показали мне переплетенную на старинный лад толстую рукопись, вернее: ряд рукописей и прошений, где описывались преследования, которым подвергались и подвергаются люди старой веры. Помню, при коротком обзоре, упоминание о костях донских старообрядческих епископов, выброшенных из могил неистовыми правительственными чиновниками.

У депутации был уже выработан план. Они собирались — кто-то им посоветовал — обратиться к княгине М. В. Барятинской, бывшей тогда начальницей «Ялтинской общины Красного креста», и предложить ей сто тысяч рублей на расширение ее общины, если она устроит им аудиенцию у царя и передачу ему петиции. Планы я не одобрил и сказал им, что аудиенции у царя, наверное, они не получат и что у них не будет уверенности, дойдет ли петиция до царя и не затеряется ли она в придворных кругах. Я просил их зайти ко мне через несколько дней, когда я успею навести нужные справки.

Мой двоюродный брат, ялтинский санитарный врач Розанов, рассказал о депутации лейб-медику царя старику Гиршу, и Гирш скоро сообщил, что он переговорил с великим князем Александром Михайловичем, жившим тогда в Ай-Тодоре, что Александр Михайлович согласен принять депутацию и передать царю их петицию. Так все и вышло, и депутация после приема Александра Михайловича и передачи ему петиции приехала ко мне с великой благодарностью за мой совет. Как деловые люди, они сказали, что они знают о моих хлопотах по устройству в Ялте Яузлара, санатория для нуждающихся приезжих туберкулезных больных, и что они придут ко мне на помощь. В дальнейшем разговоре выяснилось, что в случае успеха петиции они намерены выстроить на южном берегу Крыма миллионную санаторию для всех без различия вероисповедания чахоточных больных, но только чтобы она значилась выстроенной русским старообрядчеством в ознаменование прекращения гонений на старую веру, и что они будут рады соединиться с нами в общем деле.

Серьезного из их петиции ничего не вышло. Но некоторый успех она, повидимому, имела — долго спустя старообрядцы говорили мне, что преследования несколько смягчились. Японская война, а потом все пертурбации, которые начались в России, помешали осуществлению старообрядческих намерений. Так ничего и не вышло.

Старообрядцы и еще раз обращались ко мне. Как-то в Петербурге меня разыскал петербургский представитель бывшей делегации и просил навестить в Мариинской больнице тяжело больного и, если я признаю нужным, устроить его в Ялте. При этом он рассказал, что больной — дорогой для них человек, что именно он выступал всегда с блестящим успехом в Петербурге в религиозных прениях с представителями православного духовенства.

ɔыл в больнице. У больного оказался эксудативный плеврит, плохо расса-
:авшийся, и, так как я должен был через несколько дней уезжать в Крым,
ахватил больного с собой.

Мельников оказался очень интересным человеком. Он быстро начал
ıравляться в Ялте, и уже через две недели мы ходили с ним в горы, и он
сказывал мне свою жизнь. С шестнадцати лет он пошел по тюрьмам
свою веру, за пропаганду. Не раз был арестован при переезде через ру-
іскую границу, когда переправлял старообрядческую литературу. Ему
:о 35 лет. Помимо огромного знакомства с старообрядческой литерату-
, он хорошо знал историю церкви, вернее: истоию церквей, так как
ересовался католичеством, и жаловался мне, что никак ему не удается —
некогда — засесть вплотную за французский язык, который он начал
чать. Он был не узкий, не начетчик, в привычном понимании этого слова,
ересовался литературой, жадно тянулся к широкому знанию. Ни в бе-
ıх, ни в манерах его не чувствовалось буквы, односторонней узости, и,
зная его прошлого и того, что рассказывал о нем петербургский старо-
ядец, я никогда не подумал бы, что он все-таки начетчик, что у него вся
изнь только в том, что он делал.

Мельников понимал, что старые методы старообрядчества в смысле
ɔоронения себя отжили свой век и что настоящего освобождения,
элного легализирования старообрядчество может ждать только от
:вобождения народа, от изменения всей государственной жизни Рос-
ıи. И именно он с улыбкой рассказывал мне о старых методах
'арообрядчества, когда главной задачей было найти ходы к человеку «в
ıучае», когда платили по двадцати тысяч лакею только за то, чтобы до-
/стил к нужной персоне.

Ялтинская петиция была уже новым этапом в отношениях старообряд-
:ства к власти, но Мельников понимал, что это тоже недалеко уходит от
'арых методов и что нужны другие.

Третий элемент.

За 10 лет, протекших тогда с моего окончания университета, многое
менилось, и Нижний-Новгород, как губернский город, встал для меня но-
ıм явлением. Он удивил меня количеством интеллигенции, обилием, так
азать, своих, близких людей.

За время моего студенчества губернские города в этом смысле были
сты. Мне приходилось тогда рассылать нелегальную литературу и уста-
вливать связи с несколькими губернскими городами, и мы знали, что в
ком-то городе есть два, в другом три человека с общественным поло-
'нием, с которыми можно было сноситься по нелегальным делам. Там
ли кружки гимназической и семинарской молодежи, руководившиеся на-
жавшими на родину студентами, но взрослых, созвучных нам лю-
і было мало. Были редки такие города, как Саратов, как Орел во время
зни там Занчиевского.

В Нижнем я впервые близко познакомился с так называемым «третьим элементом», — в Рязани, в Уфе он был представлен слабо, в Сибири его и не могло быть, за отсутствием земства, около которого он, главным образом, группировался. Земская деятельность, несмотря на правительственное давление, расширялась и усложнялась. Не только увеличилось количество медицинского и учительского персонала, — появились техники, инженеры, агрономы, инструкторы и статистики, именами которых иногда назывался вообще третий элемент.

«Третий элемент» являлся своеобразным продуктом русской своеобразной жизни. В большинстве случаев он набирался из людей, познавших закономерность русской жизни, из студентов, выгнанных из высших учебных заведений, из людей, побывавших в тюрьмах, в ссылках. Там были партийные и беспартийные люди, но их об'единяло враждебное отношение к правительству и в этом смысле революционное настроение. Рядом с подпольной работой, часть интеллигенции, в то время еще по преимуществу народнической, избирала легальный путь и работала на открытом воздухе. Шли и, так сказать, мирные люди, но не желавшие служить на государственной службе и не соблазнявшиеся легкими и обильными хлебами частной службы. В большинстве случаев люди третьего элемента, по крайней мере те, которых я знал, входили в земское и городское самоуправление, не как приказчики, не как конторские служащие, отбывавшие урочное время от такого-то часу и до такого-то, а как люди, для которых дело, которое они делали, было идейным и общественным делом, в которое они вкладывали свой ум и свое сердце.

И во многих отраслях из исполнителей и служащих люди третьего элемента делались организаторами и руководителями земского и городского дела. В передовых земствах, как Московское, Тверское, Саратовское и некоторые другие, по существу врачи, а не земцы, строили и определяли медицинско-санитарное дело, и не будет преувеличением сказать, что их работа явилась самостоятельным и оригинальным творчеством общественно-медицинского дела в России, не имевшим прецедентов в Западной Европе. В частности, только П. П. Кащенко, которого я усиленно переманивал из Тверского земства в Нижний, явился организатором и основоположником психиатрической помощи населению Нижегородской губернии. Именно он провел новое тогда в России посемейное распределение тихих и спокойных психически-больных по окрестностям Н.-Новгорода — главным образом, в Балахне. И он устроил как следует Нижегородскую психиатрическую лечебницу.

Особо видную роль в нижегородской жизни сыграли статистики. На зов Н. Ф. Анненского, почти одновременно со мной приехавшего из Казани и ставшего во главе земской статистики Нижегородского губ. земства, собрались исключительно ценные работники — многие из них стали потом во главе статистического дела в других губерниях и в Сибири. Они глубоко вклинились в земское дело и нередко выходили далеко за пределы своего специально статистического дела. В частно-

ı, во время знаменитого голода 1891 года именно им поручена была заıка хлебов для Нижегородской губернии, и знакомые нижегородские :боторговцы с удивлением говорили мне, как хорошо и дешево был накупı хлеб статистиками [1]).

Роль третьего элемента не ограничивалась работой в земстве. Везде, они были достаточно представлены, — они являлись организаторами или, крайней мере, участниками всяких общественно-прогрессивных начинаi, являлись инициаторами возникновения или сотрудниками местных га·. И в Нижнем-Новгороде упомянутая эволюция Соединенного клуба, претившая его из кабака в культурно-просветительное учреждение, начаь, когда вошли в него и начали принимать деятельное участие люди из тьего элемента.

В земстве шла борьба земской оппозиции, лучших земских людей тив дворянского засилья. Нижегородское дворянство, как и везде, шло убыль, имения переходили в недворянские руки, а оставшиеся в руках ещиков были заложены и перезаложены, но дворян-помещиков, живших местах, было еще много, в особенности в таких уездах, как Лукьяновкий, Васильсурский, и в нижегородской жизни они играли еще значительую роль. Уездным земством правил и владел председатель земской управы ндреев, распоряжавшийся в уезде, как в своем имении, и в земской кассе, ак в своем кармане, дворяне верховодили на губернских земских собраıях, распоряжались по-своему в Дворянском банке, а на местах задавали он уездной администрации.

Борьба велась в уездном и губернском земских собраниях, велась на границах казанских и столичных газет, и, можно сказать, печать сыграла авную роль в этой борьбе. Корреспонденции В. Г. Короленко — к которым ı относился так же серьезно, как к своим художественным произведеıям — о безобразиях администрации и дворян производили сенсацию. Ско), помимо казанских газет, где, главным образом, помещались корреıонденции о нижегородских делах, в Нижнем возникло отделение казан:ой газеты «Волжский вестник», которым заведовал Иванчик-Писарев, куда екались всякие сведения и корреспонденции отдельных авторов.

Борьба окончилась победой. Андреев слетел из председателей. Один лидеров дворянства, Панютин, посажен был в тюрьму по обвинению в ıджоге в своем имении и там умер от сыпного тифа. Председателем уездй, а потом и губернской управы стал А. А. Савельев, примыкавший вместе П. К. Позерном и другими людьми оппозиции к нашему кружку, далекий от ɔрянских традиций [2]). Побеждены и посрамлены были, в конце концов, и кьяновские неистовые дворяне, так упорно отрицавшие голод в 1891 году и аждебно относившиеся к помощи голодавшему крестьянству.

---

[1]) В земской управе рассказывали, как статистик П. Н. Неволин, командированı на Кубань, в отчете о поездке не поместил расходы на свое питание, и на вопрос ıавы ответил, что он дома все равно бы ел.

[2]) Был членом всех Государственных дум.

Тогдашнее интеллигентное общество Н.-Новгорода состояло не из одного третьего элемента. Через Нижний проезжали возвращавшиеся из Сибири ссыльные, и некоторые оседали надолго. Засиделся в Нижнем А. И. Богданович, сделавшийся потом редактором журнала «Мир божий», навсегда, до смерти остался Дробыш-Дробышевский, вставший во главе новой прогрессивной нижегородской газеты, сослуживший большую общественную службу, жил Зарудный и другие.

А потом оседали бездомные русские «перекати-поле», которых много было тогда в России, — люди, вышибленные из жизни, взыскующие града, сбегавшиеся на огоньки, что светились тогда из Нижнего Новгорода.

И чем дальше шла жизнь за те десять лет, которые я прожил в Н.-Новгороде, тем больше приливало туда людей. После голода 1891 года и начавшегося тогда оживления в среде учащейся молодежи начали приезжать целыми группами высылавшиеся из Москвы и Петербурга студенты, и некоторые из них также оседали в Н.-Новгороде.

Одно время собралось много писателей. Кроме В. Г. Короленко и Н. Ф. Анненского некоторое время жили Иванчин-Писарев, Петропавловский-Каронин, Ольхин, из молодежи Горький, Чириков, Ашешов. Приезжал не надолго Н. К. Михайловский, два раза приезжал погостить у своих друзей — Короленко и Анненского — Глеб Ив. Успенский[1]).

К образовавшемуся довольно широкому нашему кружку в той или иной мере примыкали и местные люди, — земцы, кое-кто из так называемого общества, учительницы и, конечно, учащаяся молодежь.

Стало оживленно и шумно в Н.-Новгороде. Довольно много собралось людей около открывшихся вечерних классов для неграмотных и полуграмотных [2]). Организовывались литературные вечера, и помню, когда я читал о Чернышевском — по случаю его смерти, — в моей небольшой квартире собралось около ста человек. Благодаря, главным образом, инициативе и энергии высланного из Петербурга студента-медика Андрея Юльевича Фейта устроились систематические курсы для учащейся молодежи, — лекции читались по естествознанию, по политической экономии и статистике.

Центром, вокруг которого группировались люди, притягательной силой для с'езжавшихся в Нижний людей были Владимир Галактионович Короленко и Николай Федорович Анненский.

---

[1]) Второй раз уже больным он прожил у меня две недели. См. мои «Близкие».

[2]) Мне пришлось присутствовать при интересном разговоре местного архиерея приглашенного на открытие классов с дамой-патронессой, Бер, выхлопотавшей разрешение на устройство этих курсов.

— Кажется, в 60-х годах уже были подобные вечерние классы для рабочих? — спросил архиерей.

Дама ответила:

— Да, но тогда внедряли рабочим права, а мы будем учить обязанностям.

Ожидания дамы не оправдались.

ιолай Фeдорович Анненский и Владимир Галактионович Короленко.

Я встречал и близко знал многих выдающихся по уму и талантливости ·й, — ученых, писателей, выделяющихся из толпы людей, — и не могу мнить ни одного, кого я мог бы поставить рядом по необыкновенной одаости с Н. Ф. Анненским.

Поражали в нем об'ем, богатство его духовного содержания и его исительный темперамент, редкая комбинация обширного ума, строгой и и горячего бунтующего сердца. Необычна была и карьера его. Он чил филологический факультет и должен был остаться при университете ·ессором истории, но тогда, в 60-х годах, вводились новые судебные ждения, казалось, открывавшие новую эру, новый выход русской общеıности, — Анненский оканчивает юридический факультет, но после перже защит бросает адвокатуру. Он служит в министерстве, переходит /гое министерство, два раза командируется за границу — на международ·ые с'езды, как представитель русского государства, и вместо блестящей ·жебной карьеры попадает в центральную вышневолоцкую тюрьму, чтобы /титься в Западной Сибири. Он выступает в 70-х годах с статьями: «Кате·-социалисты в Германии», — статьями, которые мы, тогдашние студенты, ıзательно читали, он пишет в «Русском богатстве» времен Н. К. Михай·ского статьи о государственной росписи, которые знатоки считают лучми статьями по государственному бюджету, — и не делается настоящим ателем в меру своего роста.

Он широко организует земское статистическое дело, — о статистиках орят: «школы Анненского», и все знавшие его видели и сознавали, что для него полудело, что оно использует только часть большого, много ренного Анненского.

Покойный профессор А. И. Чупров передавал мне, как поражены были , участники статистического с'езда в Москве, когда Анненский на про·ении двух часов говорил, без бумаги, без записок доклад по постановке ской статистики, оперируя с огромными цифрами. Такова была его маатическая память. И он же помнил мотивы всех опер — он был любитель ·ыки, — какие он слышал в России и за границей, и он же мог цитировать зусть речи Цицерона и по-гречески целые страницы из Гомера. Он, точı ум, знаток финансовых и политико-экономических вопросов, был тонценитель западно-европейского искусства от Дюрера и Рембрандта до ·лы новейших художников.

И все это освещалось страстным, я бы сказал: буйным, темперамен-, не терпевшим полуслов, полурешений, так часто поднимавшим этого вительно доброго и деликатного человека до гнева и страстного обличе-. Он был блестящий оратор, настоящий оратор, из тех, которые зара·ются толпой и заражают толпу. И особенностью Анненского была комбиıия пафоса и юмора — высокого пафоса и яркого юмора, равного котоу я опять-таки не встречал в жизни.

И вот встает вопрос: почему так мало осталось от него?

Потому, что он родился в России, жил в России, потому что русская действительность не давала возможности проявиться во весь рост такому человеку, как Анненский. Потому, что он был предуготованный лидер, организатор, политический вождь. Анненский не годился для подполья, для конспирации, — он был трибун широких эстрад, площадей, баррикад.

Только в конце жизни, точно смеясь, русская действительность позвала его и хотя в малой степени использовала его. Он стал председателем банкетов и митингов перед и во время первой революции 1905 года, и характерно, что как-то сразу, по какому-то безмолвному сговору революционные люди разных направлений искали и звали Анненского, как председателя и оратора, и что больной, с тяжелым артериосклерозом, гипертрофированным сердцем, не зная покоя и отдыха, он весь ушел в дело, которого ждал всю жизнь. И здесь все еще можно было видеть Анненского с его страстью, с его гневом и пафосом.

Я не могу забыть, как приехал ко мне в Ниццу на мое попечение незадолго до своей смерти Анненский, — приехал тяжело больной, еле двигавшийся от одышки, с измученным, износившимся, отказывавшимся служить сердцем. И мне стоило большого труда уговорить его не участвовать в демонстрации на кладбище, на могиле Герцена, во время устраивавшегося тогда торжества памяти Герцена, и не выступать на банкете, устроенном в той же гостинице, где я его поместил. Он все-таки нарушил мой запрет и сказал на банкете, — не мог не сказать, — прерывающимся голосом несколько слов о Герцене, которого он так высоко ценил и — прибавлю — с которым у него было так много общего в его духовной организации.

Владимир Галактионович Короленко был другого склада души.

Он рано определился, как человек, и сложился таким, каким оставался всю жизнь, рано наметил себе ту дорогу, свою дорогу, по которой шел всю жизнь. Он был студентом в Москве и Петербурге в 70-х годах, во время под'ема революционного движения, и не сделался человеком партии. Но он был человеком строгим к себе, с огромной внутренней дисциплиной, человеком неумолимой совести, он питал отвращение, был полон ненависти к насилию, лжи, обману, позе, — он сделался беспартийным революционером. И тогдашняя русская жизнь, полная насилия и беззакония, повелительно звала к себе, не позволяла таким людям, как Короленко, благодушно сидеть в келье под елью и удовлетворяться мирной обывательской жизнью и хотя бы высоко художественной работой.

Владимир Галактионович скоро нашел себя и как писателя. Еще студентом письмом в петербургскую газету о студенческой истории в Петровской академии он начал свою литературную деятельность. Еще юношей он напечатал в журнале «Слово» свой первый беллетристический рассказ. И потом во время ссылок, в Березовском починке, в каменном мешке Тобольска, в Якутской области, в Нижнем, в Петербурге, в Полтаве — он обра-

іся к жизни писательским лицом, и литературу, свои писания, он сделал зным орудием своей борьбы с неправдой, с насилием.

А по существу, по складу натуры он был писатель-художник, созерцаь, с тонким художественным проникновением жизни. Его тянуло к художтвенности, и я знал, что он лучше всего чувствовал себя за письменным лом, когда он мог отдаваться своим художественным замыслам.

И когда кончились ссылки и Владимир Галактионович поселился вНиж-, казалось, все сложилось так, чтобы он мог широко использовать себя, художник. После «Сна Макара» он сразу очутился в первых рядах лиатуры и мог не служить. В гости он ходил только к немногим из нашей имной компании, не часто бывал в театре, был равнодушен к музыке [1].

Любимыми его развлечениями были физический труд, к которому, поімому, пристрастился во время жизни в якутской ссылке, — я встречал особенно веселым и оживленным, когда заставал за рубкой дров, таскаи воды или видал его возвращающимся после длинных путешествий ком «за иконой», по Поволжью, после плавания в лодочке по глухим олжским речкам. В одном из писем его ко мне из Полтавы, он с особой достью отмечал, что доктора позволили ему рубить дрова.

И жизнь свою он устроил подходяще. Поселился в тихой уличке, в деевянном домике, окруженном большим садом. Семья была большая. Кроме ены и детей с ним жила мать его, тетка, брат Илларион, а в нижнем этаже мья сестры его — Лошкаревых. Семья была крепкая, спаянная, согласная, ного тона с ним, без любви к вечерам, без обывательской атмосферы, — брат и Лошкаревы также прошли чрез ссылку. Казалось, здесь бы и разрнуться Владимиру Галактионовичу во всю ширь...

А не вышло... Не вышло того, что, вероятно, вышло бы, если бы Короленко жил в Англии, во Франции, в Германии, где он мог бы исписать бя всего, оставить после себя томы художественных произведений, а не отя и прекрасное, но небольшое для таланта Владимира Галактионовича дожественное наследство, которое он оставил.

Но он был русский и жил в России. Кроме кабинета и письменного ола и художественных замыслов его тянула к себе улица, к которой он тко прислушивался, в которую зорко всматривался, — улица со всем тем, о было тогда на русской улице. И в конце концов улица победила кабинет увела Короленко к себе от письменного стола, от художественных мыслов.

К нему шли люди. Приходили земцы узнать мысли Владимира Галакионовича, посоветоваться и... оправдаться пред ним. Приходили разные оди с своими обидами и горестями. Являлись павловские кустари, приезали люди из уездов. Шли за советами и указаниями молодые, начинающие сатели, проезжавшие ссыльные неизменно останавливались в Нижнем, обы повидаться с Владимиром Галактионовичем, заходили познакомиться оезжавшие через Нижний писатели, художники. Я долго лечил мать Вла-

[1] Он любил живопись, тонко ценил ее и сам недурно рисовал.

димира Галактионовича, а когда заболевали дети, случалось по неделям ежедневно бывать в семье, и я нечасто даже в утренние, самые дорогие для писателя часы заставал его одного в кабинете.

И мне приходилось наблюдать, как шаг за шагом, год за годом улица уводила Короленко от его дела писателя-художника. Надолго увлекла — он весь вошел на борьбу с дворянским засильем и нижегородским беззаконием, потом увезла его в Лукояновский уезд, помогать голодавшему крестьянству и бороться с лукояновскими помещиками, потом увела его далеко на Мултанское дело. А потом дело об избиении полтавских крестьян, дело Бейлиса, вплоть до того времени, когда вся Россия из дальних углов ее стала стучаться в сердце и разум Владимира Галактионовича с своими обидами, с своими «бытовыми явлениями».

Художественные замыслы не додумывались, рассказы не дописывались, все росли горы записных книжек, а письменный стол все больше и больше загромождался письмами незнаемых людей и рукописями начинающих писателей, в особенности начинавших подниматься тогда из народа писателей, требовавших подробных и обстоятельных отзывов и получавших таковые.

Когда я в первый раз писал о В. Г. Короленко, — об этом исключительно чистом, ясном и светлом человеке, — у меня как-то невольно подвернулось заглавие: «В белых ризах». Поистину в белых, незапятнанных ризах прошел свою жизнь В. Г. Короленко. И, оглядываясь на прошлое, я думаю, что прожитое мною десятилетие в Нижнем-Новгороде можно назвать нижегородским периодом Короленко и Анненского, как последующий период — периодом Горького.

А в России шла тогда темная и дикая реакция. «Дворянский» царь Александр III отбирал назад то, что дал его более умный отец, и открыто стремился поворотить Россию к давнему, отжитому крепостничеству. «Слушайтесь ваших предводителей дворянства!» — вот все, что унесли крестьяне, бывшие на коронации нового царя. Устранены были выборные мировые судьи и поставлены были над крестьянами дворяне — земские начальники, издавались распоряжения не учить крестьянских детей в школах считать дальше тысячи, раздавались окрики на «кухаркиных детей», восстановлено было телесное наказание для крестьян. Урезывали и сжимали земство, давили печать, ломали суд, во-всю работал департамент полиции.

Реакция была дикая, реакция глупая. Когда я оглядываюсь назад на этих двух разрушителей идеи монархии в России, — Александра III и Николая II, — мне кажется, как будто там вверху в центре власти сидел кто-то враг, кто направлял все действия власти на погибель самодержавия и династии.

Они были не умны, державные люди, когда хотели подпереть шатавшееся здание такими гнилыми подпорками, как дворянство, умиравшее естественной смертью, близкое к агонии. Они были не умны, когда чрез тридцать лет после отмены крепостного права, когда выросло новое крестьянское поколение, не знавшее крепости, для которого уже дико звучала старая

абская формула обращения к помещикам: «вы наши отцы, мы ваши дети», здумали восстановлять крепостное право. Они были не умны, когда решиись ломать суд, земские учреждения, уже глубоко вклинившиеся в русскую изнь. И не умен был умнейший из них, Витте, когда чрез четверть века изни этого земства подавал царю доклад о несовместимости земских учреждений с самодержавием.

Они были глупы, когда за студенческие, только студенческие беспоядки тысячи студентов выбрасывали из высших учебных заведений, высыали на родину, ссылали в ссылку, отдавали в солдаты, расселяли по широому лицу русской земли и тем самым не давали несложившимся юношам делаться докторами, адвокатами, инженерами, учеными людьми, нередко ыстро забывавшими юношеские бредни, не давали обрастать обывательским лагополучием, а самой обстановкой жизни революционизировали их, наопляли ими ряды революционных организаций, ряды третьего элемента, деали из них на местах бродило революционно-оппозиционного настроения.

Они были еще более глупы, когда за стачки, — за стачки на экономиеской почве, — тысячи рабочих выбрасывали с фабрик, сажали в тюрьмы, сылали в ссылки, заставляли расселяться по дальним местам. Рабочие учились в тюрьмах, получали в ссылках образование, которое некогда было им пополнять в условиях фабрично-заводского труда, возвращались из тюрем и ссылок закаленные, вооруженные знанием и растекались по России, чтобы организовывать новые революционные гнезда в далеких от центров местах.

Они, люди власти, были глухи и слепы, они не видели и не слышали, что вода все прибывает — с полей, с гор и долин, не слышали угрожающего шума ее и все затыкали дыры рвавшейся плотины, все вбивали в нее новые гнилые сваи, пока бурный вал не разорвал плотину сверху донизу и не рассеял по бревнышку старую государственную мельницу. Они были не умны, глухи и слепы, когда, заперши революционеров Народной воли в Шлиссельбургскую крепость, думали, что революция разгромлена, когда немного лет до революции, в то время как Россия уже начинала вздрагивать от волнений, — генерал Пантелеев, при посещении Шлиссельбурга, тоном победителя говорил заключенному Н. А. Морозову:

— Вы боролись против самодержавия, а самодержавие теперь крепче чем когда-либо!..

Они учитывали тогдашнее приуменьшение террора и снижение народнической волны, но недооценивали значения поднимавшейся новой социалдемократической волны. Они боялись всякой организованности рабочих и всячески стремились распылить ее, но не понимали всего значения этой организованности и последствий распыления.

Некоторым оправданием самонадеянной глупости людей власти служило молчание, пассивность так называемого «общества» — это было время чеховских сумерок, чеховских «хмурых людей». В 80-х годах была, чувствовавшаяся в особенности в провинции, общая подавленность. Общество, пережившее во времена деятельности партии Народной воли некоторое пробуждение и возбуждение, казалось, говорило революционерам: «Вы обещали

освободить нас, а ничего не вышло» — и вернулось к своей мирной обывательской жизни до 90-х годов, когда снова начался общий под'ем.

И тем страннее была шумная, оживленная жизнь в Н.-Новгороде, где оди все-таки боролись и одерживали победы — пусть маленькие победы, ,е не чувствовалось, мало чувствовалось хмурых, унылых чеховских людей.

Холера.

В 1892 году пришла весть о холере. Она двигалась с низу Волги из :трахани и Царицына, как грозная туча, с страшными вспышками страш-ıх огней. Неслись, как громовые раскаты, слухи о том, что делалось в ни-ıвьях Волги, — об убийствах врачей, о растерзании на улицах неповинных эдей. Она шла быстро, она бежала, — пароходами, поездами, и телеграммы ва успевали сообщать об этапах, которые она проходила, — Саратов, Сим-ıрск, Самара, Казань, — и вот она уже у ворот Нижнего-Новгорода.

Нижний-Новгород готовился — и, нужно отдать справедливость, гото-:лся, как нигде. Слишком велика была опасность для предстоявшей яр-ıрки и разноса из нее холеры по всем направлениям, — и денег не жалели. ıло приглашено очень много врачей, явились во множестве студенты-ме-ки высших курсов. Среди города и ярмарки рассыпаны были пункты пер-й подачи помощи с дежурившим день и ночь медицинским персоналом, ıроко были поставлены бактериологические исследования в городе и на марке. Наученная горьким опытом нелепых распоряжений администрации ıзовых волжских городов, нижегородская администрация не делала тайны широко оповещала население о ходе эпидемии. Хоронила с отпеванием ховенства, допускала родных.

А слухи в низах населения росли мрачные, угрожающие. Говорили об 'равлениях докторами колодезей и людей, о каких-то распоряжениях ерху травить людей, о зарывании в землю не успевших помереть людей. ıмым популярным был рассказ, как несли хоронить обсыпанного извест-ıй холерного и как он вдруг поднялся из гроба и стал звать народ на по-ıщь. И люди, конечно, рассказывали, что сами видели такие случаи. Один ıестьянин рассказывал моему знакомому за достоверное, что англичанка пугалась, что в России очень много разродилось народу, и подкупила док-ıров и начальство морить людей, чтобы убавить русского народу. Другой ıестьянин подгородней деревни лично мне рассказывал, что бегает по де-вням маленький человечек с зайца, и где пробежит, там и мрет народ. И счет отравы тоже верно, — отчего раки мрут? — даже так, что вылезают воды и на берегу умирают [1]).

Настроение Нижнего базара, набережной и Канавина было грозное. только что выстроенные, еще пустые холерные бараки ночью полетели мни и кого-то, кажется, фельдшерицу, ранили. По вечерам, когда мне ıиходилось навещать больных на Нижнем базаре, я видал подозрительные

[1]) В то лето раки вымерли во всей Волге и во всех притоках, кроме—говорили :—двух каких-то лесных рек выше Рыбинска.

учки народа, замолкавшие при моем приближении и провожавшие угрюыми взглядами мою соломенную шляпу. Появился грозный приказ губернаора Баранова с обещанием вешать за беспорядки. Кого-то публично выпооли за распространение ложных слухов.

Холера пришла. И чуть ли не с первым случаем пришлось встретиться іне, — не на ярмарке, а в городе, рядом с моей квартирой. То был буфетчик парохода, только что прибывшего из Астрахани, перемогавшийся на паоходе и успевший добраться до дому. А потом стало «похватывать», и ыстро эпидемия развернулась во всю силу массовыми заболеваниями. Пунты подачи первой помощи стали работать во-всю, и так как все делалось ласно, на виду у всех, и медицинский персонал подобрался тактичный, — олковые студенты и молодые врачи не тащили принудительно в бараки, а, огда можно было, лечили на дому, — настроение сравнительно быстро улегось, и того, что происходило в низовьях Волги, в Нижнем-Новгороде не овторилось.

Было любопытно наблюдать панику, которая овладела людьми. Слово холера» не произносилось, — говорили: «она». Людям страшно было самое слово, и, случалось, даже интеллигентные люди спрашивали меня:

— Ну, как она?

И когда меня звали к больному, я уже просто спрашивал:

— Она?

И мне отвечали:

— Должно быть, она.

Были люди, запиравшиеся наглухо по домам, боявшиеся глотнуть воздуха улицы. Были случаи психических заболеваний от этой паники. Помню один случай. Пришла женщина звать к заболевшему мужу: «Несет, раз вырвало, а теперь корежить стало». Купец из Вятской губернии, приехавший на ярмарку за товаром, лежал на диване с здоровым упитанным лицом, и только глаза дико и испуганно глядели на меня. При моем входе у него начались судороги рук, показавшиеся мне странными, плохой имитацией настоящих холерных судорог. Я схватил его руки, положил вдоль тела и крикнул:

— Не сметь! Лежите смирно...

Судороги прекратились, а купец плаксивым тоном говорил мне:

— Что это, господин доктор? Меня ведет, а вы кричите на меня!

Я просидел полчаса, новые судороги при первом моем окрике прекращались, но после моего ухода снова началась имитация холеры. Пришлось отправить его в психиатрическую лечебницу, где он пролежал около двух месяцев. Я следил за ним, и доктор Кащенко говорил мне, что это был не единственнный случай.

Приходили звать к больным вечером, особенно ночью, чтобы люди не видали, чтобы полиция не узнала, чтобы не взяли в барак, не засыпали бы известкой. Общее настроение улеглось, но от страха и страшных рассказов люди медленно освобождались.

Приходит как-то поздним вечером с таинственным видом женщина ..ать к мужу, содержателю постоялого двора в Канавине, которого за-..ала «она».

— Возьмите, сколько хотите, только чтобы не узнали. И чтобы этой ..инфекции не было. Сам знаешь, ярмарка, постояльцы разбегутся.

Я долго уговаривал ее подчиниться законному требованию, обещал, ..о не потащу больного в барак, она выслушала, но ушла и больше не воз-..ащалась. И, конечно, ее постоялый двор продолжал работать.

Повторяю, борьба с холерой в эту эпидемию была поставлена лучше, ..м в любом губернском городе, и, тем не менее, я тогда уже понял, на-..олько всякие угрозы — мелочные стеснительные предписания, принуди-..льное помещение больных в бараки, самая постройка отдельных, специаль-..х, да еще иногда выкрашенных в особую краску бараков, а не приспо-..бление основных больниц, к которым население привыкло, все эти «из-..тки», скоропалительная и в большинстве случаев бестолковая дезинфек-..я, обливание керосином, и я не помню, чем еще, привозимых в город огур-..в [1]) и свежей зелени, — как все это нервировало население, увеличивало ..нику, заставляло скрывать больных и сводило на-нет самые разумные на-..нания.

В то время как губернаторские приказы грозили тяжелыми наказа-..ями за сокрытие холерных заболеваний, холера свободно разгуливала в ..ых опасных местах, вроде упомянутого постоялого двора. Помню, наде-..ли большого шума заболевания в одной из крупных ярмарочных гости-..ц, — вымерла чуть не вся семья содержателя гостиницы. Как раз пришел ..мне старик-повар из этой гостиницы, долго лечившийся у меня зимой от ..алича, и на мой вопрос, как это у них в гостинице вдруг оказалось ..лько заболеваний, — улыбаясь, ответил:

— Какое вдруг! Перво-на-перво прачку схватило, — домой поехала, ..еревню, да не доехала. Тоже дворник в одночасье кончился. Мой подруч-..й по кухне здорово захворал-было, но отошел, — крапивой оттерли.

И вот холера работала в низах гостиницы, никому не ведомая, скры-..мая, пока не перебралась в верхние этажи.

И начальство долго не знало, что ярмарочные бани стали своего рода ..ебным учреждением. Мясник из лавки, здоровенный парень, простодушно ..сказывал про способы лечения:

— Как из наших кто заболеет, — сейчас в баню, — банщику трешн-..у, раскалит, значит, и на полке вениками жарит. А почнет корежить,— ..даем, работаем. Его ведет, руки-ноги в одну сторону, а мы оттягиваем в ..гую, и хозяина отхаживали, так двое оттибали, — здоровенный.

---

[1]) В Нижнем сваливали в овраги облитые керосином огурцы, а знакомый врач ..нался мне, что они, врачи, у себя в Торжке разрешали продавать огурцы и яблоки, ..ко предварительно обливали их легким раствором сулемы. — Легким,—подчеркнул ..Нужно думать, что в других городах находились столь же старательные и заботли-..врачи, принимавшие не менее рациональные меры.

Для меня довольно скоро выяснились особенности тогдашней идемии. Бросались в глаза массовые поносы. Как за год перед тем в ромную эпидемию инфлюэнцы, когда заболевали не только люди, и лошади и кошки, — половина Нижнего кашляла и лихорадила, — к теперь Нижний «несло». И скоро вскрылся другой важный факт, — этих поносах, не доходивших до судорог и даже до рвоты, — при ссовых исследованиях часто находили в той или иной мере холерные бациллы. Было очевидно, что как при инфлюэнце, так и теперь при холере фекция захватила громадную массу населения и что рядом с резко выраженными, классическими формами было много — думаю, чрезвычайно много — учаев недоразвившейся, так сказать, амбулаторной холеры, переносившейся на ногах.

И второй, в практическом отношении не менее важный, факт. Из наюдения над большим количеством холерных, прошедших чрез мои руки, пришел к заключению, что холера сравнительно редко начинается сразу что своевременное лечение гораздо более действительно, чем принято думать. Так называемой «сухой», «молниеносной» холеры за все время эпидемии мне пришлось встретить только два случая, — один — приказчик из знакомого магазина, вернувшийся в шесть часов утра после ночного кутежа и через два часа умерший почти без поноса и рвоты, но с сильнейшими судорогами, и второй — перс, заболевший вечером, которого я ночью застал уже без пульса, похолодевшим.

Обычный, средний темп холерного заболевания был таков: полсутки, иногда сутки понос, характерный для холеры, и потом уже быстро нарастающая слабость, рвота и судороги. Не всегда и своевременное лечение достигало цели, и люди погибали, но у меня осталось впечатление, что лечение, начатое в самом начале поносов, помогало и уже при полной картине болезни чаще, чем я думал на основании литературных данных и пессимистических рассказов старых нижегородских врачей, переживших холеру 1871/72 года. И я убежден, что смертность от холеры гораздо ниже приводимых цифр, так как официальная статистика основывается, главным образом, на данных лечебных учреждений и не учитывает — не может учитывать! — легких случаев, амбулаторной холеры.

Скоро началась моя большая работа «на Песках». По летам во время ярмарки я состоял врачом, — по частному соглашению, — на так называемых «Гребневских песках». Это была узкая, длинная полоса песков, встававшая из Оки после половодья, где выстраивались узкой и длинной полосой балаганы с уральским железом и где сосредоточивалась ярмарочная торговля металлическими изделиями. Каждый завод имел свой балаган, где жили все ярмарочное время служащие со своими семьями, водоливы, сторожа и к которым примыкали грузчики, по нижегородской терминологии «ягутки», которых набиралось на Песках больше двух тысяч. Моя служба начиналась с 15 июля, дня официального открытия ярмарки, и продолжалась до фактического конца ее в сентябре, когда Пески пустели и балаганы разбирались до следующего года.

В этот раз еще в начале июня, как только прибыли на Пески суда с уральским железом, ко мне явился доверенный Кыштымских заводов с просьбой немедленно начать работу на Песках. Холеры в Нижнем еще не было, но в Казани и на Каме она уже была. Грозные слухи все нарастали, и паника в балаганах была огромная. Доверенный рассказал мне, что рабочие собираются уезжать домой на Урал, что отказываются от службы даже старые водоливы, служащие на заводе по 20 лет, что некому стало откачивать воду и что суда, из которых еще не успели выгрузить железо, могут затонуть. Я предупредил доверенного, что отговаривать и убеждать остаться никого не буду, только расскажу рабочим о холере, чего бояться и как предохранить себя от заболевания. И поставил свои условия вступления в должность, — чтобы всем ежедневно выдавали горячую мясную пищу, чтобы сделали нары, а не валялись бы люди на сыром песке, и чтобы устроены были баки с кипяченой водой, куда бы вливалось в известной пропорции красное вино для всех, работающих в балагане.

Нечего и говорить, что, ввиду огромной опасности для судов, все мои условия доверенным были приняты, — я поехал на Пески. Балаган был полон народа. Явились служащие, водоливы, рабочие, — лица были угрюмые, настроение настороженное. В задних рядах виднелись люди с узлами, с сундуками за плечами, очевидно, собравшиеся итти на пароход. Набрались люди из соседних балаганов. Я сказал маленькую лекцию о том, что́ такое холера, как она схватывает людей, как нужно жить при ней, чем питаться, чего бояться, — все то, что я перечитал и о чем передумал. Слушали угрюмо. Из задних рядов донесся возглас:

— Чего разговаривать! На пароход опоздаем...

Но постепенно настроение становилось мягче, слушали внимательнее, ближе проталкивались, стали задавать вопросы:

— Что слышно про нее?

Я ответил, что она уже в Казани и перекинулась на Каму. В заключение я сказал в присутствии доверенного об условиях, на которых я вступил в работу — они были тотчас выполнены, — а собравшимся уезжать сказал несколько слов о том, как они должны держаться в пути, чтобы не заболеть. Из толпы выдвинулся старый бородатый водолив, который иногда подлечивался у меня в предшествовавший год.

— Посоветуйте, доктор, скажите по правде, — ехать или оставаться?

Я знал, что пароходы, на которых болели и умирали в пути, были заражены и плохо дезинфицировались, что люди поедут навстречу холере, и был убежден, что лучше оставаться, чем уезжать, но я не хотел брать на себя ответственности за возможные заболевания и неизбежные в будущем упреки и ответил, что ни уговаривать, ни отговаривать не буду, что я все сказал по совести и что пусть они сами решают, ехать или оставаться. Кажется, кое-кто уехал из соседних балаганов, но в Кыштымском балагане все остались, и я видел, как люди снимали с себя узлы и сундучки. И для меня было потом великой радостью, что в этом балагане не было холерных заболеваний.

Меня стали приглашать в другие балаганы, заведующие принимали мои условия, и мне приходилось вести много бесед с рабочими балаганов и с грузчиками.

Мои знакомые пугали меня «ягутками», но все обошлось благополучно. Очень помогла удача лечения скоро начавшихся массовых поносов. Несколько раз так случалось, что обращавшиеся во время моих обходов балаганов за советом благополучно поправлялись, а не обращавшихся больных такими же поносами ночью отвозили в холерный барак. Это быстро разнеслось по Пескам, рабочие сами рассказывали мне об этих случаях, и обращения стали многочисленнее и сразу установилось доверие ко мне и превосходные отношения. Помню, перед 1 августа меня обступила толпа грузчиков и стала советоваться со мной насчет еды в предстоявший успенский пост. Мы стали разбирать возможное постное питание — пришлые грузчики не получали еды из балаганов и кормились сами, — все выходили только огурцы и лук, вобла и квас, сваренный неизвестно из какой воды, и после общего обсуждения решили на этот раз не соблюдать поста и есть скоромное. Я следил, чтобы везде, где приняты были мои условия, выдавалась горячая мясная пища и была кипяченая вода с красным вином, — густой кавказский чихирь — красное вино — покупался бочками и стоил на ярмарке тогда 80 копеек за ведро. Работать было приятно, несмотря на плохие санитарные условия. Пески дали наименьший процент холерных заболеваний сравнительно с другими ярмарочными районами. Быть может, помогла и разбросанность балаганов и отдаленность от города и ярмарочного центра.

Много значило, что я был «вольный» доктор, а не «казенный» и присланный специально на холеру, что меня знали и в городе, и на Песках, что я был привычное, как привычна была обычная больница в сравнении с специально выстроенными бараками. В самый разгар холеры у моей жены вышел такой разговор с знакомым крестьянином, отвозившим ее на дачу. После подробных рассказов крестьянина, как доктора и начальство морят людей, жена спросила:

— Ну, вот, вы знаете моего мужа... как вы думаете, — будет он морить людей?

— Ну, вот еще?.. Мы Сергея Яковлевича знаем, — он вольный доктор. Какой ему интерес морить людей? Не казенный...

Мне пришлось рано переехать на ярмарку и работать во-всю. И потому, что я был вольный доктор и другие вольные доктора с'ехались только с открытием ярмарки, ко мне много обращались. В силу упомянутой паники обращались, главным образом, в сумерки и ночью. Работать приходилось день и ночь; за три с половиной месяца, проведенные мною на ярмарке, — Пески пустели только в сентябре — мне приходилось спать не больше двух-трех часов в сутки.

На следующее лето эпидемия снова вспыхнула, но в гораздо меньших размерах. И интересно отметить, что в городе заболеваний было мало, а на ярмарке чаще всего заболевали купцы и служащие, побоявшиеся приезжать

в предшествовавшую ярмарку, — очевидно, население получило иммунитет. Мне показалось, что отдельные заболевания были злее. Единичные случаи олеры наблюдались и на третье лето.

Первая поездка за границу.

У меня всегда были крепкие, здоровые нервы и большая выносливость работе, но четыре месяца напряженной работы на ярмарке с недостаточым сном не прошли безнаказанно. Я устал, стал плохо спать, когда уже ог спать, а главное — осенью стала подниматься, правда не высоко, темература, привязался упорный кашель, — я боялся, чтобы не возвратился ой старый туберкулез, и зимой направился в Ниццу. В то время русские рачи меньше знали южный берег Крыма, чем французскую Ривьеру, и этом мне давно хотелось побывать за границей.

То удрученное, подавленное настроение, с которым я выехал из Нижего, долго продолжалось, пока не глянула мне в глаза около Генуи январкая Ривьера с морем, солнцем, с незнакомой мне роскошью цветов, краок и линий. В Ницце я опьянел от окружавшей меня красоты, — от моря, оторое я видел в первый раз, от яркого солнца, от синего неба, от зревих зимой апельсинов и лимонов. Я стал не ходить, а бегать, — одышка кашель скоро прошли, — и чем дальше, тем больше. Я начал ежедневно лать большие прогулки, иногда в 20 и больше километров; исходил Corche — горную дорогу высоко над морем, ходил пешком в Антиб, в Менону. А потом бросил Бедекер и насиженные места и пошел в горы, по опинкам, на глазомер, в маленькие средневековые городки, где улицы под ками, где площади величиной не в очень большую комнату, где дома леітся по скале друг к дружке, как птичьи гнезда, завтракать в горных ухих деревушках, о которых Бедекер ничего не говорит и куда иноранцы не заходят. И возвращался в Ниццу усталый, переполненный всем, о видел, и спал долгим, мертвым сном.

И все было удачливо в этот раз. Я остановился в дальнем углу Набежной, в маленьком отельчике, где не жило ни одного иностранца и оставливались только приезжавшие за покупками торговцы из окрестностей, парижане, обладавшие такими же скудными средствами, как и я. Моя мната была маленькая со сводами, — в четырех углах — медальоны, в одм нарисован Петрарка, — а надо мной вместо следующего этажа — бульр, где в старые времена, когда Ницца была еще итальянской и когда потали там Петрарку — разгуливали старые ниццары. А в окно глядело соем близкое море, от которого меня отделяла только узенькая набережная, е не фланировали иностранцы, не гремели экипажи, а только играли ницкие дети, как играл когда-то на этой набережной маленький рыбацкий льчик — Гарибальди. Рядом было «шато», — та старая крепость, что гда-то оберегала Ниццу.

На другой же день по приезде портье, сдавший мне комнату, узнав, что я русский доктор, просил полечить его жену, болевшую рожей.

жа естественно оканчивалась, но портье был убежден и рассказывал дру-
и жильцам, что я своим лекарством в один день вылечил его жену, чего
могли сделать ниццские врачи. В результате ко мне обратился один из
рижан с просьбой полечить его больную печень, но главное — установи-
:ь прочная дружба с портье. Когда я через много лет приехал в Ниццу —
ртье и его жена встретили меня, как старого друга, сбавили мне плату
комнату и оказывали всякие мелкие услуги.

Вся жизнь в Ницце сложилась удачно. Первый, с кем я познакомился в
цце, был давний русский эмигрант — доктор Эльсниц[1]). Он был привле-
н в конце 60-х годов за Полунинскую историю, эмигрировал, долго жил
Швейцарии эмигрантской жизнью, сотрудничал в русских газетах, а в
нце концов окончил Парижский университет и после работы сельским
ачом в глубине Франции прочно обосновался в Ницце. Эльсниц уже на-
рализировался, но не забывал, что он русский, и охотно устраивал и ле-
л интеллигентных русских, приезжавших в Ниццу с малыми средствами,
практикуя среди русской аристократии, заполнявшей тогда Ривьеру, дер-
лся независимо. Долго спустя я прочитал в русских газетах корреспон-
денцию из Ниццы, как к доктору Эльсницу явился известный предводитель
карательных экспедиций генерал Меллер-Закомельский за каким-то меди-
цинским свидетельством и как Эльсниц, услышавши от генерала, что он «тот
самый», крикнул: «Вон!» и выгнал победоносного генерала из своей
квартиры.

Доктор Н. А. Белоголовый.

Скоро я познакомился с давно уже поселившимся за границей докто-
ром Белоголовым. Может быть, потому, что около этого времени в «Вест-
нике Европы» появился мой рассказ «Гектор», о котором ему что-то пи-
сали из редакции, — рассказ из жизни Сибири, которую не забывал сиби-
ряк-Белоголовый, я принят был чрезвычайно радушно. Он был центром, во-
круг которого группировались проживавшие тогда в Ницце заметные люди
из русской литературы. В этом большого роста серьезном человеке, мед-
лительном в своих речах, всегда правдивых и значительных, было нечто,
привлекавшее доверие и уважение к нему. Он был друг и постоянный врач
Салтыкова-Щедрина и много рассказывал мне об этом суровом и строгом
человеке, приблизил меня для понимания этого исключительного по своему
значению русского писателя. Белоголовый пользовался большой известно-
стью в Петербурге, и, кажется, большинство известных представителей пе-
тербургской интеллигенции второй половины 60-х и начала 70-х годов, с
Некрасовым во главе, были или пациенты, или знакомые его.

Они вместе — трое — окончили Московский университет, — он, За-
харьин и Боткин. С Захарьиным они потом разошлись, но с Сергеем Петро-
вичем Боткиным и с его семьей у него оставалась крепкая дружба. Он лечил

[1]) Он давно умер. Теперь в Ницце практикует сын его, известный своими рабо-
ами по детским болезням.

Боткина, когда тот болел, и, кажется, на его руках Боткин и умер, — я помню рассказ Белоголового, как Боткин только пред смертью согласился с ним, что умирает от сигар, которые много курил и против чего бесплодно восставал Белоголовый.

И в Ницце Белоголовый пользовался огромной популярностью и был один из тех, кто, как и Боткин, подняли высоко престиж русского врача за границей. Он был уже старый, у него была аневризма аорты и, кажется, еще где-то аневризма и принимал он в день только одного больного, которому отдавал час-полтора времени. Чтобы попасть к Белоголовому, нужно было записываться за две-за три недели, и к нему записывались не только русские, но и французы и англичане.

Белоголовые были бездетны, и нежная любовь соединяла этого большого, на вид сурового человека и его маленькую жену, которую он называл Софочкой, с той же должно быть лаской, как и в первое время супружества.

Мы уговорились с Белоголовым свидеться в Лозанне, куда он должен был переехать ранней весной. Я ездил из Ниццы в Италию и Швейцарию и, когда отправился пешком кругом Женевского озера по дороге в Париж, остановился на день в Лозанне. Белоголовый познакомил меня с Ал. Ал. Герценом, профессором Лозанского университета, — сыном А. И. Герцена. Нужно знать, как мы, тогдашние люди, относились к А. И. Герцену, чтобы понять ту жадность, с какой я стремился встретить следы его жизни, увидеть какую-либо памятку от его близких, от его сына. К сожалению, Белоголовый должен был уезжать из Лозанны, а один я совестился отнимать время у занятого человека, но памятку я все-таки получил. Ал. Ал. предоставил мне большой альбом писем к А. И. Герцену разных крупных людей Европы. Я, хотя и наспех, успел прочитать несколько интересных писем, и в памяти у меня остались находившиеся рядом два письма к Герцену, — короткое, простое, лаконичное, но и сердечное письмо Гарибальди и напыщенное с элоквенцией письмо Виктора Гюго, где все было: «вы, как и я», «я, как и вы» и где было больше «я», чем «вы».

Петр Дм. Боборыкин.

При первом же свидании Белоголовый пригласил меня участвовать в еженедельных коллективных обедах. Обеды устраивались в том же русском пансионе, где жили Белоголовые. Число обедающих было ограничено, и всегда являлись одни и те же лица: кроме доктора Эльсница, П. Дм. Боборыкин с женой, М. М. Ковалевский, редактор «Русских ведомостей» В. М. Соболевский с Варв. Ал. Морозовой и старик, давний знакомый Белоголового, не помню, имевший ли какое-либо отношение к литературе.

С Боборыкиным я встречался первый раз, и, помню, пред обедом Белоголовый предупредил меня:

— Пожалуйста, С. Я., не очень спорьте с Боборыкиным...

И на мой недоумевающий вопрос добавил:

— Он вспыхивает, как порох, и становится невменяемым.

А жена, Софья Петровна, добавила:

— Кричит... Красные пятна пойдут по лицу.

На этот раз обед прошел благополучно, но я потом часто вспоминал предупреждение Белоголовых. Боборыкин и действительно вспыхивал, как порох, когда встречал резкое противоречие или когда дело касалось так или иначе его литературной деятельности. Долго спустя М. М. Ковалевский, смеясь, рассказывал мне бурную сцену за столом во время обеда у него на вилле в Болье. Приезжие из России литературные люди рассказывали за обедом, что они заезжали в Базель навестить места, где жил и работал Ницше, и, очевидно, много говорили о Ницше, — и вдруг присутствовавший за обедом Боборыкин вскочил и разразился гневной тирадой, что вот русские люди разыскивают по заграницам следы жизни иностранных людей, а его, Боборыкина, произведений, наверное, не читают.

Как-то раз он зазвал меня к себе. Я пришел около 12 часов, когда он только что окончил свою утреннюю работу и, довольный и веселый, указал мне на груду исписанных листов. Очевидно, он знал, что я что-то пописывал.

— Вот вы, молодые писатели, все только маленькие рассказы пишете, кусочки жизни берете... Так нельзя, — нужны широкие полотна... — И прибавил: — Вот я, — вы знаете, как я работаю? Когда я задумал вещь, — кладу полстопы бумаги и пишу: «Роман или повесть», часть первая, глава первая...

Я обещал Боборыкину непременно попробовать так же сделать.

П. Д. Боборыкин пришелся не ко двору в русской литературе. Его время, начиная с 60-х годов, когда он начал писать, было время ломки всех сторон русской жизни, русская литература была полна гнева и скорби, зовов к новой жизни, была полна великих проблем русской души и русской жизни, а Боборыкин был бытописатель, чуждый скорби, того, чем болела литературная русская душа. Он был европеец. Не только потому, что долго жил за границей, не только по своим привычкам и навыкам, — как Золя, он ежедневно аккуратно писал по утрам, с 10 часов до 12 часов, — но и в значительной мере по своей психологии. И у него была одна черта, определявшая всю его литературную физиономию, неодолимая тяга к новому, к уловлению только что зарождающегося. Он был во власти этого нового и стремился с фотографической точностью поскорее зафиксировать все новое, и в этой поспешной работе по необходимости было больше фотографий, чем портретной живописи.

На вечере в Москве хозяйка при мне полушутя, полусерьезно предупредила молодежь:

— Смотрите, сегодня будет Боборыкин, — он вас опишет!

И он описывал, иногда и списывал. В одном из романов он описывал, как в губернский город привозят ребенка-девочку, чтобы отдать в дети местному бездетному доктору. Все было описано так по-Боборыкински точно, и город, и улица, и доктор, — что мы все, нижегородцы, узнали, что гово-

рится о Нижн.-Новгороде. Тогда же в Ницце приходит ко мне В. М. Соболевский, взволнованный и расстроенный, что редко случалось с выдержанным, дисциплинированным человеком.

— Представьте, какую сцену мне устроил сейчас Боборыкин! Напустился на меня, — что вы в ваших «Русских ведомостях» все с мужиком возитесь? Мы тоже имеем право на общественное внимание! И пошел, и пошел... Разозлился, кричит, слюной брызжет...

А несколько лет спустя,— скоро после первой революции 1905 г.,— я вместе с тем же Соболевским опять встретился у ниццского доктора Вальтера с Боборыкиным. Он был в восторге от революции, от общей забастовки и с торжеством обратился ко мне по поводу нескольких моих замечаний, не очень оптимистических:

— Ну, вот, вы все раздумываете, сомневаетесь, сидите по углам...

Ни я, ни мои друзья не сидели тогда по углам, но мне было весело наблюдать тогдашнее настроение Боборыкина, и я, смеясь, ответил:

— Ну, Петр Дмитриевич, где же нам угоняться за вами! Вы ведь крайний левый...

Боборыкин был очень доволен и, повидимому, всерьез принял мою реплику...

И все-таки к Боборыкину было не совсем справедливое отношение со стороны критики и читающей публики. Насмешливое «Пьер Бобо» преследовало его всю жизнь. Он был широко образованный человек, с большой и разносторонней эрудицией в области литературы, театра, искусства вообще. И он был настоящий литератор, — только литература занимала всю жизнь его ум и сердце. Экспансивный человек, он был искренен и тогда, когда ругал Соболевского за преизбыточность мужика в «Русских ведомостях» и когда восхищался революцией, освобождавшей мужика не только от самодержавия, но до известной степени и от «нас». И будущий исследователь минувшей русской жизни обратится к изучению многочисленных томов Боборыкина, где он в широких полотнах, так редких у русских писателей, тщательно и добросовестно, с пылу-жару заносил все то новое, что совершалось в русском «обществе» за долгую жизнь Боборыкина.

Мне не один раз приходилось в моих воспоминаниях отмечать, как русские писатели и ученые не успевали в полной мере использовать себя, потому что были слишком русские, потому что погружались в русскую жизнь целиком, — Боборыкин, наоборот, слишком оевропеился и не мог попасть в тон русской литературы. Но зато использовал себя во-всю, до конца.

Максим Максимович Ковалевский.

Н. К. Михайловский дал мне поручение, — просить Ковалевского рекомендовать корреспондента из Англии для «Русского богатства». — Дионео тогда еще не сотрудничал в журнале. Ковалевский долго перебирал своих английских знакомых и остановился на дочери Карла Маркса — Эвелине.

М. бывал в Лондоне у Карла Маркса[1]) и, повидимому, сохранил близкие зи с его семьей. Он хвалил дочь Маркса, говорил, что муж ее интелли-тный англичанин, что вдвоем они, вероятно, могли бы посылать интерес-е обозрения английской жизни. Я просил написать в Англию, какие и о 1 желательны корреспонденции для русской публики. Соглашение состо-ось, и дочь Маркса прислала одну или две корреспонденции, но и она и ее ж не могли учесть, что нужно и интересно для такого журнала, как «Рус-e богатство», и дальнейшее сотрудничество прекратилось.

Отношения мои с Ковалевским скоро установились простые и друже-енные. В первое время он пробовал зондировать меня и обхаживать хит-мными подходами. В одно из первых наших свиданий — мы сидели вдво- — он сделал глубокомысленное лицо и начал расспрашивать меня о про-мме, о целях и ближайших задачах нас, людей, группировавшихся около хайловского и «Русского богатства», подсказывая мне хитрые реплики: ы, конечно, думаете, что будет то-то и то-то», «Вы, конечно, в случае»...

В своих долгих скитаниях за границей, с редкими и короткими наезда-в Россию, он в значительной мере утратил чувство русской действитель-сти и собирался «выпытать» меня, свежего человека из России.

Была наивность во всех его экивоках, я смотрел ему в глаза и выго-ворил:

— Вы не рассердитесь, Максим Максимович. Вы — лукавый хохол...

Огромное тело Ковалевского затряслось от хохота, он долго не мог оворить, и больше никогда не делал он мне напряженно серьезного лица, стали говорить мы без экивоков о том, что он думает и что мы думаем.

Изредка он подлечивался у меня, лечил я одно время и его, по тогдаш-ей терминологии, гражданскую жену, — итальянку, с которой он жил дол-ие годы, они жили тогда отдельно, — и путешествие в Болье стали моей юбимой прогулкой. Я заставлял его ходить пешком, разгуливать его туч-ое тело, и мы ходили по окрестностям Болье, сходили мы с ним в рулетку Монте-Карло. Раза два я ночевал у него. При содействии слуги Ковалев-кого Франсуа я познакомился с итальянским рыбаком и ездил с ними ночью ловить рыбу в Средиземное море.

Огромного роста, тучный, с большой головой, с характерным, благо-даря шраму, оставшемуся после операции заячьей губы, умным лицом, Ко-валевский был заметен во всякой толпе, импонировал своей наружностью. Он был барин, большой барин. Сын генерала, бывшего комендантом Парижа 1813 году, богатый, — у него было крупное имение в Харьковской губер-нии, — независимый от службы, от обязательного дела, он по-барски устроил свою жизнь. У него была вилла в Болье, — одном из лучших и наиболее

[1]) Ковалевский рассказывал мне, что Маркс очень интересовался Россией,—поло-жением крестьянства, расспрашивал его о Михайловском и о главнейших течениях мы-сли русской интеллигенции. Между прочим, Максим Максимович с своей лукавой улыб-кой рассказывал, что в кабинете Маркса стоял бюст Зевса Олимпийского, имевшего некоторое сходство с головой Маркса, что Маркс знал это и во время разговора ча-стенько поглядывал на Зевса.

дорогих местечек около Ниццы, — куда он возвращался после скитаний по Европе и Америке. Его встречал, державший все в порядке, неизменный зорник, лакей, домоправитель упомянутый выше Франсуа, живший с Мак-имом Максимовичем долгие годы, любезно принимавший всех интимных эузей Максима Максимовича и особенно благоволивший к Боборыкину.

Вилла была полной чашей. Ковалевский был гостеприимен, и у него е переводились гости. Бывали люди разных мастей, лишь бы были прико-ювенны к науке, искусству или литературе. И не только русские[1]). У него ыли обширные знакомства с английскими, французскими и итальянскими ееными — с немцами у него как-то не склеилось, и эти ученые, если бывали ı Ривьере, обязательно навещали Ковалевского. Одно время у него до-)льно долго жил Карл Фогт, и Максим Максимович показывал мне довольно яповатые рисунки на стене, сделанные Фогтом на память своей жизни на ıлле.

Ковалевский был лакомка жизни. Широко пользовался жизнью ревниво оберегал свою свободу, не связывая себя никакими узами,)торые бы ограничивали эту свободу. Этим об'ясняется, по расска-.м его друзей, что он не женился на знаменитой по уму и та-.нтливости русской женщине, которая любила его. — Испугался семейной ızни, ушел от связанности.

Ковалевский был барин, но не на русский барский лад. Он был ученый, .ловек мысли. Крупный ученый не только по широте захвата его научной ысли, но и по напряженности и долгой непрерываемости этой мысли. На-:ная работа была главным содержанием его жизни, научные исследования ıли самым лакомым блюдом его жизни. Когда он возвращался из поездок свою виллу, начиналась систематическая работа изо дня в день. Каждое ро к нему являлся секретарь, которому он, часто лежа на диване, дикто-л свою очередную работу, а вечером читал документы, готовился к сле-ющему утру. И его поездки были работой в английских, итальянских, эанцузских библиотеках и встречами с иностранными учеными, работав-ıми в смежных областях.

Или лекции. У Ковалевского была неутолимая жажда действенного ıоникновения научной мысли в жизнь. Рано оторванный от профессорской федры в России, он всю жизнь стремился к кафедре, читал лекции в Сток-зльме, в Брюссельском вольном университете, в Английском университете, Америке. Эта же тяга к продвижению науки в жизнь привела его к устрой-зу Русской высшей школы в Париже.

---

[1]) Более или менее заметных русских людей, подолгу живавших за границей, он, :ется, всех знал. Вел постоянное знакомство с Лавровым, знал и помнил Тургенева. ıажды он рассказал мне, как познакомился у Тургенева с молодым Мопассаном. ıассан пришел вместе с другим литератором посоветоваться на счет газеты, которую пассановский кружок собирался издавать. Мопассан говорил любезности, что после рти дяди его Флобера, так почитавшего Тургенева, он, Тургенев, для него cher maître.

— Каких же принципов будет держаться ваша газета? — поинтересовался Тургенев.

— Pas de principes, — ответил Мопассан.

Я приехал тогда на Парижскую всемирную выставку, и Ковалевский привлек меня к участию в организации этой высшей школы. Он был постоянно окружен учеными и кое с кем познакомил меня, — с парижским профессором Метеном и с канадским профессором политической экономии, — фамилию я забыл, — который принимал деятельное участие в устройстве в Канаде русских духоборов, незадолго перед тем переселившихся из Кавказа в Канаду. Из русских профессоров были А. И. Чупров, Гамбаров. Ковалевский привлек кое-кого из эмигрантов. Лекции при мне начались, я прослушал лекцию Гамбарова, солидную, чисто университетскую лекцию. Слушателей было довольно много, все больше молодежь.

Как-то на вопрос Ковалевского я высказал сомнение, чтобы школа при случайности состава лекторов и слушателей могла давать систематическое высшее образование и чтобы школа окрепла и укоренилась, — Максим Максимович ответил мне:

— Из России все больше бегут. Количество эмигрантов, русской молодежи, все увеличивается. Многие языков не знают, а им нужно знание. Пусть они потом делают революцию, но пусть сначала вооружатся знаниями по общественным наукам,—пусть сделают революцию умелыми руками.—И он много положил труда и энергии в организацию этой школы, и я имею основания думать, что расходы на устройство школы шли, главным образом, из его кармана.

Ковалевский был не политический деятель, а только ученый, человек научной мысли, и газета, которую он основал во время I Гос. думы, и его деятельность в Гос. думе и в Гос. совете были по существу недоразумением и ничего не прибавили к его большому, почтенному, европейски известному имени. Как я уже говорил, во время своей долгой заграничной жизни, он в значительной мере утратил чувство русской действительности, не углублялся во всю остроту и сложность социальной проблемы в России, и потом за ним не стояла значительная и организованная группа политических деятелей. Он от всего сердца приветствовал революцию 1905 года, но мне думается, что главная положительная часть его состояла в парламентаризме, в необходимости широкого распространения знаний свободы мысли, — в политическом благоустройстве России.

М. М. Ковалевский был привлекательный, добрый, мягкий и широко терпимый человек. Я часто видался с ним в Петербурге во время его деятельности в Гос. совете, — он вечно был завален всякими просьбами о ходатайствах, и я не помню случая, чтобы он когда-либо отказывался. И мне пришлось обратиться к нему. Петербургская судебная палата присудила меня за брошюру «Земля и свобода» к заключению на год в крепости. Прошло три или четыре месяца, — меня все не сажали[1]). Неопределенность томила меня, нельзя было ни уехать, ни начинать никакой работы, и мне хотелось выйти

---

[1]) Повидимому, в этой оттяжке отбытия наказания у правительства была какая-то система. В. Г. Короленко, присужденный как редактор к высылке на две недели за мою статью в «Русском богатстве», «Люди нашего круга», так и не отбывал наказания.

из крепости летом, чтобы в случае хвори застать в Крыму солнце и тепло. Я просил Ковалевского похлопотать, чтобы меня немедленно посадили — дело было осенью, — и непременно в Петропавловскую крепость, где было тихо, удобно заниматься и где девять месяцев считалось за год. М. М. немедленно поехал к тогдашнему министру Щегловитову и даже дал своего рода взятку. Он рассказал мне потом, что Щегловитов в ряде любезных слов, обращенных к Ковалевскому, вскользь заметил, что очень интересуется последними работами Максима Максимовича, но, к сожалению, не может достать. Ковалевский тотчас же отправил ему свои сочинения. Ходатайство было немедленно удовлетворено, через два дня я уже сидел в Петропавловской крепости, где Ковалевский навещал меня.

Помню последнее свидание. Ковалевский был усталый, имел болезненный вид и пожаловался мне на сердце. Я через два дня должен был уехать из Петербурга, мне не хотелось начинать лечение, и я посоветовал ему обратиться к профессору Сиротинину, обещав предупредить Сиротинина.

Максим Максимович только чрез полгода собрался пойти к Сиротинину, когда сердце его стало совсем плохо.

Ближе всего я сошелся в Ницце с В. М. Соболевским. Я был знаком с ним и в Москве по моему сотрудничеству в «Русских ведомостях», но в Ницце наши отношения стали ближе и крепче и перешли в дружбу, продолжавшуюся до его смерти. Впоследствии, когда я приезжал в Москву, я останавливался у него. Он был приятель Н. К. Михайловского и Глеба Успенского, которые, случалось, подолгу гостили у него. Мне особенно нравился этот несколько сумрачный, застенчивый человек с оригинальным мышлением и высоким чувством чести, которое не особенно обильно развито в русских душах. Он увлекся моими пешеходными экскурсиями, — он также не любил обычных дорог с снующими экипажами, фланирующей международной толпой и предпочитал тропинки, глухие места, горные деревушки[1]).

Через Италию и Швейцарию в Париж.

Я перебывал впоследствии во всех столицах Европы, и ни один город не производил на меня такого впечатления, как Рим.

Все давнее, давно знакомое, с юношеских лет, — и Форум, и Термы, и сады Саллюстия, мимо которых я часто проходил. Казалось, я когда-то был здесь и все это видел и теперь только вспоминаю.

Все это создавало какую-то уютность Рима, что-то близкое, почти родное, что дает себя чувствовать в Италии, как дома, в родной стране.

Я записался членом на происходившем тогда в Риме международном медицинском конгрессе, но мало отдавал ему времени, и, пожалуй, самым

---

[1]) Я дал характеристику Соболевского в моих «Литературных воспоминаниях».

и пятном от этого с'езда осталась фигурка скромного старичка неного роста, мне показалось с русским обличьем, проходившим между ı рядами почтительно расступившихся врачей, и шопота кругом меня: хов! Вирхов!».

После шумной городской жизни Ниццы, Рима, промелькнувших Неаи Флоренции я погрузился в тихую жизнь швейцарской деревни. Сравьно глухой деревни. Кантон Во считался отсталым, консервативным, акатолическим кантоном. Деревня, в которой я поселился, была вне ной железнодорожной магистрали, и маленькие поезда, тихонько поывая, не часто будили деревенскую тишину.

Я устроился там благодаря рекомендации моего доброго знакомого, учифранцузского языка в Нижегородском институте. Он был крестьянин из ке деревни и дал мне письмо к своему брату, содержавшему маленькую енскую гостиницу, где я и поселился. Скоро я познакомился с деревенжителями, и, — должно быть, нижегородский брат расхвалил меня как — кое-кто стал лечиться у меня, приносили больных детей.

Здесь я познакомился с постановкой деревенской медицины в Швейца, по крайней мере в этом кантоне. Общественной организации медицины зашем земском смысле там не было. В деревне было около двух тысяч елей. Раз в две недели приезжал врач производить оспопрививание, два ı в неделю приезжал из города доктор и лечил больных за плату один нк за прием в амбулатории и два франка за посещение на дому. Повиэму, ничего похожего на бывшую нашу земскую организацию в лучших, Московское и Тверское, земствах, стремившейся обнять и удовлетво› бесплатно все нужды населения, от санитарии до лечебной части — ıа в кантоне Во не было.

И удивлял меня престиж, которым тогда пользовался русский врач. е говорю уже о русских. В Риме мне пришлось неделю ежедневно контировать — я отказался лечить один—с известным в Риме профессором иафафа[1]) в богатой московской семье, которая ничего не знала обо как враче, кроме того, что я русский врач, несмотря на то, что Макиаа несколько лет был в этой семье годовым врачом. В Риме же мне прись лечить в семье римского архитектора, у которого одно время я снికомнату, и всегда на вопрос, почему ко мне обращаются, был один :т: «Потому что вы русский врач»...

Тихо и мирно было в долине Роны. Мелодично разносился «Ангелюс». спеша копался швейцарец в своем поле, пилил дрова на своей маленькой ішней водяной мельнице. По воскресеньям мы ходили в церковь, а после играть в кегли и пить кисленькое швейцарское вино, за которое плаı проигравшие. Бывали и сенсации. Приезжали в деревню два экстренпроповедника и собирали обывателей в церковь. Один был адвокатом , а другой защитником дьявола, и они сражались на поучение деревен: жителей. Адвокат бога побеждал, но добродетельные деревенские люди,

---

[1]) Кажется, тогда он был директором университетской терапевтической клиники.

выходя из церкви, обменивались благодушными замечаниями, что все-таки другой адвокат недурно защищал дьявола.

Перед от'ездом из Ниццы за обедом у Эльсница я познакомился с его друзьями по эмигрантской жизни в Швейцарии — коммунаром Лефрансэ и его женой. Лефрансэ был чем-то вроде министра финансов во время Парижской Коммуны, успел после разгрома спастись от расстрела и скрыться — мне говорили, в женском платье — в Англию. Долго там бедствовал, за неимением пристанища, дремал, закрывшись газетой, в ночных кабаках, пока не перебрался в Швейцарию, где встретился и близко сошелся с русской эмиграцией. Мы обменялись за обедом несколькими словами, и я удивился, что после обеда он отвел меня в сторону и очень любезно сказал:

— Я слышал, что будете в Париже... Вот мой адрес, — пожалуйста, навестите меня. Буду очень рад.

Когда я приехал в Париж, я помнил приглашение Лефрансэ, но думал, что это обычная французская любезность, и не собирался итти. И велико было мое удивление, когда чрез несколько дней я получил записку от Лефрансэ, очевидно, от кого-то из общих знакомых узнавшего о моем приезде, где он настойчиво просил навестить, и было прибавлено, что он болен и желал бы посоветоваться со мной.

Я тотчас же отправился к нему. Лефрансэ жил бедно — комната была плохо обставлена мебелью, на всем лежала печать более чем скромной жизни. Меня удивило, что передний угол завешен фотографическими карточками русских, и первый, кого я узнал, был Дм. Ал. Клеменц. На мой удивленный вопрос Лефрансэ пояснил, что это его товарищи-русские, с которыми он сжился в Швейцарии, и что Клеменца он особенно любил.

Когда я выразил искреннее удивление, что он, француз, житель Парижа, где так блестяще поставлена медицина, обращается ко мне, которого, как врача, он совсем не знает, — он ответил той же фразой:

— Потому что вы русский врач...

И начал было об'яснять, что он не верит больше во французов, давно потерял веру во французов вообще, и начал было об'яснять, почему разочаровался в своих соотечественниках, но потом махнул рукой и сказал:

— Об этом долго рассказывать. Когда-нибудь побеседуем...

Положение его было тяжелое. У него был далеко продвинувшийся склероз, гипертрофированное сердце работало плохо, появились отеки ног. Пребывание в Ницце ничего не сделало. Я прописал ему adonis vernalis, который тогда редко прописывали французские врачи, установил режим. Через неделю Лефрансэ стало немного лучше, — убавились отеки, одышка, и Лефрансэ сообщил мне:

— Вот вы не хотели лечить меня, а мне стало лучше.

Я прожил тогда в Париже только около двух недель. Меня уже потянуло домой, и, остановившись только на день в Вене, я проехал в Петербург. На границе меня тщательно обыскали, — я долго недоумевал о при-

пока не попал в департамент полиции и не узнал там, как широко по-
зна была русская шпионская организация в Париже. Директор депар-
та принял меня любезно, сказал, что разрешить мне жительство в Пе-
рге, о чем я пришел хлопотать, еще рано, но чрез полгодика можно
снова ходатайствовать. И, провожая меня, остановился в дверях и уча-
ым тоном выговорил:

— Вот вы в Париже вращались в обществе эмигрантов. Помните, хо-
зы осматривать Лувр? — Он перечислил всех, с кем я ходил — кажется,
ртель, — и, помните, в отделении картин вы уединились с Егором Его-
ем Лазаревым и долго беседовали у окна.

Я приехал в Нижний-Новгород и прожил там еще четыре года. Работы
много. Долго я служил городским амбулаторным врачом, приходилось
мать ежедневно около ста человек, прием на дому, Вдовий дом, работа
ществу вспоможения частн. служ. труда, частная практика, — все это
ало целый день. Иногда удавалось приехать обедать в 10—11 часов
ı, а во время эпидемий два-три раза выезжать ночью. Одно время это
делаться так часто, что я возбудил среди врачей вопрос об органи-
ıи ночных дежурств врачей. Дело устроилось как раз в моей амбулато-
но не сняло целиком с врачей ночные выезды, — люди продолжали зво-
› у под'ездов врачей, которые не оборонялись фразой: «дома нет». Боль-
ству больных хотелось вызвать своего врача, к которому привыкли,
эрому верили.

Писать приходилось редко. Редко выпадали передышки, когда можно
› отдохнуть от больных, запереться в кабинет и писать. А к письмен-
у столу тянуло; тянуло в центр, в Петербург, поближе к «Русскому бо-
тву», большому кораблю, к которому я привязал свою лодочку.

Разрешение на переезд в Петербург было, наконец, получено, и я стал
ıраться в путь.

В Польше.

(Окончание).

Илья Эренбург.

11. Реб Иоселе и брацлавские хасиды.

Вне Польши часто думают, что хасидизм — это маленькая еврейская секта. На самом деле большинство польских евреев — хасиды. Это не кружки фанатиков — это просто население: купцы, рабочие, нищие, ремесленники. Хасиды участвуют в избирательной кампании. У хасидов крупнейшие капиталы. В Западной Польше или в Галиции еврей не хасид — это почти всегда иностранец — «литвак».

История хасидизма поучительна, как история любой идеи, которая, укрепляясь, слабеет, побеждая — гибнет. Впрочем, может быть, это только закон жизни, путь цветка, ботаническое томление?.. Хасидизм был в начале мистически-революционным взрывом. Он превратился в оплот ханжества и мертвечины. Первые хасиды восстали против «буквы закона», ей противопоставляли они живую радость, любовь, человечность. Но вот прошло три века, и теперь хасиды самые фанатичные, самые нетерпимые законники. Если б великий Бешт увидел своих последователей, которые способны убить человека за малейшее отступление от тупого канона!.. Скажите — если б юноша увидел свои старческие дни — несгораемый шкап, нахмуренный лоб и перепуганные взгляды домочадцев...

Родина хасидизма — Холм. Он появился в XVII веке — от традиций «Каббалы», от книги «Зогар» и в то же время от пресыщения книжностью, от жажды живой жизни, от необходимости сбросить с себя непрерывные посты, обряды, бормотания. Люди умирали среди книжной пыли, среди диких выкладок Талмуда, среди роковых вопросов, например — можно ли в субботу раздавить блоху или нельзя? Этот оскопленный и в то же время деспотичный закон об'единял евреев Салоник и Вильны, Кракова и Амстердама. От светской науки евреев ограждали добротные стены гетто. Иудаизм погибал не от соприкосновения с точным знанием, но от одряхления тканей. Он заживо гнил. И вот тогда, в маленьком польском городишке, среди простецких дебошей захолустной шляхты, среди сна темных крестьян, среди нищеты и снега родилась блистательная и высокая философия Бал-Шемта

лта). В переводе на разговорный язык, на язык местечковой бедноты звучала: «да здравствует жизнь!..». И сотни тысяч сердец, услышав эти ва, взволнованно забились. Против такого волнения были бессильны все фемы правоверных «миснагдим» (талмудистов).

Хасидизм был во многом близок францисканскому движению среди ка-иков и «старчеству» православия (Зосимы Достоевского). Общ, прежде о, пантеизм. О Беште говорили, что он знает 36 языков. Но это были обыкновенные языки — не польский или немецкий. Нет, он понимал язык ιк, язык птиц, язык камней и т. д. Согласно хасидизму все вещи на е имеют свою мелодию, и чем человек лучше, добрее, тем больше одий он слышит. Хасидизм и зло считает частью божественного начала. ально он не отвергает греха, а к обязательной «святости» относится редубеждением. «Миснагдим» стояли за точное выполнение закона, ха-и об'явили это несущественным. Важнее обрядности — чистота чувства. кно молиться не в синагоге, а в лесу. Нечего горевать, бить себя в грудь, иться. Надо радоваться, так как ведь в детской радости человек ближе о к богу. Таков в упрощенном виде хасидизм. Легко себе представить, кую ненависть вызвал он среди ортодоксального еврейства. Зато он сразу окорил всех бедняков, всех местечковых мечтателей, поэтов и сумасшед-их. Он был бунтом, и бунт победил.

Однако, именно, то, что способствовало победе хасидизма, предопре-лило его быстрое падение. Евреи-«миснагдим» просиживали всю жизнь над гадочными притчами вавилонских талмудистов: «Как понять такое-то ово?»... Хасиды заменили книги опытом. Пусть толкуют, пусть ведут и дят не буквы, но люди, праведные люди — «цадики». Это было просто и ловечно. Это было также вдохновенно, пока хасидизм переживал свою олодость, пока сами «цадики» еще были бунтарями, провидцами, поэтами. хасидизм, подчиняясь родовому началу, установил «престолонаследие» — н цадика после смерти отца становится сам цадиком. Это было большим зумием, нежели наследственная монархия. Это была, вопреки всем законам ироды, обязательная гениальность. У великих отцов оказывались скудо-ные, ничтожные или даже подлые дети. Хасидизм сначала замер, а потом ал быстро вырождаться.

Конечно, в его истории бывали исключения. Так, в 60—70-х годах ошлого века, в городе Коцке жил знаменитый цадик, легенды о котором разительно совпадают с философией Достоевского. Всю жизнь он искал праведливость» и перед смертью оправдал грех.

Он был одним из самых выдающихся мыслителей своего времени, ни-му не известный, духовно погребенный в польском гетто.

Можно и теперь встретить цадиков, которые еще помнят о мятежной щности раннего хасидизма. Но их мало, и они в стороне. Почитаемые, вли-ельные, богатые цадики — это либо тупые законники, либо ловкие мошен-ки. Одни из них занимаются политикой и продают перед выборами голоса оих приверженцев. Другие устраивают в свою пользу лотереи, всучая ве-ющим билеты. Третьи входят в соглашение с докторами и, когда больные

с трепетом спрашивают своего «цадика» — «что делать, рэби?», они получают адрес врача (гонорар пополам). Словом, быть «цадиком» теперь — это зыгоднее, чем торговать селедками. Это ни к чему не обязывает, и это э-что приносит.

С трудом разыскал я настоящего цадика, вероятно, одного из послед-к. Зовут его: рэб Иоселе из Скерновиц. Он живет в Варшаве, в квартале эейской бедноты. Маленькая, нетопленная комната. Мне напоминают: «не будьте надеть на голову шапку»... Это, пожалуй, единственная условность. дик — крепкий, красивый еврей, лет пятидесяти пяти с традиционной эодой и с ласковыми печальными глазами местечковых чудаков. Одет он цно, да и во всем бедность: просиженные стулья, рваные обои. Этот цадик хож на замечательного поэта, которого читают десять или двадцать че-зек. Его приверженцы — бедные ремесленники из Налевок. Они не дают, просят.

Цадик предлагает мне папиросу. Он и сам закуривает. По лу, как неловко он это делает, — пальцы смешно торчат, — видно — курильщик. Вот, верно, закурил, чтобы сделать мне приятное, чтобы гчить натянутость диковинного свидания. Впрочем, всякая нелов-ть исчезает, когда он начинает отвечать на мои вопросы. Я ашиваю его о сущности хасидизма. Он говорит легко, ни на минуту не умываясь, иногда иронически усмехаясь, иногда вдохновенно, как и подо-т поэту.

— «Миснагдим» выше всего ставят «закон». Но ведь солдат учат іду по-разному. Английских солдат учат не так, как польских. Впрочем, х солдат мира учат: «раз-два». Когда же начинается война, плох тот дат, который помнит это «раз-два». Хороший солдат забывает все, чему учили.

Цадик гладит бороду, он прищуривается. Видимо, он не уверен, что го понял. Он добавляет:

— А ведь вся жизнь — война.

— Вы спрашиваете, что такое «рай» и «ад»? После смерти человек еобычайной силой переживает всю свою жизнь. Радость от всей растоной им любви — это и есть рай. А ад? Ад — это стыд.

— Да, для того, чтобы человеку подняться, надо падать. Не падая, ьзя подняться. Это закон жизни, и это закон сердца.

— Бедность — путь к богу. Еще в книге «Зогар» сказано, что у бога іжество одежд, но одевается он только в молитву бедняка.

Последний мой вопрос:

— Что важнее — отношение человека к богу или же к людям?

Цадик ласково улыбается:

— С первого взгляда, конечно, к богу. Ведь бог — все, а человек — инка. Но когда много думаешь и, главное, когда много живешь, понишь — важней всего люди. Если человек оскорбляет бога, он оскорбляет ько бога, а если человек оскорбляет человека, он оскорбляет и бога, и эвека.

У рэб'Иоселе несколько десятков приверженцев. Они приходят к нему зетоваться: «что делать, у дочки грыжа?», или «Соловейчик не отдает :яти злотых»... Мудрость остается среди четырех стен, под картузом, над зрой книгой. Цадик похож на старого мастера, который помнит «секрет» звнего ремесла, но не знает, куда его применить. Это — богатство в невемой для окружающих валюте. Рэб'Иоселе еще понимает слова Бешта, его слов уже никто не понимает. Он лечит сердца не унаследованной дростью, но только своим званием — «цадик», да бесхитростной улыбй.

Богачи идут к цадикам погромче, познатней — там они могут и сами :считывать на почет, на право заседать за одним столом с цадиком, на) авторитетное содействие в разных коммерческих сделках. У них выхоные бороды, шелковые лапсердаки, а в субботу шапки, отороченные рым мехом. Они зовут себя «хасидами», но, если вы спросите их об учении шта, они не смогут вам ничего ответить. Для них важнее радости, подвига, :таза — кто же будет сидеть сегодня рядом с цадиком — Арон Шмулел или Хаим Розенберг?

Есть еще места, где жив хасидизм, не философия его — чувство. Это даже не седая голова рэб'Иоселе. Это нищие молельни так называемых «брацлавских хасидов». У них вовсе нет цадика. Их цадик умер. Он умер давно, лет полтораста тому назад. Его звали «рэби Нахман из Брацлавля». Эн был философом и поэтом. Его изречения, легенды и стихи вышли недавно ; немецком переводе. Этот первый выход исторического хасидизма из пределов гетто был полон запоздалой славы и классического изумления потом:ов. «Откуда такая дерзость мысли? Откуда такая поэзия?.. В Брацлавле?.. Никто об этом не знал»... Да, знали только хасиды. Для них рэби Нахман был великим цадиком. Когда он умер, они не захотели поставить на его место другого — они выбрали себе в советчики только память об этом цадике-поэте.

Конечно, среди «брацлавских хасидов» нет ни богатых, ни спесивых, ни лицемерных — им здесь нечего делать. Их место за столом живого цадика. А здесь? Здесь — голь Налевок или Балут: старьевщики, портные, сапожники.

Я захожу в молельню. Это обыкновенная квартирка в рабочем доме. Вонючая лестница. Небольшая комната. Голубенькие в полоску обои. Тусклая электрическая лампочка. Тесно, трудно пробраться внутрь. С виду :ажется — собрание профсоюза. Но нет: здесь иной век. Здесь не то летосчисление. Может быть, это даже вне понятья времени. Бородатые нищие засаленных картузах. Целую неделю корпят они над тряпьем, над селедой, над нудной вшивой жизнью. Но сегодня канун субботы. Они пришли юда радоваться. Они радуются. Не потому, что предписано радоваться. Нет, в них еще жива, уже мертвая вне этой тесной комнатки, вера. Они стречают «Царицу-Субботу». Они бьют в ладоши и поют. Сначала это — лова молитвы. Но ни язык, ни разум не поспевают. Вот уж больше нет лов — только мелодия радостная, широкая, захватывающая. Они больше

не могут стоять. Они подпрыгивают. Они танцуют, танцуют, в этой жалкой, темной молельне: радость! жизнь!

Я гляжу на лица и я не могу оторваться. Кто их преобразил? Кто снял иять об обидах, о голоде, о злотых?.. Можно, конечно, здесь поговорить эадении хлыстов или о католической эротике, о Фрейде, о массовом гипзе, еще о чем-нибудь. Но стоит ли?.. Это ведь и так всем известно из идных книг. Не лучше ли воспринять улыбку «брацлавских хасидов», как мительное счастье, пусть чужое, пусть недоступное, но человеческое до ица, счастье потери себя в большом и в большем, счастье бескорыстья, юзабвенья, счастье простых ребячливых сердец: возвеселись!..

12. Святая щука.

Теперь очнемся. Вспомним о датах, о морали, даже о курсе доллара. больше не в стране простодушного веселья. Мы в Польше. Кругом нас красноречивые травы Бешта, но американский заем, залежавшаяся ману-ктура и предвыборные махинации. Забудем же скорей хасидизм: ведь ı предстоит посетить главную святыню современных хасидов. Это очень еко от поэзии рэби Нахмана и это по соседству с обыкновенной биржей.

Наиболее почитаемого из живущих ныне в Польше цадиков зовут эамом-Мордохом-Альтером или «герским цадиком». У него 50 000 последателей, готовых отдать жизнь за «святого». Ему принадлежит один из пнейших банков Лодзи. В «Иом-Кипур» к нему приезжает тысяч десять омников. Когда герский цадик выезжает, последователи ломают его ва-, так как, если нельзя прикоснуться к самому цадику, надо прикоснуться :акой-либо вещи, которой он, может быть, касался. Хасиды облепляют эи и окна вагона. Это — божество, удельный князек, повелитель пятиде-и тысяч евреев, разбросанных по всей Польше.

Резиденция герского цадика — местечко Гура-Кальвария (по-еврей- — Гер) верстах в сорока от Варшавы. Там его дом и синагога — бет-раш, то есть высшая духовная школа, куда приезжают на несколько не-ь для завершения образования молодые хасиды «герского толка». Все течко (а в нем 6 000 жителей) живет, разумеется, паломниками. С'езд — ятницу. В пятницу цадик принимает просителей. Каждый подает запи-ку, где изложена нужда: болезнь печени, замужество дочери, неоплачен-ı вексель. Многословием цадик не отличается. Это скорее дипломат: сто философских поучений или практических советов он подает каждому пальца и методически бормочет: «да поможет вам бог». Говорят — по-ает и при больной печени, и при опротестованном векселе. Что касается ек, то дочки все равно выходят замуж. Итак, паломники приезжают в ницу. Уезжают они, конечно, в воскресенье утром. Они ночуют и сто-тся у местных жителей. Корчмари процветают. Правда, в субботу все сплатно» — заходи, ешь, пей, только не вздумай вытаскивать кошель-изобьют — ведь в субботу платить запрещено. Зато в воскресенье утром чмари ходят по улицам и кричат: «кто у меня брал водку с закуской,

лати!» И так как Гер — святыня, — паломники платят. Местные жители реди них нет почти приверженцев герского цадика, всё хасиды других толэв) богатеют.

Я хотел увидеть герское паломничество, но времени у меня было мало, я решился на настоящее злодеяние: в субботу утром, вместе с поэтом итлином и с журналистом Флаксером (переводчик моих книг на еврейский ык) поехали мы в автомобиле к знаменитому цадику. Правда, мы вылезли і машины за версту до местечка, но все же предприятие было достаточно рзким: приехать к цадику в субботу!..

Маленькие деревянные домишки. Косые заборы. Паршивая собака, которая всю жизнь только и знает, что чесаться. Ушастый мальчик. Снег. 'дра. Тоска. Словом — одна из картин Шагала. Но вот несколько каменіх построек, отгороженная забором усадьба. Здесь? Да, конечно. В этом ме синагога. А в этом с кокетливыми занавесками? В этом живет сам дик и его обширнейшая семья: царствующий дом — дети, внуки, зятья, 'рины, невестки, троюродные племянники. Родня у цадика большая. От рвой жены у него целый взвод. А год тому назад он женился вторично — на тридцатипятилетней женщине. Ему 61 год, и вот недавно у него родился сын. Это не чудо: хасиды — народ крепкий. Молодая жена цадика говорит по-французски и читает романы Декобры. Это в порядке вещей. Хасиды на воспитание девочек, к счастью, не обращают никакого внимания. Девочки учатся по-польски и читают светские романы. Потом им бреют головы и выдают их замуж. Они должны рожать сыновей. В семье герского цадика женщины модернизированы, но мужчины блюдут себя — они не знают ни слова по-польски. В прошлом году один из сыновей цадика ездил лечиться в немецкий курорт Норденей. Что же, каждый день ему посылали из Берлина воздушной почтой строго-«кошерный» обед. Конечно, вряд ли стоило для этого изобретать аэроплан, но герский «престолонаследник» не прикоснулся ни к одной «нечистой» тарелке. Что касается самого цадика, то он путешествует со своим поваром, со своим резником, со своими кастрюльками и даже со своей судомойкой.

Мы заходим в синагогу. Натоплено. Душно. Несколько евреев, прикрытые талесами, еще что-то бормочат в углах. Но уже идут приготовления к главному событию субботнего дня, к «шираим». Шираим — значит «остатки». А какие остатки — это вы сейчас увидите. Вокруг длинного стола сидят хасиды, богатые и красивые, в шелковых кафтанах, в меховых шапках, как бы сошедшие со старой немецкой гравюры. Не верится даже, что у них третье измерение. Сзади толпятся менее богатые или менее знатные. Они толкают один другого, стараясь пробраться ближе к столу, как дети возле ярмарочного балагана, только с большим нахальством. По столу бегает красавец паренек, лет пятнадцати, с длинными курчавыми пейсами, которые он ежедневно завивает (во время учебы) указательным пальцем. На мальчишке высокие сапоги, ярко навощенные. У него мечтательные и порочные глаза заправского онаниста. Это один из внуков цадика. Он следит за порядком: чтобы сидели только имеющие на то право — «тишзицеры»,

чтоб остальные дрались из-за мест, но в меру. Один хасид когтями отди-раeт другого: «Я!» — «Нет, я!». Вот вам «местничество» в 1928 году, и в зтре Европы! А за решеткой стоят бедняки, неучи, чернь. Эти не про-от даже подойти к столу. Они хорошо знают свое место: хоть бы издали смотреть на «святого»!..

Мы держимся скромно, совсем как нищие. Мы стараемся врасти в энку. Но это не так-то легко. Бритье! В пальто! В каскетках! Сначала нас не глядят; некогда, идет бой за места. Но потом оставшиеся в задних цах, потеряв надежду пробраться к столу, слегка обиженные судьбой, на-чают поглядывать на подозрительных пришельцев. Кто? Откуда? Зачем? их глазах не любопытство — злоба. Они только ждут повода, чтобы на-нуться на нас. Мы стоим кротко, молча, как вкопанные. Тогда к нам дходит мальчик, лет десяти, в картузе, из-под которого торчат непо-рные уши. Его отец, наверное, сидит у стола. Его сестры играют сейчас ма. А он — мужчина. Он должен быть здесь. Но ему скучно. Его здесь нимает только одно — бритые люди в пальто. Мы для него такая же зотика, как эти пейсатые призраки — для нас. Но не только любопытство мальчишке — сочувствие. Наверное, он мечтает о Варшаве, о кино, о джаке. Мы — сообщники и скандалисты. Он тихо шепчет нам:

— Если вас спросят, откуда вы, скажите, что вы родственники дан-:та и что вы приехали вчера днем...

Э! Это уже дипломат. Он хочет спасти нас. Он знает, что дантист, ть дантист бреется, личность вполне уважаемая — у хасидов ведь тоже ят зубы. Да, мальчик дает нам прекрасный совет. Но один из хасидов дходит. Глаза его зеленеют от злобы. Как смеет мальчишка разговари-ь с безбожниками? Нас он боится тронуть. За нас получает мальчишка: нкая, увесистая пощечина. У Витлина вообще большие глаза. Теперь и во все лицо. Наверное, он вспоминает книгу Бубера о хасидизме... мальчишка — тот только отмахнулся и шмыгнул прочь.

Я начинаю прикидывать — дело дрянь. Оказывается, бить в субботу жно. Это самое печальное. Флаксер в утешение мне шепчет:

— Здесь недавно избили одного еврейского писателя... Помните в :ах?.. Наш Марк Твен... Так вот его затолкали — он несколько дней)лежал...

Кажется, после таких воспоминаний, а особенно после расправы с ньчиком, следует попытаться врасти в стену еще поглубже. Но Флаксер — вительный человек. У него отвага завзятого журналиста. Я, признаться, вляюсь, как это он не сел за стол. Он преспокойно подходит к «престоло-:леднику», то есть к сыну цадика. Это рыжебородый великан с совиными зами.

— Здесь — русский писатель... Вы, наверное, читали об его приезде врейских газетах?.. Так он хочет поговорить с рэби...

Птичьи глаза разверзаются. Борода горит и мечется. С престолона-дником нечто вроде пляски св. Витта. Он бегает по синагоге и с от-щением подвывает:

— Приехал!.. Читали!.. Еще бы!.. Да еще в субботу!..

А Флаксер как ни в чем не бывало заявляет мне:

— Нет, он разговаривать, кажется, не станет.

Как будто в этом дело?.. На нас смотрят все чаще и злее. Подходит ругой мальчишка, приносит скамеечку — все стоят на скамеечках, чтобы видеть цадика. Второй мальчик получает тоже затрещину. Ясно, что на реятах они вымещают злобу. Выручает нас общее волнение: близится выход самого».

Уже паренек слез со стола. Сплошной театр. Вот распахнулась форточка в стене: оттуда высовываются руки. Скатерть, тарелки, хлеб, вино, ыба. Наконец, открываются двери, и выходит цадик. С виду он ничем не тличается от других хасидов: седой, благообразный. Другие, пожалуй, расивей и представительней. Но другие — люди. А это — бог. Начинается бряд подлинного идолослужения. Цадик чуть касается пищи (он обедает еред этим), а кусочки с его тарелки расхватываются поклонниками. Они оже только что обедали. Они спорят из-за кусочка рыбы или говядины с его» тарелки. Это и есть «шираим» — остатки. И те, что стоят сзади, .яжело дыша от нетерпенья, выхватывают кусочки. Теперь они всем расскажут в своих местечках: «Мы обедали с цадиком. Мы ели с его тарелки и пили из его стакана!».

Можно по-разному относиться к вере: с завистью, с жалостью или с равнодушием. Но одно дело пляски «брацлавских хасидов», другое — эти сальные пальцы суеверных купцов, которые стараются выловить с тарелки «святой» кусочек фаршированной щуки. Кажется, еще душнее стало в темной комнате. Еще злее и алчней глаза хасидов. На воздух!..

За нами бегут мальчики. Им, видимо, к пощечинам не привыкать. Они подмигивают нам, как опытные заговорщики. Они ведут нас к библиотекарю. Библиотека, разумеется, штаб местных вольнодумцев. Здесь нас встречают радушно, как своих. Собирается вся молодежь. Бритые лица, папиросы в субботу. Среди них — один из внуков герского цадика — отщепенец, проклятый дедом. Он знает польский язык. Он ходит в пиджачке. Он собирается в Варшаву на мою лекцию и говорит со мной о... «Хуренито».

Здесь можно изучить ход времени, смену поколений. По рассказам, отец теперешнего цадика был, действительно, мудрецом и праведником. Богатым хасидам он рассылал лаконические цидульки: «Немедленно раздай пятьдесят тысяч рублей бедным и представь мне отчет». Он много читал, и после него осталась прекрасная библиотека на древне-еврейском и арабском языках. Его сын—«царствующий» ныне—человек мелкий и лицемерный. Он копит деньгу. Время от времени он устраивает лотереи. Будь это не герский цадик, а обыкновенный смертный, он давно бы познакомился со статьями закона, карающими вульгарное мошенничество. Но цадика власти не трогают. Ведь цадик — союзник. Раздав идолопоклонникам кусочки рыбы, он моет руки и проходит к себе домой. Там он занимается делами, вполне светскими и современными. Он политик, и сейчас у него не мало хлопот: скоро ведь выборы. У герского цадика 50 000 голосов. Это не перышко, это

весит. Евреи-ортодоксы должны были примкнуть к «блоку национальных меньшинств», но «блок» против Пилсудского и Пилсудский против «блока». о же, герский цадик старается: он должен воспрепятствовать вхождению эеев в «блок». Он ведь за любое правительство. После поддержки Столына и «эндеков» ему уж ничего не стоит поддерживать Пилсудского. Его эво — закон. Оближут «святые» тарелки, и пойдут голосовать, хоть за юго чорта. Таков цадик. Его дети будут продолжать проделки отца, разве э немного реже молиться и немного чаще устраивать лотереи. А внуки?.. ни из них завивают пейсы, сидя над Талмудом, другие ездят в Варшаву лекции о русской литературе. Первых, правда, больше, но у них нет стра-1, воли, упрямства. Это — бараны. А вторых уже ничто не удержит — пощечины, ни анафемы. Это — живые люди.

13. Сторожа гетто.

У ворот гетто двойная стража: снаружи — польские антисемиты, вну-и — хасидские изуверы. Часовые хорошо понимают друг друга: «не про-:кать»! В Польше имеется закон об обязательном обучении. Про то, как лонизируют ребят на «кресах», как выбивают из них дух семьи и дух эодности, нечего рассказывать. Но вот одновременно в Польше суще-зуют сотни, якобы «тайных», хедеров, где еврейские мальчики с утра ночи изучают Талмуд, где они не изучают вовсе ни польского языка, ни ифметики, ни начальной географии. Я побывал в таких хедерах. Тесная лная комната. Вонь. Духота. Грязный, невежественный рэби (учитель). его руке недвусмысленная линейка. Ею наводит он румянец на чересчур :дные лица мальчишек.

Пятилетние мальчики приходят сюда в семь часов утра, и «учатся» шести вечера. Они зубрят наизусть Библию и Талмуд: в этом вся наука. и должны познать тонкости талмудического трактата о семейном праве і библейских правил убоя скота. У детей вид навеки испуганный и заби-й. Конечно, из хедеров тоже выходят рабочие, инженеры или писатели, сколько надобно усилий, чтобы выбросить из головы этот чудовищный ім! Детство исковеркано. Время для учения потеряно. Так растят трусли-к рабов, темных фанатиков, духовных калек.

Официально мальчики должны ежедневно в течение двух часов заниться польским языком и арифметикой. Но «рэби» этого не любит. Вдруг іенок узнает, что земля вертится?.. За несколько злотых полиция покры-:т «тайну» хедера. Комиссар хорошо знает, сколько таких застенков в его элотке: ведь он получает «с головы». Конечно, и для польского министер-:а народного просвещения «тайны» пана-комиссара отнюдь не тайна. Но іейка в руке рэби ему на руку: пусть эти дети ремесленников и рабочих іут отъединены от их польских сотоварищей стеной непонимания.

Вся жизнь еврейских кварталов Варшавы, Лодзи, Кракова, не говоря о мелких местечках, до сих пор проходит под надзором цадиков, равви-з, просто добровольных ревнителей иудейского закона. Воинствующие

сиды, правда, теперь не смеют побивать отступников камнями. Они довольствуются меньшим: например, отлупят «богохульника», который в субботу покажется на улице с папиросой. Бундовская газета «Фольксцайтунг» пробовала выходить в субботу, но на улице у газетчиков вырывали газеты, да и перепадало им — пришлось отказаться. Я видел многих рабочих, активных деятелей «профсоюзов», которые не смеют расстаться с бородами и лапсердаками. Они боятся насмешек соседей, бойкота, отвержения. Он может быть коммунистом. Следовательно, тюрьма ему не страшна. Над адом он, конечно, смеется. Но лапсердак... Что делать, когда живешь в дворе, окруженный хасидами, когда «отступнику» не продадут ни хлеба, ни дров, когда от него станут убегать все, все, вплоть до карапузов из «хедера», как от прокаженного?..

Жестокие дворы! Кучи мусора. Рахитичные дети. Тряпье. И непременно хасидская синагога. Может быть, две или три во дворе. Ведь у каждого цадика свои последователи, а у каждой секты своя молельня. Эта — герского цадика, эта — александровского, эта — сохачевского. Потом синагоги «мисгдим», общие и «специальные». Так, в Варшаве существует синагога, куда собираются самоистязатели. Среди них много интеллигентов. Я видел одного, который прежде был в России коммунистом. Они «замаливают грехи». Они читают в темноте, чтобы скорей испортить зрение. Пост у них следует за постом.

Кроме синагог по сектам, существуют синагоги по цехам: ткачей, маклеров, рыночных торговцев, кожевников. Для приезжих или для тех, кто не поспел в синагогу, имеются «уличные» синагоги — это вроде ресторана, куда каждый может зайти и между прочим помолиться.

Это изобилие молелен об'ясняется не столько страстностью религиозного чувства, сколько бытовыми навыками. Разные рэби, «шамесы» (дьячки), плакальщики и просто нищие зарабатывают на привычках. Быт окаменел. Это искусственная изоляция евреев от жизни. И вот все смешивается: религия становится бытом, быт — религией. Ревниво оберегают не веру, даже не канон, но манеру есть или одеваться. Так позорный костюм, созданный некогда христианами, чтобы отличать заточников гетто от свободных граждан, этот арестантский халат становится символом благочестия. Чего здесь больше — хитрости или невежества?..

Евреи до сих пор живут тесно, в особых кварталах. В краковском «Казимиреце» вы не найдете христиан. Поражает упорство: Нюренберг, Брюгге, Ассизи — все эти города уступали, если не сдавались, на милость новому веку, то очищали за домом дом, замыкались в музеи, в воспоминания, в искусственно создаваемую «атмосферу», но тот же «Казимирец» никак не поддался. О веках нечего говорить. Древняя синагога, вросшая в землю. Перед ней — наглухо запертое кладбище. Какой-то праведный раввин здесь некогда проклял свадьбу, загулявшую слишком поздно в канун субботы. Молодожены и все гости тотчас же провалились, а сердобольный рэби стал духовным вождем Казимиреца. От площади — узкие улицы. Пятница. Темнеет. Вот в окнах загорается свет. Доносится пение. Что ни дом — сина-

гога. Пение сливается и сливается блеск свечек. А час спустя, скрипя по снегу, важно шествуют хасиды, помолившись, в широкополых атласных шляпах. На некоторых туфли с пряжками и белые чулки — вот такие носили в XVIII веке. Они беседуют на духовные темы и сопровождающие их подростки важно прислушиваются: «рэби сказал...», завивая тем временем пейсы.

Еврейские буржуа, которые ходят в кабаре «Кви-про-кво» и ездят отдыхать в Цоппот, конечно, расстались с лапсердаками. Но с мацой они боятся расстаться. Они трусливы и суеверны. Они стыдятся говорить по-еврейски и они распинаются на всех перекрестках: «мы самые что ни на есть польские патриоты». Это они удостоились высокого звания «поляков моисеева закона». У них несколько газет на польском языке, защищающих якобы еврейские интересы. Кажется, на всем свете нет более деликатных газет. Ах, они так боятся кого-либо обидеть! Они ведь не то непрошенные гости, не то военнопленные, не то просто «паны-оберы». Их главная цель доказать полякам, что не все евреи, мол, большевики, нет, имеются среди них и «порядочные люди». По примеру франкфуртских биржевиков, они учинили небольшую «реформацию». Их синагоги называются «темплями». Там, как в каждой пристойной кирке — орган и проповедь на польском языке. Читатели «Нашего Пшеглонда» раз в неделю надевают на головы цилиндры и отправляются в «темпль» помолиться воинственному Ягве древнего племени о повышении доллара и о драгоценном здоровье «дедушки-Пилсудского».

Да, это не мистика, это только дипломатия, вежливость побитой собаки, страх перед вонючими дворами Налевок, где сегодня еще качаются, нацепив на голову ремешки и покрывшись полосатым талесом, но где завтра могут раздаться самые вульгарные выстрелы. Лучше хватайте кусочки рыбы! Лучше растите ваши пейсы! А умные люди? Умные люди вывернутся: ведь не зря у них на плечах голова.

Еврейский ресторан. «Строго кошерный стол под наблюдением г. раввина». На эстраде — толстая, пухлая полька. Вид у нее самый не «кошерный». Она поет скабрезные песенки. Рядом со мной почтенный еврей, по всей вероятности, маклер. Он ест фаршированную щуку. Перед едой он пробормотал молитву. Он не снимает картуза, как и подобает богобоязненному еврею (хасиды даже спят в ермолках). На певичку он все же поглядывает с явным наслаждением. Религия — религией, а удовольствие — удовольствием. Поев, поглядев, послушав, он вынимает из кармана обмусоленный карандашик и книжечку. Он начинает помножать какие-то пятизначные цифры. Удовольствие — удовольствием, дела — делами. Певичку он взял бы с собой, если б не так дорого... Но, конечно же, он правоверный еврей, он ненавидит вольнодумцев и голосует за «ортодоксальный» список. Он метит с кошерной щукой, с цифрами и с певичкой прямо в рай.

14. Тоже под талесом.

Это самая обыкновенная синагога — таких тысячи. Своеобразен лишь состав молящихся. Их об'единяет профессия. Все эти почтенные евреи в шелковых талесах — либо содержатели публичных домов, либо воры, либо

ты». Так называемым «порядочным людям» вход сюда запрещен. На-но бормочут сутенеры: «слушай, Израиль!..». Вот этот рыжий так усерд-молится, что даже вспотел. А помолившись он отправится выжидать, пока черненькая Сурка не выжмет из очередного клиента пять злотых.

Они все отличаются редкостной набожностью: и толстые хозяйки, и дастые «коты», и вышибалы, и поставщики, и шулера, и громилы. Как исступленно воют, когда в «Судный день» готова захлопнуться «Книга б»! Как лирически плачут, молясь за упокой «незабвенных мамочек»! не жалеют денег на бога. Так злоты, вырабатываемые разными Сурками стерками, обращаются в роскошный свиток. «У нас шикарная синагога, ?..»

Я заходил в кабачок, где подготовляются разные дела — «сухие» и крые». С виду он похож на однородные заведения Парижа или Москвы, «бистро» Бельвиля или на чайные Смоленского рынка. Но замечательна деталь: «кошерная» еда. Да, да, «строго кошерная». Об этом кричат надписи. Ведь взломщики не хотят обижать бога. Они берегут свою готу.

Поспорив, воры различных шаек обращаются в еврейский суд, к ка-кому-нибудь «рэби». Суд этот называется «дин тойре». Традиция настолько льна, что с ней считается даже польская полиция. В официальных прото-олах можно прочесть: «конфликт между Хишиным и Брайтманом был ешен «дин тойрой» в пользу последнего»...

Поляки, которые промышляют здесь взломами или просто кражами; кодят в еврейские шайки, они подчиняются еврейским атаманам, говорят)-еврейски, а в случае обиды прибегают к «дин тойре». Что касается ентов уголовного розыска, то это, конечно же, все евреи (по большей сти приятели воров). Они существуют не столько на казенное жалование, колько на проценты с «работы». После удачного налета все направляются синагогу, воры и сыщики покрываются талесами, молятся, благодарят. Это гнюдь не цинизм. Это просто уверенность в почтенности любого ремесла в достаточной широте господа-бога.

Евреи-громилы не похожи на злосчастных обитателей Балут. Бог им ощает короткое платье: ведь «работать» в лапсердаках невозможно. то — здоровые, крепкие парни. На фоне чахоточных привидений окрест-ых дворов это мифологические герои. Широкие плечи. Наглядно солидные улаки. Мастерски плюется. Насвистывает чарльстон. Утром молится в нагоге. Вечером дует 80-градусную водку. Не боится ни «пшодовника», погромщиков, ни самого Пилсудского. Он? Он — «пан-злодей».

Конечно, как и во всех уголовных шайках мира, здесь свято охра-ется понятие «чести», «благородства», «товарищества». Если где-нибудь це сохранились романтические жесты (помимо речей «Коменданта»), то, ко-ечно, здесь. Вот — вор: восемь пудов и младенческая улыбка. Как-то позвал еврейского журналиста на воровскую вечеринку. Тот пришел. Пили. Тан-овали. Но когда восьмипудовое дитя удалилось на улицу полюбезничать с рышней, один из кавалеров, столь же легкого веса, не зная в лицо журна-

листа, обидел его. Скандал: кроме гостеприимства здесь оскорблена литература — ведь все эти опасные младенцы уважают газету совсем как тору.

Несколько дней спустя журналист встречает своего приятеля и рассказывает ему шутя: «меня-то у вас обидели»... Но тому не до шуток. Он слушает молча. Потом говорит лаконично, веско, как древний судья:

— Прольется кровь.

Вечером он сам идет к журналисту. И опять всего два слова:

— Кровь пролилась.

Это — любитель короткого диалога и быстрых жестов трагедии. А вот другой: Диккенс Балут, самое уважаемое лицо, почти цадик. Он карточный шулер, нет опытнее его в крапе, в передергивании, в подметывании, в замене колод. Он «работает» в самых лучших клубах. Он надевает на себя крахмальную манишку. Но живет он в Балутах и душой он с Балутами. Он «работает» много лет, но ни разу он еще не сидел в тюрьме: его все покрывают. Я же говорю вам, что это не просто шулер, это — сантиментальная новелла.

Вот он обыграл какого-нибудь приехавшего из Петрокова или из Ченстохова купца, начисто обыграл: пятьсот злотых в кармане. Он не пьет, не кутит. Правда, имеется у него подруга с пудрой поверх синяков, но это бытовая мелочь. Не на нее «работает» Диккенс. Удалось?.. Значит все ждут приглашения. Скоро свадьба...

Чувствительный шулер занят в жизни одним: он выдает бедных девушек замуж. Он дает за ними приданое. Он смотрит, чтобы девушки были честные — без «прошлого», не чересчур кокетливые, не ветреные, хорошие хозяйки. Он находит и женихов. О, не шулеров, нет, ни в коем случае — честных ремесленников: скорняков, сапожников, портняжек. Это единственная страсть в его жизни.

Девушка получает приданое: 400 злотых. На 100 остальных — свадьба с закуской, с музыкой, с рэби и с фокс-тротом. За свадебным ужином Диккенс сияет, как самый счастливый отец: это уж двадцать девятая свадьба. Он пьет за стопочкой стопку. Он танцует не то хасидские танцы, не то чарльстон, скорей всего нечто среднее. Он действительно счастлив. Выходя рано утром на улицу, он одаряет нищих последней мелочью, — вот уж от 500 злотых не осталось ни гроша — и, слушая их поздравления, он важно кивает головой: «да, чтобы много сыновей и чтобы до 120 лет»... Потом — уж время — заходит в синагогу, и вместе с сутенерами, которые жалуются — «ночь была пустая», соболезнуя им, «таки маленькая ночь», истово молится.

15. Вылазка.

Я писал уже о том, что на фабрики евреев не берут. Это, если угодно, военная мера. Еврейские рабочие прибегают к самообороне. Несколько лет тому назад возник ряд производственных кооперативов. Рабочие пытаются наладить свои фабрики. Одно из этих предприятий я видел: варшавский завод «Металловец». Там работает 300 человек — все члены профсоюза. Они производят весы, ступки, серебряную утварь. Трудно приходится конкуриро-

вать с крупным капиталом. Но справляются. Так еще раз опровергается басня, будто бы польские евреи — плохие рабочие. Поставленные в сносные условия, они работают превосходно — ведь только благодаря этому «Металловец» существует. Иначе его давно забили бы большие заводы.

Но кооперативы, конечно, — острова. Это скорей демонстрация, нежели жизнь. Что же остается миллионной бедноте? Ремесло и торговля. Ткачи, кожевники, столяры вырабатывают 80—120 злотых в месяц: «селедочный» бюджет. Не лучше живется и мелким торговцам. О, это далеко не буржуазия! Это попросту откровенное нищенство. Хорошо, если после дня торговли «у буржуя» в кармане останется пять злотых. По рукам ходят свои «еврейские деньги» — анекдотические векселя на 5 или на 10 злотых, испещренных подписями поручителей. Никто по ним платить не будет — ни у кого этих злотых нет. Векселя — абстракция. Ведь надо как-нибудь жить, и вот в итоге — после десяти подписей у Шнеерсона — булка, а у Ройтмана — даже полфунта колбасы.

Сколько здесь чудовищных профессий! В Балутах отдают детей полицейским за 40 грошей в день (такова такса). Вот улица шарманщиков. Это профессия наследственная и почтенная. Шарманщики ходят со скворцами, которые вытягивают «счастье». Нищие без скворцов делятся на цехи. Одни умеют хорошо плакать. Они знают на зубок, где какой еврей болен. «Кажется, Мойзер скоро умрет...» И они караулят возле дома Мойзера. Они воют на похоронах, и за это получают угощение, даже подарки — старые ботинки, платье, картуз. Другие нищие облюбовали свадьбы. Они умеют красноречиво поздравлять: «чтоб все родились сыновья, и чтоб каждый дожил до 120 лет, и чтоб у каждого были сыновья, и чтоб эти сыновья...».

На косяках дверей в еврейских домах висит священный свиток. Если он не в порядке, с обитателями может стрястись беда. Вот еще профессия: обходить дома и глядеть, в порядке ли свитки? Такой спец приходит раз в неделю, как служащий электрического общества, он получает 20—30 грошей «за наблюдение».

Возле каждого праздника живут люди. Один разносит в «пурим» подарки. Другой — продает перед «Иом-Кипуром» маленькие флакончики с нашатырем, чтобы предохранить постящихся от обморока. Третий — под пасху собирает остатки хлеба («хомец») — жечь. Велика изворотливость этих людей. Наверное здесь гибнут сотни никому не ведомых изобретателей. Цель одна — наскрести два злотых на «обед». Это некая условность: те же селедки делятся между теми же ртами. Ведь даже торговля редко выходит за пределы гетто. Один еврей берет сегодня у другого злотый, а завтра ему этот злотый отдает. Нехитрое занятье усложняется жестами, разговорами, видимостью профессий и пресловутой еврейской надеждой, которая ежеминутно создает среди мусора дворов «американские миллионы».

Положение евреев в Польше до нельзя просто — это голодная смерть осажденных. Ждать помощи со стороны — наивно. Только вылазка может спасти население зачумленной крепости. Но для вылазки нужны иная воля и иная смелость. Надежда одна — на следующее поколение.

Там, где шумят страсти, нет ни чувства меры, ни гармонии, ни просто равновесия. Евреи — не французы, и нелепо приравнивать улыбку Гейне к лыбке Вольтера. Евреи живут контрастами. Среди них реже всего попаются корректные лица и умеренное счастье. В Польше не мало обыкноенных, вполне нормальных поляков, но все польские евреи полны преувеичений. Это — богачи или голь Налевок, хасиды, хватающие «шираим», ли фанатики современности, «поляки моисеева закона», или отчаянные погояльцы густо населенных тюрем. Середина отсутствует.

Ни один католический монастырь, где монахини щиплют девочек, не ожет потягаться с хедером. Хедеры следует показывать туристам наряду) средневековыми темницами или с «музеями пыток». Приведите в хедер зропейца, он негодующе восклицает: «но ведь евреи самый отсталый арод»!..

О странности народа мне говорить нечего: я об этом достаточно говоил. Лучше я расскажу о школе. Дети рабочих и ремесленников. Как и в едере, здесь поражает хилость детей. Это наш 20-й год, когда всюду зналось «дети — цветы жизни» и когда были дети, никогда в жизни не видвшие сливочного масла. Школа бессильна. Это — Налевки. В семье по эньшей мере 5—6 детей, тесная комната, хлеб, чай, селедка. Туберкулез. а все школы — одна санатория... Детские жизни никто не бережет. Польсое правительство предпочитает заказывать памятник в честь дарования эролем Казимиром «хартии вольности» евреям. Американские евреи предочитают насаждать в Палестине рощи имени Герцля. А лодзинские купцы, : предпочитают закармливать цадиков. Рабочие дети честно умирают.

16. Наши друзья.

Варшава — крупнейший центр еврейской культуры. По статистике есь 350 000 евреев — больше чем в каком-либо другом городе Европы. энечно, в Нью-Йорке евреев еще больше, но ведь нью-йоркские евреи — іериканцы. Книг они не читают. Зачем книги, когда существуют газеты? із в неделю нью-йоркский «Форвертс» выходит на 64 страницах: там и маны, и научные открытия, и стихи. Книги — для отсталой Европы. И равду, польские евреи любят книгу. Немногие из них могут ее покупать: дь читатели — это полунищие интеллигенты, рабочие, ремесленники. Книга оит 6—10 злотых: дневной заработок. А еврейская буржуазия либо чиет по-польски, либо — чаще всего — вовсе не читает. Таким образом, раж книг чрезвычайно низок — в среднем 1 000 экземпляров. Однако из их 1 000—900 попадают в библиотеки. Книгу читают, по меньшей мере, 000 читателей. В Польше существует около десяти литературных издальств, несколько литературных журналов. В еврейских газетах (а их в элыше свыше двадцати) много места отводится литературе.

Можно спорить о том, соответствует ли современная еврейская литетура уровню народа. Конечно, существует ряд прекрасных писателей, корые пишут по-еврейски. Многие из них переведены и на русский язык,

и никак не нуждаются в рекомендации. Но трагизм положения очевиден: создан не скептицизмом иноязычного автора, а ходом истории. Еврейская гература — чрезвычайно молода. Молод язык — «идиш». Здесь понятны цетская неловкость, и преувеличения, и ограниченность поля зрения. Для бенка — это вундеркинд. Но беда в том, что евреи не словенцы, не фламдцы и не татары. Они не дети, и при всей их темпераментности ребякие игры им не к лицу. Еврейский народ несравненно старше, выше, аче, многосторонней еврейской литературы. Писатели-«идишисты» тольодно из проявлений еврейского духа.

Читатели начинают это понимать. Здесь об'яснение успеха переводных иг. Еврейская литература, как всякая молодая литература — локальна, цко, редко писатель выползает из быта местечка. Он националист не по ологии, а по масштабу. Изображая людей, которые жаждут выйти из то, «новых», если хотите, людей, он сам останется в гетто и «новые» ци сплошь да рядом предпочитают книги русских или французских авто-. Невольно читатель идет впереди писателя. Список книг, выходящих Іольше, поучителен. Он отражает не только кочевые инстинкты читате-, но действительную широту зрения. Если на еврейском языке еще не уществует мировой литературы, то литературное оформление этого языка озволило духовно зрелому народу войти в самую гущу европейского бытия. Іахудалые местечки стали очагами большой и общей культуры. Нет, кажется, и одной значительной книги, появившейся в Европе после войны, которая е была бы переведена на еврейский язык, которая не обсуждалась бы в ымных и тесных клубах со всей страстностью профессиональных «искаелей правды».

Кто ходит в Варшаве или в Лодзи на лекции, на литературные вечера, а концерты? В залах и аудиториях нет пятипроцентной нормы. Поглядите на ица: девять десятых евреи. Евреи слушают Клод Фаррера и поэтов «Скаланера», Оборина и Честертона, Томаса Мана и польских футуристов. Кто-то из ностранцев об'явил концерт в «Иом-Кипур». Хасидские традиции еще сильы. На концерт пришли 8 человек — и то евреи, только «вольнодумцы».

Здесь следует остановиться на одном явлении, вызывающем столько поров и нареканий, на традиционной привязанности польских евреев к усской культуре, в частности к русской литературе. Поляки издавна обвиняют евреев в «руссификаторских» тенденциях, не стараясь понять, чем они ызваны. В свое время они ссылались на «выгоду» — русские в Польше — эспода, и евреям, конечно, выгодно ориентироваться на Россию. Но вот все еременилось. Русские в Польше — парии, их преследуют совсем как зреев. Куда «выгоднее» — обожать польское. И при всем этом любовь врейского читателя к русской литературе ничуть не ослабела. Что каіется польских писателей, то евреи их почти не читают. В то время как усские классики выдержали множество изданий, до сих пор еще нет полных ереводов даже Мицкевича и Словацкого. Евреи переводят современных усских писателей. Каден-Бандровского они не переводят. Поляки приводят эугой довод — евреи любят Россию, потому что там, мол, они, евреи, у

власти. Остается спросить: ну, а прежде?.. Ведь евреев угнетали в России еще почище, чем в Польше... И потом, честно ли об'яснять необычайные тиражи Достоевского и Толстого «еврейским засильем»?

Если бы поляки обладали хоть некоторым чувством критицизма, они легко бы поняли, почему евреи читают русских писателей, а не польских. Евреи — не их литература, но их сознание — доросли до действительного ощущения всечеловеческой культуры. Это не космополитизм снобов и не интернационализм политических деятелей. Это расширение эмоциональной структуры человека, не интерес к частному, к местному, к национально-ограниченному. От польской литературы евреев отталкивает ее узость, да позволено будет сказать — ее подлинная «местечковость». Эти большие страсти столь интимны, что за пределами тесного семейного круга они становятся попросту скучными, как влюбленность Икса или серебряная свадьба Игрека. Польский «мессионизм» был обкарнан географическими линиями. Конечно, польские евреи должны переводить польских писателей: как никак, это соседи, интимные дела за перегородкой способны, если не потрясать, то все же беспокоить. Однако этот интерес останется в рамках домашней вежливости или же практической этнографии.

Русская литература была и осталась путеводительной для польских евреев потому, что это литература всечеловеческая. Таков ее национальный склад, ее традиции и пафос, смысл ее существования. Медикаменты (пусть зачастую никчемнные), которые вырабатываются в ее лабораториях, предусматривают неизменно спасение всех. Мечтатели еврейских местечек находят в этой российской широте надежду и опору. Наша литература в библиотеках Белостока, Радома или варшавских Налевок — это клочок лазури арестанту. Это прежде всего залог удачного побега из местечка, из гетто и не в «шикарную цукерню», но в мир. Переводами русских книг на еврейский мы вправе гордиться: это не мода и не снобизм. Это потребность, которая сильнее польской «взаправды» или лжи Сиона. Об этом России надлежит помнить, чтобы в темноте затянувшейся ночи не спутать тех, кто укрепляет проволочные заграждения вдоль произвольной границы с теми, кто рвет их зачастую ценою жизни.

17. На прощание.

Ночь. За окнами вагона снег, узкая белая полоса, вычерчиваемая поездом. Дальше — темнота. Что мы видим, колеся по свету: два-три аршина, узкую полоску, сугроб, столб, да еще тупые физиономии попутчиков, которые, сопя и качаясь, стряхивают с себя теплый, животный сон....

Через час граница. Итак, досказаны все «приветственные речи». Проглочены все тосты, справедливо оплачиваемые двойными рюмками «рябиновки». Расточены все дипломатические улыбки. «Часть официальная» закончена. Теперь время задуматься, под меру колес подогнать мысли, найти счет чувствам, встречам, городам. Но думать не хочется: круглый фонарь, полоса снега, пара глаз — все это способно довести человека до благодушия,

позевывания, до сна, теплого, псиного сна на плече какого-нибудь сердо-льного пана.

Чтобы не уснуть, я просматриваю газеты, ворох всученный мне на про-ние одним остроумным поклонником. Это тоже напутственные речи, не на нкетах, без рябиновки.

«Эренбург бил поклоны цадику» («Курьер заходни»).

«Большевистский писатель Эли Эренбург обрадовал всю иудейскую ршаву» («Слово», Радом).

«Большевистский писатель рэби Эли Эренбург сказал, что Бабеля зо-г не «Иван», но «Исак»! («Слово поморске, Торн).

«Издание собрания сочинений этого российско-семитского наплева-іьства крайне вредно» («Курьер познанский»).

«Плюгавый певец чрезвычайки» («Курьер лудский»).

«У нас нет цензуры. Но распространению таких книг, возбуждающих ıссовую ненависть, должен быть положен конец. Спекуляция издательства ееет свои границы. При настоящих условиях издание книг Эренбурга дело ıужное и опасное» («Слово», Варшава).

«Эренбург может забирать свои пожитки и возвращаться во-свояси. Иы хорошо знаем, как вредят «жидэки» России... Мы знаем, чему служат се эти «спецы» Эренбурги, Бабели, Пастернаки, Мандельштамы» («Слово юльске», Львов).

Милые люди — они начинают разговаривать по душам! Они видимо юятся, что я плохо пойму душу Польши, что я поверю в тосты и в улыбки. Эни спешат «высказаться». Ведь они все время молчали. Те же, что говорили осты, будут молчать теперь. Никто из них не запечатлеет своих «горячих ıувств» на бумаге. Они ждут: что я скажу о Польше?.. Буду ругать или ;валить?

Правда, что я скажу о Польше?.. Узкая белая полоска. Темнота. Ругать?.. Но легкость задания заранее сводит скулы. О, как хочется спать іа плече пана!.. Кто же из русских писателей не ругал Польши? Это путе-ıая обрядность: из окна вагона, вроде как несколько восторженных слов ю поводу Кельнского собора.

Хвалить? Но скажите, без всякой дипломатии, мои польские друзья, е, что искренно, а не только в порядке вежливости жали мне на вокзалах уку, что можно хвалить в сегодняшней Польше, кроме краковских древно-тей, кроме вашей дружбы и кроме десяти сортов водок?..

Темнота. Позади легенды, позади романтика, «мессионизм», ге-юические жесты повстанцев, все, все позади. И — победа: военщина, чужие ерритории, бестолочь, решетчатые окна «Павиака», страх, сон. Узкая по-юска снега.

Если Пилсудский и впрямь «не спит всю ночь» — он должен много и орько думать. Это все же человек большой воли и большого размаха. Он не ıожет думать только о Вольдемарасе — этим нельзя заполнить настоящей ессонницы. Он должен думать и о своей стране, об этой легкомысленной, но кестокой стране, у которой достаточно храбрости, чтобы героически уме-

реть, но которая боится заменить пышные портреты XVII века обыкновенным зеркалом.

Вот полустанок, баба в тулупе, пес. И снова — полоска снега. Так и у нас. Если ехать на восток — это может повторяться много дней, тысячи верст: тулуп, сугробы, тишина. Я еду не на восток, и сейчас это кончится: скоро граница. Да, здесь еще наше. Но без десяти лет революции, без жертв и без самозабвения.

Я вспоминаю глаза одной девушки, которая пришла ко мне в Варшаве после лекции. Это не была профессиональная истеричка, из тех, что охотятся за «знаменитостями», назначая рандеву или выпрашивая автографы. Нет, у нее были угрюмые, даже грозные глаза. Ее слова были до того наивны, что, не будь этих глаз, я подумал бы: из «дефензивы». Она рассказала мне о своей жизни: легкой, сытой, пустой и ненавистной. Ей предстоит муж с положением, «цукерни», Цоппот, «Кви-про-кво». Она требовала у меня ответа: правда ли то, о чем я пишу в книгах, или выдумка: жизнь Курбова, любовь Жанны?.. Если правда — она откажется от всего. И прямо, в упор, не спуская с меня сердитых глаз: — Можете ли вы меня свести здесь с людьми, как Курбов?..

Вот такие когда-то у нас становились террористками. Чем станет она в Варшаве?.. У нее нет логики. Но у нее — задыхание рыбы на песке, решимость агонии.

Колеса требуют счета. Польша... Что с ней будет?.. Впрочем, я ведь забыл сказать, девушка, которая не хотела «цукерен», была еврейкой. Я не знаю хватит ли у нее сил переменить уют Маршалковской на снег, на нищету, на нары «Павиака»? Да и нужно ли это? Пускай выходит замуж!.. Ее глаза здесь ни к чему. Это исступление далекого востока. «Чеснок»... «Жидэки»... «Вход запрещен»...

А Польша, а тысячи верст и снег — какое отторжение, какая тоска, какое бессилие! Это не жизнь, это «себялюбивый одинокий сон». Я не хочу ругать и мне нечего хвалить. Я только пытаюсь вглядеться в темноту, найти человеческие глаза, живые, теплые руки. Больных «манией величия» следует жалеть, тем паче, когда поражен мозг не человека — народа.

Впрочем, народа ли? Народ ли пишет в газетах, ходит в «цукерни», устраивает перевороты, толчется по улицам Варшавы — народ ли, или только призраки, герои старинных романов, традиции в новеньких пиджачках? Что касается народа, то он сродни русскому. Он тоже полон снега и темноты. Он тоже «безмолвствует» во всех классических трагедиях. Вероятно, он тоже не глухонемой. Вероятно, он тоже сумеет заговорить. Может быть, пулеметами. Но тщетно вглядываться в темь. Глаз ничего не различит. Завтрашний день Польши жесток своей непонятностью.

Граница. Начинается разумный и ясный мир. Вагоны отоплены. Станции освещены. Пассажиры подбираются, они аккуратно дремлют, взяв на прокат подвесные подушечки. Здесь все понятно, и быстро, быстро снег уступает, слабеет, сходит на-нет.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

В иной губернии.

Родион Акульшин.

Две ли дороги?

На Родниковской текстильной фабрике больше одиннадцати тысяч ра-
х. До революции из всей этой массы пролетариев было совсем незначи-
ное количество. С девятьсот семнадцатого пролетарий постепенно вы-
сняет с фабрики крестьянина. Но не нужно думать, что вытеснитель появ-
ется откуда-то издалека, или сваливается с неба. Новые партии пролета-
ата поставляет для фабрики крестьянство из окрестных деревень.

Подмастерье, уже тридцать пять лет проработавший на фабрике, и до
х пор не порвавший связи с землею, жалуется:

— А вот сыновья мои не хотят числиться крестьянами, каждый день
истают: «Выпиши нас из крестьянского звания, в пролетарии подадимся,
тому что у пролетария дорога — во, какая широкая, а у крестьянина вот
акая узенькая, никак невозможно по такой дороге итти в теперешнее
емя».

Большой котел, в котором бурлит критика существующего положения
щей — казарма-общежитие для одиночек на восемьсот человек.

Койка рядом с койкой, голова с головой, по четыреста коек в каждом
аже. Не умолкая гудят электрические вентиляторы, но воздух в помещении
е-таки слишком перенасыщен людскими запахами. По стенам портреты
ждей.

— Вместе с нами коптятся, — шутят рабочие, показывая на прожел-
лых — Рыкова, Луначарского, Маркса.

Все койки одинаковы: серое одеяло и белая подушка. Но на одинако-
х постелях разные люди, хотя слово, определяющее положение этих людей,
но для всех:

— Рабочие.

Ткачи, прядильщики, уборщики, красильщики, со стажем от двух до
тидесяти лет. Юные комсомольцы и седобородые старики, сосредоточенно-
лчаливые и добродушно-откровенные.

Шесть дней недели они принадлежат фабрике, седьмой день посвящают
естьянству, потому что они — рабочие плюс крестьяне, а, вернее, наобо-

рот: крестьяне плюс рабочие. Зимой отдыхают, а с весны до осени работают удесятеренной тягой. Чтоб выкроить время для посева, сенокоса, уборки и молотьбы, они должны в летнюю пору обходиться без отдыха и сна, потому что летом они больше крестьяне, чем рабочие, хотя через каждые сутки им приходится не отходить от станка по шестнадцати часов.

Откуда эта небывалая цифра рабочих часов в то время, когда многие производства переходят на семичасовой рабочий день?

Она, цифра эта, написана необходимостью и добровольным соглашением. Ткач работает сначала восемь часов за себя, потом восемь часов за своего товарища, который в это время справляет дела по крестьянству, а на другой день приходит и освобождает заработавшегося на целые сутки.

Летом спальни пусты круглые сутки. От станка рабочие торопятся в деревни за десять, двенадцать и пятнадцать верст, а, придя домой, спешат сеять, боронить, косить.

В будние зимние дни, после смены, казарма гудит, как громадный улей без меда. Пчелам, проработавшим восемь часов и оставившим мед на месте работы, нужно отдохнуть.

Умывшись, рабочие ложатся на постели и принимаются за газеты. На восемьсот коек — восемьсот экземпляров разных газет, не считая журналов. Но многих только газетное чтение не удовлетворяет, и они, не менее одного раза в неделю, идут в библиотеку, чтобы взять хорошую книгу «про картины человеческой жизни, про всякие чувства и настроения», как выражается один из рабочих.

Из писателей больше нравятся прежние, «потому что у них все понятно, а у теперешних часто такие шутки описываются, что вслух читать, если тут бабы вертятся, очень неспособно».

Вот несколько человек подталкивают сидящего на койке № 117.

— Покажи, Григорий, ну, чего боишься.

— Да нет, что там, — стесняясь, отнекивается сорокапятилетний поэт.

А когда тетрадка попадает в мои руки, меня окружают плотным кольцом и ждут, затаив дыхание, что я скажу, как будто все принимали участие в создании этих стихотворений.

Повязки красные мелькают
По корпусам у нас не зря.
Они в нас веру укрепляют
В непобедимость Октября.

— Хорошие стихи.

Масса невыразимо довольна. У каждого на лице счастливая улыбка.

— Я говорил тебе, Григорий, чтоб ты показал кому-нибудь.

— Очень складные, за сердце хватают.

Но все же беседа о газетах, книгах и стихах занимает внимание рабочих на короткое время. А потом все разговоры начинают вращаться вокруг одной оси: кому лучше жить — пролетарию, или крестьянину?

— У меня одна лошадь, одна корова, три десятины посева, семь чело- :емьи, работаю один. Умер отец, пошел я на похороны просить, а мне ят: «Хотя ты наш рабочий, но в то же время ты крестьянин. Как кре- ин — ты середняк, значит, тебе не полагается». А у пролетария, к при- четверо из семьи работают, и ему все равно полагается. Его семья зара- лает триста, я на всю семью — пятьдесят. Ему дают, а мне не дают. ке это?

— Приходят к нам ораторы, о разных штуках болтают, а не могут понять, что нет им никакой веры, потому что не прислушиваются они олевшему сердцу.

— Об индустриализации теперь много разговоров. Это не плохо, но стьянину нужно помочь по-настоящему, потому что без хлеба инду- лизация ни к чему хорошему не приведет. Индустриализация и хлеб — ве руки одного тела. Нужно, чтоб обе руки были здоровые, крепкие, е была наша республика однорукою.

В письме ВЦСПС о новых кадрах рабочих есть такие строки:

«Рабочие, пришедшие на фабрику после революции, больше связаны лей, чем с фабрикой, целиком проникнуты крестьянскими интересами, оем большинстве склонны держаться в стороне от основной пролетарской сы, ее интересов и общественности, и рассматривать себя, как случайных, иенных гостей фабрики, завода, города».

Другое приходится наблюдать в Родниках. Старики-рабочие, прорабо- шие на фабрике от тридцати до пятидесяти лет (на работу поступили есятилетнего возраста), перенесшие на своих плечах не одну забастовку)революционное время, пережившие тяжелые годы первых лет революции, ересующиеся рабочим движением и любящие свой станок, — все же счи- т себя крестьянами, не порывают с землей, а приезжих ораторов от губ- а партии и из Москвы убеждают похлопотать перед властью об улучше- крестьянской жизни. А молодежь порывает с землей без всякого сожа- ия, и старики понимают своих детей:

— Видно, в наше время за двумя зайцами гнаться никак невозможно. жде мы устраивали свою жизнь на двух берегах. На одном берегу мы и, как рабочие, на другом — как крестьяне. Но теперь другое время. сли человек перетолкнулся один раз к пролетарскому берегу, ему нет воз- га назад. Да это, может быть, и лучше. Тем, кто желает остаться кре- нами, больше достанется земли. А больше земли, значит и у крестьянина нь будет лучше. Надо так устраивать жизнь, чтоб было одинаково хо- ю и рабочим и крестьянам.

— Рано или поздно советская власть, конечно, достигнет такого поло- ния, — делает вывод высокий русоголовый человек.

— Если вместо двух дорог—широкой и узкой—устроить одну легкую, бодную, общую для рабочих и крестьян, — добавляет другой.

И снова вспыхивает тема о «двух дорогах».

— Прежний директор фабрики говорил: «Для меня не существует ни стьянина, ни рабочего. Я знаю только трудящихся, которым нужно

есть и пить». А что говорит новый директор? «Хотя из пролетарской семьи работает семь человек, возьмем восьмого, а крестьянин пусть не рассчитывает на фабрику».

— Это, конечно, ерунда, потому что пролетарии из нашего же брата выходят, но только я это дело понимаю так, что всем крестьянам нельзя в пролетарии подаваться. А кто ж будет тогда производителем хлеба? А во что же превратятся наши поля? В пустыни? Но тогда и пролетариям делать будет нечего. Для облегчения жизни, по-моему, есть два выхода. Об одном сказал давеча Тимофей Смуров: «Индустриализация и хлеб—две руки одного тела». О другом выходе написал стихами наш сочинитель от станка, Григорий Кочетов:

Что мы быстро, год за годом,
Сбросим горькую нужду
Только дружным переходом
К коллективному труду.
Мы дерзнули, мы посмели
Встать на новый светлый путь
И хоть много не успели,
Нас назад не повернуть.

— По-твоему, значит, — обращаются все к русоголовому, — у нас одна дорога?

— Конечно. И по этой дороге, как будто бы, мчится тройка.

— Куда же она мчится? — гудит хором вопрос.

— К социализму.

— А кто в кореннике?

— Ну, понятно, тот, кто лучше дорогу знает — сознательный пролетарий.

— А крестьяне, значит, в пристяжке, — смеются участники диспута,— скажи, кучером-то кто?

— Ленинизм, — отвечает русоголовый.

— Так, — примиренно раздаются голоса, а головы многих поднимаются и глаза устремляются на портрет Ленина.

Двенадцать часов ночи. На работу в пять утра. Разговоры интересные, но все-таки нужно отдохнуть.

Материнское сердце.

В субботний день по дорогам, разбегающимся лучами от большой фабрики, идут и едут рабочие и работницы, живущие по деревням.

Людские волны, густые и шумливые у фабричных ворот, по мере удаления в просторы лугов постепенно редеют и затихают.

И вот уже все пришли домой. Только по дороге к деревне Величкино идут две молодых женщины — Катерина и Варвара. У первой на руках грудной ребенок. Ветер, начавшийся с утра, разыгрывается в метель. Снежная пыль с налету проникает за пеленки, в которых закутан младенец.

Дорога непротоpенная. Женщины устали. Пройдено двенадцать верст. лось три.

— Передохни немного, давай я понесу, — просит Варвара.

— Дойду как-нибудь. У тебя шуба узкая, а у меня ему тепло.

— Устала ты, наверно, — снова говорит Варвара, — но все равно, я ую тебе, ты каждый день его видишь, у тебя сердце в спокое. А я себе ı не нахожу. Иду вот сейчас домой, а сама боюсь: а ну как за неделю л приключилось что-нибудь. Пяти месяцев нету, как родился-то. Кабы ьше на месяц, глядишь, тоже приняли б в ясли, а тут пошла просить, — ят: «переполнено». На хорошую теплую квартиру с ребенком никто не ıет. Так и пришлось отнять от грудей, на отца все заботы взвалить. шо, что муж терпеливый — и печку топит, и корову доит, и за телен- 'хаживает.

— А с ребенком справляется?

— Справляется покуда. Первый он у нас, ребенок-то. Четыре года ı. Боялись, что совсем не будет детей. А теперь вот есть, да только о не приходится его видеть. Один раз в неделю всего-на-всего.

Катерина хорошо знает о трудной жизни своей подруги, знает, лько месяцев ребенку, сколько пришлось затратить времени Варваре на результатные хлопоты о помещении мальчика в ясли, Варвара уже не раз сказывала об этом, но таково свойство человеческого горя, что ищет оно ход в гласности, в неоднократном повествовании о себе. И уж потом, да печаль изживается, как бываешь благодарен своим друзьям за их снис- ительное выслушивание грустных рассказов.

— Коль муж хороший, это еще ничего, — утешает Катерина.

— Грудей-то у мужа нету. Ты восемь часов отработаешь, в ясли шь, каждый день он у тебя перед глазами. А я стою за сновальной маши- і, смотрю, как основа течет, и вдруг сердце вот как заноет, и перед гла- ıи туман расстелется. Так бы и расплакалась на всю фабрику.

— Кажись, мой навстречу идет, — говорит Катерина. — Васюрка, снись, тятя идет... Не хочешь? Ну, спи, спи.

Дорога разделяется. Подошедший мужик, поздоровавшись с женой и ее ругой, приподнимает край пеленки и, улыбнувшись, говорит:

— Во, как крепко уснул.

Потом берет младенца на свои руки и прячет под тулупом.

Муж с женой идут направо. Мать без ребенка хочет спросить у своего осельца, не случилось ли что с ее пятимесячным сыном, но боится. Уже мнело. В избах огни. Огонь и в ее избе, но через замороженные стекла ıего не видно, что делается внутри. Как страшно браться за ручку двери ле недельного отсутствия, как сильно колотится сердце. А в избе тихо. г, вдруг откроет она дверь, а муж в постели, а, может быть, и... «Нет, нет, го не надо» — как будто умоляет она рогожей обитую дверь. Оглянув- сь на крыльцо, желая найти на дворе признаки благополучия, работница ıечает освещенные ласковым светом из окна, еще не занесенные метелью ды на снегу: кто-то, значит, входил в избу, или выходил на двор. И что

она боится? Ведь в избе огонь. Больному не до огня, значит муж здоров. Ведь только неделя прошла со дня разлуки. Не хочется думать о том, что огонь мог быть зажженным пришедшей навестить больного соседкой, не хочется секунды растягивать до бесконечности. Сердце из груди как будто вылетает, дыхание задерживается, рука тяжело падает на ручку, дверь открывается.

Муж режет черствый хлеб на сухари. У кровати висит люлька.

— Гриша!

— Катя!

Оба рады. Мать чувствует, что дома все благополучно, по глазам мужа видно. Сынишка возится в люльке. Дрожащими руками пришедшая поправляет пеленки, мальчик открывает голубые глаза и потягивается. Отец улыбается. Материнской радости тесно в груди, и она выливается теплыми слезами. Муж сначала недоумевает:

— Ну, чево ж ты?

— Ох, — только это может сказать пережившая бесконечную тревогу мать и жена. В ее вздохе — радость свидания, любовь к младенцу и мужу, тоска при мысли о неизбежной разлуке через день, необходимость смирения перед неизбежностью.

Уже далеко за полночь, а все еще не гаснут огни в избах матерей, пришедших с фабрики в субботний день. О многом нужно переговорить.

В воскресенье матери топят печку, стирают белье, штопают то, что прохудилось. В один день они стараются наверстать упущения за неделю.

После воскресенья работа в дневной смене. К часу дня нужно быть на фабрике.

Мать прощается с ребенком. «Кабы не встречались, да не прощались, то бы и с горем не знались». Пословица есть такая. Кто не испытывал тяжести разлуки? Мать уходит на целую неделю, которая кажется ей вечностью. Если б слезы человечества стекались ручьями в одно место, образовался бы шестой океан на земном шаре, и люди назвали бы его «океаном страданья». Но слезы падают на дорогу, впитываются в снег, испаряются в солнечных лучах, уносятся весенними струями в реки, из рек в моря. Слезы — это то, что переворачивает все сердце у постороннего, слезы — это горькое облегченье страданья у плачущего. Многие люди вздыхают: «О, если б я умел плакать». Сухое горе непереносимо.

Жена плачет. Муж провожает жену до калитки.

— Ну, ладно, не надрывай свово сердца, я ведь все умею, сама видишь.

С подругой Катериной идет муж. Он несет ребенка пять верст, потом прощается. Дальше по дороге уже много рабочих и работниц. Девицы просят у матери понести мальчика. День теплый. Мать соглашается. Но вот ребенок начинает плакать. Варя вынимает из кармана ключи и дает подруге.

— Ключиками забавь. Мой как заплачет, Гриша все ключиками забавляет.

Начинается тихая песенка:

А вот ключики звенят,
Васе плакать не велят.

Ребенок успокаивается. За леском виднеется фабричная труба. Надо торопиться. Людские волны снова пустеют. Говор многих сотен людей, как шум разыгравшегося моря.

Трудная задача.

Название газеты в этой губернии «Рабочий край». Но все же крестьян здесь больше, чем рабочих. Крестьяне, полукрестьяне и пролетарии — вот население Иваново-вознесенской губернии. Крестьяне живут только своей землей, своим домом, своим хозяйством, не подрабатывая ни копейки на стороне. Полукрестьяне, занимаясь сельским хозяйством, подрабатывают на фабрике от тридцати до ста рублей в месяц. У пролетариев—жизненная база—зарплата. О таком подразделении я знал, выезжая рано утром на фабричных лошадях в ближайшие к фабрике деревни. Мне хотелось познакомиться с представителями всех групп населения, побывать в их квартирах, поговорить с ними, ничего не навязывая от себя. В жалобах крестьян Самарской и Архангельской губернии много общего. В рабочем краю я надеялся увидеть и услышать что-то новое.

В'езжающий в какую-либо деревню прежде всего обращает внимание на внешность построек. В развалившихся лачугах невольно предполагаешь тощие животы обитателей, рваную заплатанную одежду, бедность в каждом углу.

Поселки вблизи Родниковской фабрики радуют своим видом: новые дома, светлые окна, почти при каждом доме крыльцо-веранда. На улице играют хорошо одетые дети: ни одного в рваном пиджаке, в рваной шапке. Разве это не признак благополучия? Во всех этих светлых домах живут крестьяне, не работающих на фабрике здесь не найти.

Скрипят полозья саней. Дальше и дальше от фабричного центра. Все меньше видимого благосостояния. Вот уже покосившиеся на сторону, плохо покрытые избы, развалившиеся сараи.

В большом селе останавливаюсь у сельсовета, чтобы спросить, где можно переночевать. На сельском учреждении никакой вывески. Это просто небольшая изба, которую хозяева сдают по необходимости: семья из восьми человек, на фабрике никто не работает, жить как-нибудь надо. В передней помещается совет, в тесной кухне — хозяева. На всякого приезжего в деревню крестьяне смотрят, как на вестника: приехал, значит, есть какое-то дело, может быть, агент страховой, налоговый, по делам земельным, или от райкома насчет кампании очередной. Всякому хочется, чтоб приехавший утешил радостью.

В сельсовете назначено собрание по вопросу о распределении леса между беднейшими. В небольшой комнате до двадцати человек. Трещат

дрова в железной печке. Члены распределительной комиссии сидят на полу, на сундуке, стоят, прислонившись к стене. Молодой председатель совета сильно озабочен: на столе горы заявлений: в каждом доказывается, что проситель очень бедный, что лес ему необходим до-зарезу. Чтоб всех удовлетворить, нужно несколько тысяч бревен, а их всего-на-всего сто штук.

— Ну, что ж, говори, что нужно тебе, — думают собравшиеся, и пока я не сообщаю о цели своего приезда, все чувствуют себя связанными. Но, когда узнают, что мне хочется узнать о жизни здешних крестьян, собрание приостанавливается, и я выслушиваю одну грустную повесть за другою. Говорят члены совета, члены распределительной комиссии, хозяева дома и крестьяне, пришедшие личной просьбой подкрепить письменное заявление о получении леса.

— Как живем? Гляди.

Сидящий на сундуке показывает на высокого, сутулого, тощего человека с болезненным лицом. Не нужно быть врачом, не нужно выстукивать грудную клетку этого человека, чтоб сказать, что у него туберкулез: ввалившаяся грудь, торчащие (даже через пиджак заметно) лопатки, болезненный румянец. Он улыбается улыбкой безвыходности, вынужденной примиренности.

— Что ж делать, если жизнь распределяет свои блага, не сообразуясь с желаниями людей? — как будто говорит такая улыбка.

— Вот тебе жизнь этого человека, — продолжает сидящий на сундуке, — пять человек детей, жена, никакой живности во дворе, получает двадцать рублей за секретарство в совете. На двадцать рублей нужно одеваться, обуваться, отапливаться. Нелегко такую задачку решить. Но он ее решает. Какие б трудные задачи жизнь ни задавала, решать-то их нужно все-таки. Так вот. О чае и сахаре не бывает помину, ребятишки знают только черный хлеб, сами с женой едят через день, ходят разутые и раздетые.

Тот, о котором шел рассказ, сидя ко мне костлявой спиной, сучил пальцами опущенной правой руки. Иногда ладонь его выгибалась, пальцы, начиная с мизинца, прижимались и снова вытягивались, в движениях плеч была как бы просьба прекратить повествование о его жизни, но язык не мог выговорить желания.

В это время на кухне надрывно закашлял хозяин дома. Я посмотрел в раскрытую дверь. Постаревший прежде времени человек стоял на печном приступке, туго облокотившись грудью о край печки, как будто кирпичами желая выдавить боль из внутренностей.

— Вот тебе еще пример, — начал другой крестьянин с узкой и длинной рыжей бородой, с вкрапленными в нее кое-где отдельными седыми волосками. Мужик был в самодельной шапке с чудным узким козырьком, приоднятым кверху. Из-под шапки торчали серые волосы, повидимому, бывшие когда-то черными: — Это тебе наглядная картина. Шестнадцать лет человек работал на фабрике. Когда фабрика остановилась, определился на работу в союз работземлеса. Получил увечье, всю грудь деревом сплющило. А теперь

кто не хочет помочь. На фабрике говорят: «Мы не при чем, не фабрика) изувечила». И в работземлесе никаких последствий. «Он, — говорят, — л у нас на временной работе». По-нашему-то что ж, что на временной. дь жизнь его этой временной работой сломала, тело изувечилось. Вон, іди, как надрывается. От такого мученья умереть лучше.

Хозяин все кашлял. Концы зеленой тесемки, которой была подясана его серая рубаха, вздрагивали на правом боку. Миловидная зушка с жалостью смотрела на отца. Хозяйка дома бесшумно вздыла, опустив руки и держа левый указательный палец двумя пальцами звой руки...

Без конца бы продолжались разговоры, но председатель напомнил, что одня они собрались по другому делу, а если товарищ желает, то может об эм поговорить после собрания, хотя из разговоров все не узнаешь, надо ими глазами убедиться.

Председатель намекнул, чтоб я лучше походил по крестьянским избам, и тратить время на разговоры. Я пошел вместе с крестьянкой, из'явившей лание меня сопровождать. Прежде всего мы вошли в квартиру пролетария. сная старая изба. Слегка приподнятой рукой можно достать до потолка. 'нилые стены заклеены газетой. Хозяйка отдирает заклейку, и я вижу про:вечивающиеся провалы в стенах. На кровати, под дерюжкой двое детей. Семилинейная лампа освещает бедную обстановку. К печке направляется дымиатая кошка — единственная «живность» пролетарской семьи. Голенастый иаятник стенных дешевеньких часов с жестяным циферблатом задорно ти:ает, врываясь в тихие слова хозяйки:

— Муж с фабрики приходит раз в неделю... Скоро изба совсем развалится, а починить нет сил.

Потом мы заходим в крестьянский дом, хозяин которого работает на фабрике. Семья имеет лошадь и корову, но в избе нет кровати, и во всех тлах обычный деревенский беспорядок, менее бросающийся в глаза под іольшие праздники, когда очень не надолго барахло куда-то прячется, пол моется, окна вытираются. Но с наступлением ночи лохмотья неизбежно (олжны занять прежнее место на полу, где спит вся семья.

В третьем доме молодой хозяин, с красивыми большими глазами и бар:атными ресницами, болен туберкулезом. До последнего времени муж с женой занимались крестьянством. Работать приходилось жене. Мужу нельзя подимать тяжестей, нельзя дышать пылью. Молодой женщине трудно было деркать на своих плечах семью в пять человек. Лошади своей не было, за вся:ую подмогу со стороны приходилось расплачиваться работой. Пооветовавшись друг с другом, супруги решили отказаться от кретьянского надела.

— От земли отреклись, — говорит жена, — а ну, как меня не возьмут 'а фабрику, что тогда будем делать?

Хозяин показывает удостоверение о болезни, как будто я могу ему омочь, похлопотать о санатории, устроить на фабрику жену. Дети — мальики, похожие на отца, — тихие, большеглазые, внимательно глядят на меня

с печки. Что я могу сказать в утешение? В таких случаях бесцельная болтовня может только оскорбить ищущих за что-нибудь ухватиться.

В четвертом доме — двое работающих на фабрике. Но и здесь горе: семье психически больная девочка. Было воспаление мозга, девочка осталась живой, но сделалась ненормальной. Мать с отцом приходят по праздниам; за больной внучкой ухаживает старенькая бабушка, безропотная, ласкоая, любящая.

В избе не прибрано.

— Некому, милый, ухорашивать: мать с отцом на фабрике, я стара, та безразумна, тот мал еще и озорник великий, старший внук в школе за задцать верст отсюда.

Бабушке больше семидесяти лет. Она спрашивает, есть ли у меня ать, и когда узнает, что моя мать такая ж вот старушка, то начинает уговаривать меня, чтоб я не забывал ту, которая носила меня «в чреве своем, рудью своей кормила, ночей не досыпала, за жизнь мою тряслась как листоэк осиновый».

— Спасибо за совет хороший, никогда не позабываю о своей матери, ɔстить к ней два раза в год приезжаю, письма часто пишу.

Бабушка на печке плачет.

— Подойди ко мне поближе, на глаза твои взгляну.

Я подхожу.

— Вот ты какой хороший.

Я смущен. Я хочу понять, чем растрогал старушку, ведь я в первый аз ее вижу и едва успел перемолвиться с ней двумя-тремя словами. Вероятно, все матери на земном шаре сочувствуют друг другу. И если одну ɔстигает несчастье, другие соболезнуют ей, а счастливой сорадуются.

Больная внучка, заметив бабушкины слезы, начинает мычать, потом ɔднимает голову с подушки, подвигается к старухе и тычет пальцем в мокую щеку. Бабушка гладит внучку по голове.

— Лежи, лежи, я не буду плакать, — говорит она ей, потом начинает не рассказывать про девочку, которая «в иной час будто совсем разумом ɔосветлеет и все понимает, как остальные люди».

Больная снова поднимает голову и, взглянув на меня, улыбается, как удто от счастья, что ее хвалят. Продолговатое бледное лицо обрамляют ющиеся волосы.

— Лежи, милая, лежи, — говорит старушка, потом протяжно вздыхает спрашивает у меня о том, сколько верст отсюда до моей матери.

Чужая бабушка прощается со мной, как с родным сыном:

— Дай бог тебе счастья в жизни за то, что мать свою не ɔзабываешь.

А в сельсовете все решают трудную задачу, как распределить сто брен между беднейшими, чтобы никого не обидеть, чтобы ни от кого не услыать: «Несправедливо лес поделили». Распределяющие утомились, больной кретарь хлопочет о самоваре, потом аккуратно разрезает колбасу на вные кружочки и раздает по одному членам комиссии. Председатель совета

равдывается перед посторонними в расходе казенных денег на три фунта лбасы:

— Пять часов просидели, да еще пять просидим. Голова кружится, под жечкой сосет, а разговоры про колбасу обязательно будут. Скажут: «Что не сидеть с колбасой-то». А тут бы согласился на свои деньги пять фунтов пить, только от такого дела подальше уволиться.

Три фунта колбасы на один рубль пятьдесят копеек вызывают столько ясений, потому что они куплены на общественные деньги, а общественная тейка в бедной деревне то же, что сотня рублей в богатой столице.

Ухожу, не досидев до конца собрания. Ночую в доме, где есть радиоиемник. Хозяйский сын говорит:

— Сейчас будете слушать Москву.

Но вся сила из кислоты улетучилась, а свежей кислоты не оказалось. к я и не услышал в тот вечер Москвы, а надо бы рассеять то, что пришлось ышать в крестьянских избах и на заседании по распределению овса жду беднейшими.

Те, о которых никто не знает.

Их очень много. Может быть, поэтому о них никто не знает. Они не екламируют себя, не претендуют на звание героев труда, не перечисляют зоих заслуг, в анкетах на вопрос: «ваше участие в общественной работе» ишут: «посильное», а ведь как раз они-то и есть незаменимые строители дания, которое называется общественностью, они-то и есть те каменщики, узнецы и плотники, которые своим усердием и честностью постепенно вывоят нас из скученных и беспросветных конур карьеризма и беспринципности а светлую дорогу согретой любовью работы, идя по которой не набьешь караны червонцами, не будешь мелькать на страницах газет и журналов, не денешься в щегольские наряды, а взамен всего этого блеска сохранишь в уше радость творчества, одухотворяющую, солнечную.

Не грозовые тучи с нарядными молниями и ураганом питают жаждущие оля. Не блестящими говорунами живет и совершенствуется общество. Тихий ождь, падающий мелкими крупинками — надежда всякого земледельца. Общественные труженики, рассеянные по глухим углам республики — учителя, эльдшера, почтовые чиновники, агрономы, низовые кооператоры каждым ием, каждым часом своей работы приближают нас к счастливому будущему, котором мы все мечтаем.

Утром, после чаю, к которому была подана кислая капуста, отправлясь пешком по направлению к фабрике. Солнце светит по-весеннему, иду, солнечная дорога по блестящему снежному насту бежит рядом со мною с вой стороны. На редких пустых подводах лежат одетые в тулупы. Когда жно поворачивать с дороги, такие подводы задевают за встречные сани, ящему кричат: «Эй, гляди, у кобылы пятки назад с'ехали». Из тулупа вы-

совывается голова, с минуту недоуменно глядит на лошадь и снова ныряет в овчинный воротник.

Прохожу деревней, не встретив ни души. За околицей две ветряных мельницы, как будто уснувших на всю зиму. Крылья неподвижно застыли, к мельницам нет следа.

Поднимаюсь на пригорок — далеко во все стороны виднеются деревни, а кругом такая тишина, что кажется, будто и на полях и в крестьянских избах все спит непробудно до весны, будто исполнилась мечта многих: засыпать на время холодов, чтобы тем сберечь семенные хлебные запасы к весеннему севу.

Встречающиеся подводы кажутся прибывшими из иных земель. На деревенских улицах не у кого спросить, как пройти дальше. Иду по догадке. Вдали, на возвышенном месте, белеется каменное здание в окружении рощи. В белом доме когда-то жил барин, потом помещался районный исполком, после исполкома еще что-то и, наконец, богадельня. Дом постепенно разрушался, и, наконец, в нем стало невозможно жить. Стариков и старух выселили, в пустых комнатах на просторе загулял сквозной ветер. Но жилищный кризис в Родниках заставил местных властителей призадуматься над отысканием жилплощади. Выход нашелся очень скоро.

— Очистить дом, занимаемый приютом, а детей переселить в барский дом, в Старое село.

— Но не будет ли похоже переселение детей в разрушенное здание на ссылку?

— Ничего, у заведующего домом так много энергии, что ее во всяком случае хватит на то, чтобы восстановить разрушенное. К тому же, заведующий — коммунист. Переселение будет ему экзаменом на звание стойкого и не падающего духом человека.

Подобные этим рассказы слышал я о переселенческой истории от жителей Родников. Может быть, в них были неточности, и, чтобы самому посмотреть на человека с избытком энергии, я сворачиваю с дороги на тропинку влево. Сначала нужно спуститься в лощину, потом подняться вверх, пройти всю деревенскую улицу, и вот, наконец, передо мною парк без ограды, вдали слышны детские голоса, сквозь тонкие березовые ветви и мохнатые лапы елей виднеется дом.

Заведующий на дворе вместе с ребятами колет дрова, на снегу лежат матрацы, на веревках висят одеяла — повидимому, сегодня день уборки и генеральной чистки.

Знакомимся. Называю свою фамилию.

— Не ваш ли рассказ «Учительница» в «Учительской газете» напечатан?

— Мой.

— Неужели?

Молодой заведующий, на вид лет двадцати двух, смотрит на меня удив-нно. В его удивлении вопрос: как я попал в это захолустье, куда ни одна бака не забегает. Потом он спрашивает у детей:

— Ребятки, управитесь без меня? — и, получив ответ:

— Управимся, дядя Шура.

ведет меня в старинный дом.

Не буду описывать того, как постепенно наши сердца раскрывались я дружбы.

Когда-то я писал в своем дневнике, что ни за что на свете не сойду с дагогической дороги. Жизнь заставила сойти на девятом году работы, но воспоминаниях — самое светлое и возвышенное принадлежит годам учи-льства в деревне. И как стареющим родителям отрадно видеть повторение бя в детях, так мне радостно было видеть молодого энтузиаста своего дела. рно, что переселение детского дома в Старое село и дети, и воспитатели сприняли, как ссылку. Разрушенный дом и отсутствие средств, — это не вало покоя ни днем, ни ночью. Но строжайшая экономия и неустанная бота заведующего и каждого воспитанника постепенно вносят все больше юта в комнаты, в которых гулял ветер. Каждая палка во дворе бе-ется на учет. Сытые дети цыплятами увиваются возле ласкового «дяди Шуры». Много такта и чуткости у заведующего в обращении с детьми. Это особенно приятно отметить, потому что Александр Дмитриевич Волков не получил официального педагогического образования. Он окончил начальную сельскую школу и был девять месяцев на курсах. Но я отдам ему предпочте-ние перед многими, окончившими вузы, потому что сдавание зачетов в вузе ще не свидетельствует о том, что человек подлинно образовывается и разви-ается. Встречаются такие невежды с вузовским образованием, что многие деревенские мужики рядом с этими «образованными людьми» кажутся му-рецами.

Университет «дяди Шуры» — комната, в которой он читает и перечи-ывает книги по всем вопросам до трех часов ночи. Спит жена, спят его чу-есные ребятишки — дочь Октябрина и сын Генрих, а он торопится попол-ять свое образование и то, что воспринимается не ради зачета, остается авсегда в голове и в сердце.

Чуткий воспитатель, любящий семьянин, расчетливый хозяин — все армонически сочеталось в этом человеке с пытливыми глазами.

Пол дня, вечер и утро провел я в детском доме. Вечером играли с детьми, итали, пели. Из деревни пришли в гости ребята. Мечта и гостей, и воспитан-иков устроить в детском доме радио.

— Устроим, ребята, подождите еще немного, — говорит дядя Шура.

Утром он делится со мной хозяйственными планами.

— Вот этот старый сарай продадим на слом и построим баню. есной парк нужно обнести оградой, расчистить дорожки, посеять ветов. Хорошо бы завести другую корову. Может быть, как-нибудь олотимся.

— В Москве ни разу не были?

— В Москве? — удивляется заведующий, — нет, не приходилось. В Иваново-Вознесенске был. Москва в моем представлении как будто на другой планете, а вы — гость нечаянный и дорогой с этой отдаленной планеты... Поэтому я и не даю вам покою — все спрашиваю и спрашиваю без конца.

Некоторые встречи с людьми остаются в памяти на всю жизнь. Воспоминание о дяде Шуре и о его преданности своему делу будет ободрять меня в тоскливые минуты и, хотя Москва на другой планете, но мое дружеское чувство перелетит через межпланетные пространства и земную атмосферу и всколыхнет сердце заведующего воспоминанием о том, кто в солнечный зимний день повернул с проселка на тропинку, чтоб посмотреть, как живут и работают никому не ведомые люди.

Еще об одном человеке хочется вспомнить сейчас. Николай Иванович его имя, Сафонов — фамилия.

Он окончил Палеховскую школу живописи. Может быть, поэтому выражение его лица ангельски-иконописное. Но это не мешало ему быть некоторое время пожарником, а теперь Николай Иванович ведет большую работу при родниковской мануфактуре «Большевик».

Большая работа его в то же время очень интересная и трудная.

Не легко быть председателем культкомиссии при фабрике, где свыше одиннадцати тысяч рабочих. Но в планы культурно-просветительной работы входит обслуживание не только тех, кто непосредственно связан с производством, а и семей рабочих и тех деревень, где живут рабочие.

На стене у стола председателя подробная карта Родниковского района. Деревень вокруг фабрики без счету. Радиус обслуживания с каждой неделей все удлиняется. На расстоянии пяти верст от фабрики кое-что уже сделано. Николай Иванович доказывает на собраниях фабкома, что нужно захватить в сеть обслуживания деревни в радиусе на десять верст. Каждый день председателя осаждают делегаты из окрестных деревень:

Товарищ Сафонов, окажите нам содействие в приобретении громкоговорителя для красного уголка.

— А мы организовали кружок военных знаний. Необходимо приобрести хотя бы три винтовки. Как и через кого это лучше сделать?

— Собрание работниц нашей деревни постановило организовать ясли. Есть помещение. Согласны делать отчисления от заработка, но, может быть, культкомиссия не откажется наладить врачебную консультацию?

— Товарищ председатель, выпишите для нашего красного уголка разные журналы и газеты, чтоб для всех было интересное чтение: и для крестьян, и для рабочих, и для подростков.

— От нас большая просьба. Один раз семейный вечер в школе устроили — больно всем понравилось, весело и никакого озорства. Хоть в субботу был вечер, а старики и старухи не побоялись греха, песни пели и плясали. Теперь все желают, чтоб такой вечер повторить, и просят прислать духовую музыку.

Без конца таких и подобных им заявлений. Выслушивая их, испыты- чувство большого удовлетворения. Работа большая, трудностей много. ая трудность — материальная бедность. Но когда руководители все- искренно и без корыстных мыслей посвящают себя большому делу и в массах есть вера в то, что для них хотят что-то сделать, — тогда иальная бедность не так страшна. Общими усилиями она преодолевается цо легче.

Нужно было видеть радостное лицо председателя, когда из Иваново- сенска был привезен аппарат кино-передвижки, — чтоб поверить в эн- зм художника-общественника.

— Теперь со своим аппаратом мы в один день сможем обслуживать до деревень. Везти хор-кружок или драм-кружок за десять верст слишком здко, дорого и неудобно. Кино-передвижку доставить в деревню очень Удовольствие, даваемое кино-картиной, захватывает всех без разли- т малых детей до самых древних старух. По-моему, в борьбе со всякими ассудками кино не имеет соперника. Оно убеждает молча, не назойливо, цно. Одной кино-передвижки для нашего района, конечно, не достаточно. пока и это хорошо.

Я полюбопытствовал взглянуть на календарный план культ-работы на ближайших месяца и удивился.

— Неужели успеете все проделать?

— А то как же. Еще больше надо бы сделать, да вот наше горе: в не- е только семь дней, а в месяце тридцать. Если б можно было растягивать мя, чтоб для всякого дела его хватало. А то, как начнешь планы ечать, голова кружится: и то нужно, и это нужно, и все в вую очередь.

— Как у вас дело обстоит с ликвидацией неграмотности?

— До пятидесятилетнего возраста на всей фабрике около тридцати не- мотных. В этом году примем все меры, чтоб и эти усвоили грамоту, от- ьно с каждым будем заниматься.

— А вот в деревне Мелечкино организован кружок кройки и шитья, отором работают двадцать крестьянок, там же летом была детская пло- цка. Это налажено при содействии культкомиссии, или в порядке частной циативы?

— Все это организовано работницей нашей фабрики, делегаткой мелеч- ского сельсовета. Рабочие и работницы, живущие по деревням, во многом югают культкомиссии. Инициатива на местах сослуживает большую жбу в деле налаживания культурного строительства.

Сафонов прост в обращении, ласков, ровен. Кажется, что этот человек огда не может вспылить, накричать на кого-либо. Выражение лица обя- ает к этому, или духовная организация человека накладывает отпечаток дечности на лице.

Высокий рост, постоянная улыбка, плавный, неторопливый разговор в ужении приезжающих с докукой делегатов, доставляет много радости по- роннему наблюдателю.

Жизнь и книги.

Есть много несказанных слов,
И много творений, не созданных ныне,
Их столько же, сколько песчинок среди
бесконечных песков
Немой Аравийской пустыни.

Есть много написанных книг. Еще больше того будет написано. И все же нельзя представить, чтоб можно было описать все многообразие жизни, каждый ее штрих, все подвиги незаметных героев, всю борьбу за приближение счастливого будущего.

Много литературных сокровищ накоплено человечеством за время его существования, много типов, характеров и положений воссоздано гениями, талантами, посредственностями и бездарностями словесного искусства. Но что это воспроизведение по сравнению с подлинной жизнью? Может быть, одна миллионная того, что есть. И «что бы вы ни изобразили — все выйдет слабее, чем в действительности. Вот вы думаете, что достигли в произведении самого комического в известном явлении жизни, поймали самую уродливую его сторону, — ничуть. Действительность тотчас же представит вам в этом же роде такой фазис, какой вы еще и не предлагали, и превышающий все, что могло создать ваше собственное наблюдение и воображение».

Действительность разнообразнее и богаче литературного вымысла, и я понимаю мечту некоторых читать до последних дней своей жизни живую книгу, вместо страниц перелистывая одну географическую область за другую, вместо отпечатанных на бумаге иллюстраций иметь дело с живыми людьми всех наций, всех наречий и всех цветов кожи. Я знаю одну Россию, и ее-то слишком мало знаю. Многие ли знают ее? Не торопятся ли имеющие возможность узнать Россию и заграницу отдать предпочтение последней, как будто в России нечего смотреть, слушать и наблюдать?

Как хочется продлить жизнь, как хочется узнать свою страну не как что-то отвлеченное, а как живой, страдающий и борющийся организм.

Хан-Алтай.

(Путевые зарисовки).

Ник. Северяк.

Все песня.

Если взглянешь на него,
д'вятиг[р]а[н]ным кажется Хан-Алгай;
Если со ската гор смотреть, —
как плеть расплетенная
тянутся хребты твои, Хан-Алтай.
(Из алтайской песни).

Я буду петь свои песни, петь так, как поют алтайцы. Еще вчера я про- л алтайского кижи [1]).

— Спой мне песню.

— Нет у нас такой песни, как русска, мой песня простой. Лед на го- к ползет — песня; вода бежит — песня; трава растет — песня; конь трава г — песня; белка на вершине кедра под ветром качается — два песня. Все жно — песня.

Я буду петь, как первобытный алтаец о серебристой змейке — Ка- ни [2]), о лесных кедрачах, о багрянцевых вспышках солнца в белоснежных ıах и о людях, живущих в Алтае — золотых горах.

Второй месяц хожу лесными тропами через перевалы и пою, что вижу слышу в лесу, в ледниках и у голубых пенящихся горных потоков. Иду и о... На вершине горы оборвал песню, чтобы махнуть рукой вон туда, в ıину, где под белком [3]) у сверкающего водопада вьется дымок из аила [4]), округ цветными точками колышется стадо овец, кобылиц и коров.

— Прощай, кундучи ээзи [5]) — спасибо за кумыс, за толкан [6]); за сыр- ки, за песни и больше всего за то, о чем я всегда вспомню: точно я ро- ıся в твоем аиле, и ты, как отец после долгих лет разлуки, усаживал меня

---

1) Кижи — певец песен.
2) Катунь — река в Алтае.
3) Белок — вершина горы, покрытая снегом.
4) Аил — жилище алтайца. сделанное из коры деревьев (из бересты).
5) Кундучи ээзи — хлебосольный хозяин.
6) Толкан — похлебка приготовленная с чаем, мукой и солью.

на почетное место, подстилал лучшие шкуры, колол жирного барана и кор-
ил бараньей головой. А я знаю, что голова по вашему обычаю достается
мому лучшему и дорогому гостю.

По узкой вьющейся тропинке с горы спускаюсь в долину. Иду нагор-
ими лугами. Трава выше меня, и моя кепка качается вровень с цветами. За-
росил дождик. Ухожу в черемуховые заросли, где черными гроздьями ви-
т лесной виноград.

Через полчаса солнце снова заискрилось. Кольцами убегают цепи хреб-
в. Справа горы зеленятся в траве, а слева чернеют заросли пихтача. Вдали
ними ледяными лентами обвились рогатые горы, уткнувшись в облака.
изу солнце блестками играет на пенящих катунских водоворотах. В сос-
вом бору выглядывают крыши деревушки, по краям которой дымятся аилы.
очется дольше остаться в нагорном лугу, но с мыслью, что красивое
ереди, спускаюсь в деревню.

Манят алтайские синеющие горы, цветистые луга и звенящие дикой
снью горные ручьи и водопады.

Боевые товарищи.

Когда над лесом запылало солнце, вхожу в деревню. Ночевать, как и
егда, зашел в первый попавшийся дом. На мое приветствие хозяйка
сково ответила.

— Приходи-кось.

Попросился ночевать.

— Без хозяина — не знаю, ну да, оставайся, места не убудет.

Когда я с аппетитом уписывал молоко с земляникой, пришел хозяин —
рно-смолистый бородач, с первого взгляда показался угрюмым, но за чаем
-душам разговорились. Он новосел, переселенец, пришел из России в Ал-
й после мировой войны. Из огня да в полымя: в переплет гражданской
йны попал.

Спокойно, отдувая в блюдечко, с пришедшими соседями вспоминают,
к рубили сатунинцев, кайгородцев, как голодали в скалах, окруженные бе-
ми. Мой хозяин, он же атаман отряда, облизнув красные пальцы от раз-
вленной земляники, говорил:

— Вот так же на ледниках ногти в кровь ободрал, когда из-под рас-
рела от белых уходил.

Он посолил кусок хлеба и, высунувшись в окно, закликал:

— Тпру... тпру, Воронко!

Воронко перестал щипать тощую траву, откликнувшись ржанием, под-
жал к окну. Хозяин, давая кусок хлеба, ласково треплет по шее Воронка
полунасмешливо говорит:

— Мой боевой товарищ.

Неожиданно повернувшись ко мне:

— А как думаешь — приведется нам с Воронком бои держать, — а
чше бы землю пахать, — и, не дождавшись моего ответа, сам себе и мне
вечает, — а ежели опять припрут, так в чернь снова уйдем.

На свадьбу к Федору Утке.

Протяжно поблеяла овца.

Через улицу у лошадей возились двое алтайцев. Согнув в три погибели, и засовывали в кожаную сумку живую овцу. В другие сумки набивают пеный хлеб.

На мой вопрос хозяйка, взглянув в окно, проговорила:

— Это Федор Утка сына женит.

— Вишь, на свадьбу приготовляются... Бараны у него здесь пасутся, хлебы стряпали у Митрохиных, ведь сами они не пекут.

Отец с женихом упаковались и поехали вдоль деревни, приглашая: «пожаловать на свадебный пир».

Хозяйка под'ехавшим алтайцам, указывая на блеющую, высунутую из мки голову овцы, со смехом:

— Ведь она у тебя подохнет!

— Мой ево дохнуть будет!

— Не дохнуть твой будет, а колоть чик-чирик, — проводя пальцем по рлу, об'ясняет хозяин.

И когда алтайцы разговаривали у следующего окна, хозяйка без умолку гараторила:

— Жениху шестнадцать, а невесте четырнадцать. С таких-то лет да и запрягут... Ведь у них мужья-то — лодыри преподобные! Летом, когда много молока для араки, сядут на лошадей, да из аила в аил и... арачку хлещет... Проживет с бабой лет двадцать, а помрет — жена брату переходит вместе с хозяйством. У них закон такой, преродным называется. Иной раз сопляку старуха достается...

Вечер проскочил в беседах об алтайцах, о кержаках, о продналоге, о кооперативе.

Утром после горячих лепешек продолжаю свой путь.

За деревней, где скалы врезались в реку, большой катунский бом, чтобы смерять ширину, лег на уступ, где корытцем проходит тропа; ноги уперлись в скалу, а голова висит над бурлящими, пенистыми волнами.

Мне хочется взглянуть на тропинку сверху, и, отойдя назад, карабкаюсь в гору.

Слышу ржание, звон копыт о каменные плиты тропинки и алтайский говор.

Подхожу к обрыву скалы и, держась за сосенку, смотрю вниз: по бому тянутся гуськом верховые; светятся на солнце серебряные накладки седел и уздечек; пестрят расшитые бисером с кисточками шапки алтаек: они все в расшитых бархатных чегэдеках, а мужчины в черных суконных, похожих на сюртуки, пиджаках, с двумя рядами густо нашитых светлых пуговиц. Пуговицы отливают на солнце: они, наверно, почищены песком.

«Будешь большим человеком, раньше самый главный носил», — вспомнил я слова старой салопницы, которая на бийской барахолке на медные с

гербами и орлами пуговицы, наверно, отпоротые от сюртуков мужа, выменивала у алтайца масло.

Шапки у всех оторочены мехом выдры.

У седел привязанные кожаные мешки за аракой.

В конце женской группы едет разодетая молодая девушка: наверно, веста.

Замыкает свадебную кавалькаду верховой, который на привязанных ѕрдях волочит большой сундук, обитый жестью: это везут невестино приное.

Замолк стук копыт о камень, и опять все спит в таежной дремоте. Нельно вздрагиваешь, когда сорвавшийся камень, подскакивая, летит в пену лн...

Лесные отшельники.

Раскололись горы: на вершинах синий лед да красные альпийские мхи, з щелях темная волнующаяся зелень кедра с пихтачем. Внизу шумят пенми узорчатыми ошейниками переливчатые горные снега. Бегу по тронке: кажется, вон там, где повисла скала, кончается речка, а с нею тронка. Проходят минуты, снова кольцами вьется тропинка на скалу, и видно ерху, как по щелям горных ручьев щетинятся сплошной массой верхушки :а...

На гребнях в ледяных зубьях горы отливаются вечерние кровяные зар-цы.

Не доносится ржания конских табунов, не слышно мычания коров, не иятся аилы. Только далеко на Лысой горе точками движется стадо овец и з. Присматриваю цветистую лужайку с сухим валежником, чтобы под еск костра уснуть в песнях говорливой речушки...

Неожиданно доносится с порывом ветра заглушенное эхо собачьего лая. :елей итти, когда знаешь, что среди зверей и птиц живет человек.

На поляне, где без тропинки бреду в росистой траве, чернеет илянка.

Заливаясь в яростном лае, рвется собака.

Когда я ломаю для защиты валежник, голос с порога землянки, свист-собаку, крикнул:

— Кто, крещеный идет?

— Прохожий.

— Не бойся, иди, не укусит.

Поздоровались. Из избы вышел парень.

Когда хозяин зашел в избушку, парень ко мне:

— Ради бога, нет ли табачку?

— Хотя сам не курю, а табак таскаю.

— Давай, завернем!

Парень, радуясь, завертывал потолще.

— Надо бы и хозяина угостить.

Парень в ответ засмеялся:

— Что ты, с ума сошел?! Он ведь кержак. Кто курит табак, тот хуже собак. Они нас вроде как поганых считают. Особыми ложками из «мирских» чашек кормят, а ежели, как-нибудь, ненарочно хлебнешь, то испоганишь, после тебя на реке с песком мыть будут и святить начнут!

— Действительно в трущобу забрались! Я думал, что только медведи здесь живут.

— Это еще ничего, а то есть такие заимки, куда ни конным ни пешим не пройти: на веревках через пропасть надо перелезать! Это еще в царские времена от попов и пристава прятались, по десяткам лет людей не видали. Приехал один такой кержак на пристань Красноярскую, услышал, на телеграфных столбах провода шумят: подскочит, послушает, отбежит, посмотрит и снова ухом к столбу припадет, а потом от сатанинского наваждения открещиваться начал. А то раз в Бийске кержак с Лебедя [1]) шапку снял и ходит по базару, всем ножные поклоны отвешивает. Смеялись все над стариком, а тому обидно было.

Парень, попыхивая папироской, смакуя каждую затяжку, продолжал:

— Я тоже хочу в лес забраться: ездил на Катуни места смотреть, пасеку по-культурному заводить буду. Только шибко боязно, баба сбежит, мы только с ней расписались...

Заскакиваю в избушку, натыкаюсь на чьи-то ноги. У печки на шестке хозяйка раздула смолевую лучину. Не успел еще скинуть кожанку, как она:

— Паренек, приходи сюда похлебать.

— Ладно, хозяюшка, только понапрасну беспокоишься...

— Ты — человек дорожный, — закусить первым делом.

Выбирая свободное местечко, между ног пробираюсь к окошку против печки. Светит, дымя смольем, хозяйка:

— А куда ты пробираешься?

— К алтайцам на свадьбу шел, да к вам попал!

— А отколь идешь?

— Пешим с Бийска, а туда с Москвы пришел...

— С М-о-с-к-в-ы? — тянет баба.

— И зачем к нам едут? Я в деревню оногдась выезжала, так на 20 лошадей, на Белуху [2]) проехали.

— Наверно война начнется: перед ерманской войной также разные шпеоны ездили.

— Хорошо тут, в Алтае, вот и едут посмотреть.

— Да чего тут смотреть-то! леса трущобные, горы дикие: затают белки, вздуются речки шалые и начнут в долинах рвать. Сегодний год на Катуни все сено унесло и пасек много сдернуло. Вот Москву на картинке и то любо посмотреть!

Допил я молоко, малину в меде доел и начал в угол спать устраиваться. Хозяйка, убирая после меня посуду, неожиданно выкрикнула:

---

[1]) Лебедь — река.

[2]) Белуха — самая большая вершина катунских хребтов.

— Что же... ты рыбку сушеную не доел? Нарочно я тебе хариусов получше выбрала!

— Я уже не хочу!

— Ну-ну, с дороги закусывай получше!

Она шагнула с огнем через спящих ребят и всунула мне горсть сушеной рыбы.

Засыпаю, хрустя хариусами...

...Наверно от того, что она ткнула мордой или еще от чего другого, но проснулся.

Собака, зализывая около меня крошки, похрустывала недоеденной ыбой.

Перед завтраком они долго молились по-старообрядчески двуперстием, твешивая глубокие поклоны.

Длинные полотняные рубахи, седая борода хозяина и вся обстановка авали какую-то картину Петровской Руси...

Ели все из разных чашек. Нас с парнем кормили попеременно, так как ыла одна мирская ложка и чашка.

Собираясь в дорогу, я нашел в мешке несколько завалявшихся конъект и пряников и, подозвав красивую, маленькую, с черными кудряшками евочку, всунул ей в руку.

Мать грозно крикнула:

— Поклонись!

Девочка упала на колени и прижалась личиком к моему грязному боинку.

Я только успел ее поднять и поцеловать, как мать снова крикнула·

— А во вторую ножку!

Я загнул ноги под лавку и, поднимая девочку с колен, как-то вопросиельно проговорил:

— Зачем это? Не надо...

Мне никто не ответил.

Прощаясь, я хотел хозяйке дать деньги, но она отдернула руки и, ак-то испуганно смотря на меня, кланяясь в пояс, говорила:

— Прости, христа ради.

Я даже не знал, что сказать в ответ.

Провожать, чтобы перевезти через вздувшуюся речонку, поехал со ной сын Елизария, Митя.

Расставаясь, он спросил:

— А ты, ты на обратную дорогу не через нас пойдешь?

— Не знаю, а что?

— Я книжки у тебя видел, хотелось почитать.

Я сдернул сумку, достал книжки: там были стихи Жарова, Голодного, натоля Франса, собрал отрывки газет и дал Мите.

Он не говорил спасибо, а совал за пазуху.

— А ты много читаешь?

— Таких мало. Отец заставляет по-славянски о божественном...

— А эти он тебе даст читать?

— Он не узнает, я больше в лесу на белках да на пасеке. Там и прячу: дет — изобьет. У меня хори наловлены и тоже вместе с книгами спря-ы, зимой с медом в город поедем: тайком продам и накуплю разных жек.

...С Митей я больше не встретился, но с молодежью из кержацких се-сталкивался за всю дорогу.

...На ночном привале старый раскольничий начетчик со слезами рас-зывал о дочери Авдотьюшке, убежавшей в Уналу:

— Дом мой — чаша полная, а она, как тать, в нощи верхом уехала... ерь батрачкой мается...

Смахнул слезу старик, подбросил валежину в огонь и глухо прохрипел:

— Не дочь мне она, больше не поеду и старухе запрет положу...

Долго молчал старик-кержак, но потом заговорил:

— В старые времена не так делали. Мой прадед, когда попы плетями ерковь нас, «старообрядцев», загоняли, ушел со всей семьей в тайгу. Там ились неделю, а потом к деревьям цепями привязались и цепи на замок ерли, ключи по сторонам разбросали. Под дожжем в укусах гнуса они мо-лись о смерти. Маленьких ребят еще перед тем убили. На пяты сутки тем эстом проезжали охотники. Те в беспамятстве стонали. Охотники разбили мки, сняли с деревьев; распухли, отекли, мало на людей походили. Долго гхаживали, но в живых мало осталось.

Трещал костер, запрятались в вечерних туманах кустарники. Среди ноч-ой тишины шумел ручей. Слышно, как чавкали лошади, привязанные вблизи эстра. Кержак подбросил в огонь смолья. Пламя вспыхнуло, освещая седую эроду, войлочную шляпу и замшевые мешечки на ремне для кремня и огнива. н не смотрел на меня, а куда-то в сторону или огню говорил:

— Антихристовы времена близятся, обеты старинные блюсти надо...

Но бьются крепкие кержацкие обеты.

Парень из кержацкой семьи на крыльце Успенского аймака говорил мне:

— Слюбился я с одной, Таней ее звать. Она в больнице здесь служит, отец с матерью на своей (кержачке) женить хотят. Отец так и говорит:

— «Убью твою стерву, если в дом приведешь».

...вот видишь, в одной рубашке с сенокоса сюда прибежал.

— Споры у нас вышли насчет этого, отец с косой бросился...

Долго мы с ним толковали. Я убеждал не сдаваться отцу, а он отвечал:

— Я даже об этом и не думал... все равно с Таней распишусь...

В дыму аильных костров.

Стою у горного потока. На том берегу видна лодка. Слышу собачий лай людской говор.

— Л-о-о-д-к-у, ло-одку, давай лодку! — кричу долго и надрывно. Нет твета — ветер относит мой голос в горы.

Закатилось солнце и еще страшнее забродить в горный рвущий поток, о хочется есть, высушиться и посидеть в аиле у огонька.

Сбрасываю все с себя и с палкой бреду, срываясь и запинаясь о камни. Рвет вода, кружась у пояса.

От ледяной воды и холодного ветра стучат зубы, но уже я в лодке, под ıираясь шестом еду за оставленным барахлом.

В первом аиле горел огонь, но никого не было. Обогревшись у огонь:а, — пошел во второй. Там встретила девушка; она точно в любовном роıане, после приветствий, сказала:

— Мой одна.

Я не знал, приглашает она меня остаться или хочет выпроводить альше. Первое, пожалуй, еще хуже второго... Пошел в третий.

Спрашивала старуха:

— Табыш барба [1]).

Я не качал головой по алтайскому обычаю и не сказал:

— Иох [2]).

— Много нового, бабушка.

Старуха достала длинную трубку, украшенную медными и оловянными ольцами, набила из длинного замшевого мешка табаком, положила в трубку живой» уголек, несколько раз курнула и передала мне.

Я поудобнее уселся за огнем на брошенных шкурах и, держа обеими ками трубку, задыхаясь, начал важно пускать кольца дыма, приветствуя аруху.

Спрашивала старуха о многом, запомнил мало:

— Здоров твой скот?

— Нет у меня скота.

— А баба здоров?

— Нет у меня бабы.

— Бабы нет? мало-мало плохо, скот нет — совсем плохо, бедный че›век.

На нарах у стенки берестяного аила под грудой шкур запищало. Стаха разрыла шкуры и достала плачущего ребенка. Она взяла его на колени бормоча не то песни, не то ругательства, усыпляла.

Но плакал ребенок, пока я не достал сахара и хлеба. Грызя (лакомство я алтайских детей) черствые корки, он ползал на шкуре, греясь у костра.

В полутьме аила толстый слой грязи я принял за черно-засаленную рушку.

Об'ясняла старуха:

— Зачем рубаха, — так тепло.

Ибан еще лакомился, облизывая грязные пальцы, запачканные сахаром, старуха начала для меня варить алтайское угощение.

Вскипятилась вода в казане [3]), старуха бросила несколько щепоток лченого кирпичного чая. Вскипевший чай вылила в деревянную бадейку. В зан налила молока и в кипевшее молоко долила чай, сыпнула несколько

[1]) Табыш барба — что нового?

[2]) Иох — ничего.

[3]) Казан — котел, необходимая принадлежность каждого аила.

тей растертой камнями пшеницы, соли и чашку сметаны; чай или вернее іебка, называемая по-алтайски толкан, готова.

Беря из рук старухи первую большую деревянную чашку, я боялся ιоты, но после первой попросил вторую и пил не меньше алтайки, развая сухари.

После толкана передо мной старуха поставила бадейку подогретой и.

Теперь я хозяин араки и на моей обязанности лежит угощать присутэщих. Отпив глоточек, я передаю полную чашку старухе.

Надоело наливать и, подложив седло под голову, растянулся у костра.

Заснул Ибан, свернувшись комочком. Из костра с треском выскакивали ıки, падая недалеко от шкуры.

Старуха передвинула к себе бадейку и, наливая чуть ли не десятую чазапела пьяные песни.

Богов у алтайцев, что песку в речке.

От порыва ветра открылась дверца аила, порвался столбик дыма, тянувй вверх, в отверстие аила. Дым закружился по аилу, обмазывая уже лосциеся черной сажей жерди остова аила. Трепыхнулись за костром разнотные лоскутки, хвостики, перья, повешенные на веревочке. Это талисıы, отгоняющие злых духов.

Все боги разделяются на добрых и злых. Самый большой из добрых Ульь, живущий по преданиям алтайцев в небесных просторах за месяцем, солні, выше звезд; обитает он во дворе (Орго) с золотыми воротами. Он творец нца, луны и всего небесного свода; он творец человека, пастбищ, скота, и явления природы: гром, молния, дождь — дело рук Ульгеня.

В противоположность Ульгеню в подземелье, где течет 9 рек из человеких слез, на острове жидкой глины обитает глава злых духов — Эрлик. Он заре красного вечера пьет легочную кровь человека. В его владениях на рове работают рабы — умершие люди. Через реки переброшены мостики одного конского волоска, и всякий смельчак-беглец срывается с этого мока в реку, которая снова выбрасывает его на остров. Кроме главных богов ые полчища второстепенных духов, обитающих на горных вершинах, в :ах, озерах и у каждого урочища, и даже аила, целая серия фамильных ду-; так все умершие свего сеока (рода) причисляются к духам живущих одалеку от жилья; они страшно прожорливы, часто забираются в аилы іохищают пищу.

Горные вершины, лесные озера, сверкающие белизной ледники, бурлиреки, пенящие водопады — это все духи, пред которыми преклоняются риносят жертвы.

Каждое дерево, цветок и даже муха с бабочкой имеют свою легенду о ›исхождении.

Все несчастия, бедствия, лишения — это проявления злой воли :ов.

Когда болеет алтаец, говорят, злой дух его ест, а умер — злой дух с'ел его и все болезни человека: оспа, сифилис, трахома — это укусы злых духов.

Умилостивить злых духов можно жертвоприношением. Жертвы бывают кровные и бескровные. Для бескровных жертв служит молоко кобылиц, коров и овец весеннего удоя, толкан и арака.

Все это сопровождается камланием с участием шамана.

Ночью при свете пылающего смолья на костре, в шубе из оленьего меха с повешенными ленточками, бубенчиками, разными железками и хвостиками зверей на шапке, украшенной крыльями и хвостом беркута, шаман приносит жертву богам, и когда в урочище [1]) Толдуэк [2]) я сидел на камлании, слушая под звуки бубна дикие песни шамана, вертящегося в сумасшедшем исступлении вокруг бочек дуплянок, наполненных аракой, я вспомнил город.

Во время путешествия к богам, над горами, ледниками, лесами, при встречах со зверями и птицами он свистел и ревел на всех голосах животного и птичьего мира.

При пронзительном свисте какой-то птицы мне почудился свисток милиционера на Таганке, где каждое утро я вскакиваю на трамвай и автобус; но в медвежьем рычании я снова видел закрывшегося бубном шамана.

И трамвай с автобусом казался какой-то далекой сказкой будущих веков...

Кроме бескровных жертв: араки, первого весеннего удоя молока приносятся в жертву козы, овцы, коровы и лошади. Перед камланием [3]) шаман поет песни, в которых просит разрешить камлание.

Я никогда не забуду, как в ущельях Архыта, где скалы нависли над ревущим потоком — к месту камлания привели белую кобылицу трехлетку. В цепи костров и сидящих на корточках алтайцев она испуганно ржала. Среди ночной тишины ржанием откликались расселины гор и волны пенящего Архыта. На двух длинных чумбурах [4]) кобылицу держали двое алтайцев. Шаман доил кобылицу, обмывая деревянную чашку молоком. Он с песней поставил чашку на спину лошади. Под свист и гиканье повели кобылицу. К упавшей на землю чашке бросился шаман. Чашка лежала вверх дном: это значило — Эрлик не хотел принять этой жертвы... Опять песни, мытье чашки в молоке и бег. Чашка упала на донышко.

Стянули морду лошади веревкой: не откликались больше кедры на ржание.

К ногам привязали по чумбуру, а на спину забросили толстую жердь. На концы жерди повисли по нескольку человек, за веревки ее растягивали в разные стороны. Полузадушенную кобылицу прикололи. Пока она дергалась в судорогах, шаман пел:

Встала ли, Эрлик,
В серебряной уздечке белоснежная кобылица
В золотое твое стойло?..

---

[1]) Урочище — деревня.

[2]) Толдуэк — название деревни на Катуни.

[3]) Камлание — моление.

[4]) Чумбур — веревка, сделанная из конского волоса.

День и ночь дымились костры. Варилось мясо в казанах. Текла горячая молочная арака. Заедали огневую араку мясом.

Кружился с песнями в пляске шаман.

С'ели мясо, выпили араку. И снова кружился с песней, мольбой шаман и говорил он алтайцам, что боги еще просят жертвы. Кололи на добавок корову и несколько штук баранов.

Через месяц, проезжая через это урочище, я несколько раз об'ехал вокруг жертвенника, поставленного у священных берез, где болталась от ветра напяленная на шесты шкура с головой. Это все, что осталось от кобылицы. Под'ехав поближе, я увидел белых толстых червей, кишащих в глазных впадинах... они доедали жертву, принесенную богу.

Ученая собачка.

Я зашел за Телецким озером на заимку новоселов-переселенцев. За столом сидел старичок и, облизывая пальцы, ел блины. Молодайка, кормя грудью ребенка, разливала чай.

— Что плохо с дорожки закусываете, Ерофей Филиппыч, аль блины не нравятся?

— Что — что ты, блинчики румяны, хозяюшка пригожа, ем, закусываю во здавии рода человеческого, — верча блин в сметане, отвечал старичок.

На меня он метнул из-за самовара хозяйке бегающими глазами. Зажимая в кулак седую козлиную бородку, он с улыбочкой спрашивал:

— Куда же, молодой человек, пробираетесь?

— Алтай посмотреть.

— Расчудесное дельцо, с нашей природой и обитателями алтайцами познакомитесь. Вы уже были в аилах?

Я утвердительно покачал головой.

— Ну, ну, что скажете? Ведь прямо XV век: у костра зиму и лето, пшеницу камешком трут и кровавые жертвы богам приносят. Алтаец — дитя природы. О-ох! (он тут прочавкал блин)... да, тяжело нам достается в таких, так сказать, первородных условиях, культуру социалистическую, советскую проводить.

Около порога на низенькой скамейке сидел «дитя природы» ямщик старичка и жадно глядел в узенький рот, куда из стопочки один за другим исчезали блины.

Ерофей Филиппыч уже начал дуть в блюдечко. Я торопился и, отказавшись от чая, ушел.

В другой избе, где я покупал хлеб, баба, вешая ковригу, не переставая ругалась:

— Вот сволочь остроносая! Утащила ведь!..

Я сначала не понял в чем дело и, видя у печки плачущую девочку, спросил:

— Чего она наделала?

— Она, та ничего...

— А зачем плачет?..

— Под горячу руку подвернулась, стеганула... Все из-за той сволочи...

— Из-за какой?

Она остановилась с ковригой посредине избы и плюнула:

— Завсегды у нас Ерофей Филиппыч останавливается и сегодня к нам хал, да остромордая Павлиха перехватила.

— Тебе же лучше, — блинов не печь.

— Хрен с ними с блинами — ешь он, больше двух десятков не слоает, а человек-то нужный... шибко нужный... Все законы уразумел...

— Что, он начальство большое?

— Как же, он же секретарь сельсовета. Все знает, все может... Ране, и царе, долго служил и теперь все служит.

Я еще зашел спросить у Ерофея Филиппыча о тропах вверх по Чушману.

Он по-старому сидел за столом, раскраснелся, повеселел и стал еще горливее: может быть, от блинов и чая, но, вернее, хлебнул с блинчиками авянушки [1]) или самогону.

Прибежала ругавшая баба.

Она перекрестилась в угол, где сидел старичок; у меня мелькнуло — он дь сам похож на Николу Чудотворца, — сделала поклон хозяйке:

— Здравствуй, Павловна, — и, согнувшись, пошла к столу, кланяясь. — равствуйте, Ерофей Филиппыч!

— Мое почтение, Андреевна!..

— Что же, Ерофей Филиппыч, нас об'ехали?

— Да так уж кони завернули. Да зайду, зайду побеседовать.

— Милости просим хлеба-соли откушать.

Баба потараторила с хозяйкой и, быстро повернувшись, убежала домой. Когда я шел по улице, у ней уже дымилась труба.

Рассказывая дорожки и тропинки, Ерофей Филиппыч упомянул о ветеарном враче, живущем на кордоне.

— Хороший человек, прямо сказать в высшей мере интеллигентный, лько жизнь у него как-то запуталась. Артистом был, почти знаменитость, потом несчастья разные были, что-то с женой у них произошло... Теперь есь в щели замуровался, один с дочерью живет. Дочка с алтайскими ребяшками возится, моет их, няньчит, а он больше о прошлом вспоминает. Мы им большие друзья.

— А собачка у него есть?

Ерофей Филиппыч, высовывая бородку из-за самовара, недоумевая, нул:

— ...Е-с-т-ь хорошей породы собака, разные штуки проделывает, одм словом, ученая собачка.

На прощании он мне советовал:

— Зайди к нему, обязательно, обрадуется свежему человеку.

[1]) Травянушка — медовое пиво.

Я не спроста заговорил о собаке, о докторе, я уже много слышал о нем, собаке еще больше.

Какой породы собака мне не говорили, но:

...лежит собачка у него под диваном, хлопнет в сенях кто-нибудь дверью, ікнет дохтур:

— «Коммунист идет, аль комсомолец!..»

Все равно так и эдак понимает: рванется из-под дивана к двери и в лае, ню на медведя, заливается, и в дом ни в жисть не впустит, — рассказывали ревне на другой стороне Телецкого озера.

— Ученая собачка! — еще раз вспомнил Ерофея Филиппыча.

До визита к артисту «императорских театров» попал в интернат, где ывшем Благовещенском монастыре жило полсотни алтайских детей. Заведущий интернатом не лестно отзывался о ветеринаре:

— Живет второй год с двумя холуями из стражи и ничего не делает. ели нашими тропами гнать скот из Монголии, учредили ветеринарный кт, но до сего времени ни одной скотины не прогнали. Совсем делать не-), можно бы алтайцам помочь, а он: «хочу — пойду, хочу — нет», — и ит себе барином, груши околачивает.

«Заболела у нас в интернате свинья, побежали к доктору, соизволило о высокое барство явиться через день, когда свинья околела; а живет ерез речку, всего пять минут потратить.

«В общем разлагающий элемент во всех отношениях: сам ни в бога, и в чорта не верит, а алтайцев подстрекает. На Пасхе за 30 верст в Куртук в самую грязь куличи святить посылал...

На берегу Чулышмана в березовой роще мы долго сидели с заведующим нтернатом. Он, показывая на скалы, громоздящиеся кругом, говорил:

— Видишь, глушь какая: горы, леса и травы, а ведь там за скалами изнь бьется. Ты сам видел, как алтайцы дикарями живут: надо затушить остры, изломать самогонные аппараты, построить светлые избы, племенной кот пригнать... Эх, одним словом делать, ворочать и заново строить, а кому?.. культурные работники в перву голову, а тут опилки жизни человечекой: сами воняют и другим глаза порошат...

„Терната“.

Алтайские дети кажутся угольками с крапинками глаз рта и носа, а есткие волосы светятся синим отливом крыла ворона. Среди стайки черных алчат — алтайских ребятишек, — белым галченком выделялся огненнорыжий еснущатый паренек с голубыми глазами.

Указывая на него, я спросил:

— Почему он такой?

Смеялись в ответ в аиле, а паренек, наклонившись к огню, мешал палочкой угли.

Я видел, что он обиделся на меня. В аиле не переставали смеяться, а ебятишки подтыкали в бока.

Хозяин аила, скаля белые зубы, указывал головой:

— Святая монаха родила.

Еще громче смеялись в аиле.

Напившись кумыса, я двинулся искать тех мест, где от святого монаха родился рыжий мальчишка с голубыми глазами. Вскинул котомку на плечи и полез по тропинке над обрывами Чулышмана.

В нагорном лугу встретился верховой алтаец.

Остановились, поздоровались. Я махнул рукой вдоль по лугу:

— Там монастырь?

— Монаха нет, терната есть.

Через полчаса я подошел к реке, где на песчаных отмелях того берега плескались дети. Не долго пришлось кричать лодку: через минуту, ловко работая одним веслом на рвущей быстриной реке, приехал алтайский парнишка в синей рубашке.

Заскакивая в лодку, указывая на березовую рощу, где виднелись макушки церкви, я кинул ему:

— Это и есть монастырь?

— Да, наш интернат.

...Сижу у заведующего интернатом.

Была келья, теперь комната-канцелярия заведующего.

— На кровяной росе растем. Была в 1923 году коммуна: белогвардейские бандиты вырезали. В этой комнате старуху с ребенком кокнули... Вот здесь...

Он указал на пол у порога.

— Кровь с мозгами наляпана была; у мальчика поленом голову в лепешку разбили. Семнадцать человек устукали; когда я от аймака приехал следствие наводить, одну кошку в живых нашли, даже собак, диаволы, перестреляли. Осталась от жизни коммунаров одна кошка, но прошло полгода и снова жизнь заплескалась в монастырских кельях.

Долго говорили о том, как из лесу от гор из дымных аилов собирали алтайских детишек.

— Пойдем и посмотрим нашу жизнь.

В церкви висели плакаты и знамена.

— Вот наш клуб. Первый спектакль поставили, алтайцев из ближайшего урочища пригласили; два месяца готовились и все на смарку пошло: ни один не явился. Потом уж на хитрость пошли: стали звать барана есть и чай пить; стали заезжать, ну, так и на спектакль затащили. Теперь за десятки верст приезжают о спектаклях справляться.

В сарае, починяя сельскохозяйственные машины, возился завхоз мадьяр с колчаковского фронта.

На крыше школы ползали кровельщики, постукивая молотками.

Из вновь отстроенного погреба мы шли в кухню, где дежурили девушки интернатки.

Уплетая щи в столовой, я плохо слушал заведующего о 150 десятинах, засеянных очищенными семенами, о десятках лошадей и коров и новых сельскохозяйственных машинах.

Уходя из интерната, зашли на огород, где веселой шумливой гурьбой ребята пололи овощи.

Сидя на берегу у лодки, заведующий жаловался на недостаток средств и отсутствие воспитателей.

Через несколько часов, ночуя в аиле, я перебирал свой походный мешок. Алтаец, увидя зубную щетку, спросил, для чего она. Я, раскрыв рот, привел зубную щетку в действие. Засмеялся алтаец, а за ним и остальные обитатели аила. Вместе с другими смеялась полуголая грязная девочка, расчесывая коросты. Смотря на нее, я вспомнил интернатскую спальню с чистенькими простыньками, наволочками и столиками, где вместе с мылом лежали зубной порошок и щетка.

Цветет земля золотым дождем.

Утонула тропа в цветистых зарослях нагорного луга. Уставшая кобылица жадно похватывает траву, выбирая помягче, повкуснее, посочнее. Верхушки розовых цветов выше нас с лошадьми, и я, точно злясь, начинаю плеткой сшибать их. В набежавшем ветерке розовая долина колышется, рассевая вверх пушистые пылинки цветов. Пылинки залетают в рот, и я сосу их губами. Медовыми запахами стынет земля.

Мне жалко лошади, но маняще горят кусты красной смородины, и я сворачиваю с тропинки в сторону.

Лошадь в лесных горах родилась и выросла; она ловко перескакивает через валежины и обходит камни и ямы.

Нагнувшись в седле, горстями брусну назревшую красную смородину.

Лошадь обивает смородину. Даю ей отдохнуть и расседланную пускаю кормиться. Сам в хламовитый валежник, где зреет малина. От сочной лесной ягоды хмелеет голова. Слипаются глаза, чертя уверенные круги в синеющей дали склона горы.

Проспался: коня искать. Трава выше меня, и видно только небо до вершин кедрача. Заскочил на колодину, но нигде не видно, хотя стелется во все стороны цветистая долина.

На мой голос не откликнулась ржанием кобылица и, порядочно исколесив по качающимся верхушкам цветов, нашел недалеко от себя.

Она, как видно, сыта, лениво роясь мордой, сосала медовые травы. Из нагорного луга на перевал. Белеют снега; играет искристыми россыпями солнце в снегах на отрогах гор. По расщелинам от белых снежных простыней вьется водопадистыми петлями горный ручей. Бьет о каменистую тропинку копыта лошадь. Вместо сочных трав — мхи да альпийские фиалки. Кончились мхи — одиноко качаются голые, кривые лиственницы. Поджимая задние ноги, скользит по уступам тропинки кобылица.

Внизу снова колышется вторая розовая долина с медовыми запахами. Не вижу, но слышу деревню; из березовой рощи по вечерней заре ясно доносится мычание коров, собачий лай и людской говор. Под'езжаю к жиденьким и полувросшим в землю домишкам, вернее, землянкам.

Под навесом сарая работает фуганком лысый старикан в длинной рубахе. «Наверно, кержаки живут», — промелькнуло в голове.

Он, вытирая пот на лице и лысине, идет к изгороди, где трется мордой моя лошадь:

— Здорово, дед!

— Здравствуй, божий человек, откель бог несет?

— Да вот с чуйского тракта пробираюсь по Катуни вверх на Уймон.

— Что, работы какой ищещь, аль так?

— Так, дед, народ посмотреть.

— Эх, чево смотреть: не по-божьи живут... тяжки времена, антихристовы времена подступают. Там, мы со степи приехали, в деревнях друг дружку убить рады.

— Давно здесь живете?

— Третий годок пошел...

— Хорошо здесь жить?

— Вольготней... Травы хороши, скота держим, пчел водим, в долине у Катуни пшеница добра родится. Ладно жили, да собачье приехало, угодья захватили.

— Какое собачье? — недоумевая, спрашивал я.

— Какое собачье бывает?! — старик от злости отплюнул несколько раз и перекрестился, что-то бормоча.

Чтобы не сердить старика, я перевел разговор на что-то другое.

Долго говорили со стариком; он о боге, я о лесах и лугах.

Старик, приставив ладонь ко лбу, посмотрел на вечерний закат:

— Чево лошадь-то моришь, сегодня дале не поедешь; слезай, ночуешь у нас.

— А близко деревня есть?

— Деревни нет, а до собачья верст с пяток будет.

Алтайские версты не меряны, проехал наверно не пяток, а два пятка.

Вывернулась тропа из березняка к небольшому, но чистенькому домику. Смотрю и не понимаю: первый раз увидел в Алтае, чтобы из погреба тянулись вентиляционные трубы. Из открытого окна домика слышался плавный машинный стук. Соскочил с лошади и зашел. Вертел парень сепаратор. Женщина мыла посуду. Человек с подвязанной щекой возился у столика с пробирками.

Не отрываясь от дела, они на мое приветствие кивнули головой, а я уселся на чурбан, осматривая маленький маслодельный завод.

Кончилось молоко, слили сливки, вымыли сепараторы.

Человек с подвязанной щекой поставил на полочку пробирки и, умывая руки, спрашивал:

— Откуда попал в нашу щель?

— Действительно щель, дальше кержаков забрались.

— А что, разве был у кержаков?

— Был.

— Величают нас, поди, здорово.

— Слегка есть, собачьем кроют.

— Да это чорт с ними: собака лает, ветер носит... Весной жеребца изуили. В поле заскочил, топором по ноге хряпнули.

— Верно, что из-за земли кержаки вас ненавидят...

— Какая там земля! Ехал, видел сколько кругом земли пустой, работолько... Они нашего духа не выносят.

Он тщательно осмотрел вымытые бидоны и, сходя в погреб, позвал ія с улицы.

— Поехали со свежим маслом чай пить.

Не деревня и не лес. В березовой роще среди пеньков, искрясь в лучах эрнего солнца, разбросались пахнущие сосной, отстроенные небольшие ушки. Мастер жил в конце деревни на берегу Катуни. В ожидании чая уселись на обрыве реки. Шумливые катунские волны, набегая на каменi обрыв, обдают нас брызгами.

Давно вскипел самовар. Хозяйка ежеминутно выбегает из избы:

— Идите чай пить, стаканы остыли.

Мы, мотая головой, неизменно повторяем:

— Сейчас!

Между нами на камне распухшая замасленная книга. На верхней кожаой корке из-под наклеенной бумажки, с одной стороны выглядывают золоые буквы «Т/дом», а с другой — «ины»; — наверно, книга из торгового дома аких-нибудь братьев Мичуриных, — думаю я. На наклеенной бумажке крупо печатными буквами выведено:

«КРАСНЫЙ АЛТАЙ» С.-ХОЗ. Т-ВО,
УРОЧИЩЕ СОК-ЯРЫК-ИНЯ ЕЛОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА.

— Откуда ты эту книгу достал?

— В Бийском на барахолке за полтинник купил: она наполовину запиіна была, разные там товары записаны были: мануфактура, чай, сахар: все эвырвали, пронумеровали снова и теперь свое хозяйство записываем.

Мы перелистываем глянцо-пергаментные листы и, тыча пальцами, считаем, считаем на дебете коров с молодыми.

— Шестьдесят четыре на 41-го едока — это здорово!

— Числом порядочно, а молоком не дошлю. А как ты думаешь, ежели ам попытаться холмогорок или ярославок достать?

— Конечно, то и другое хорошо, только далеко везти. Да ваша сиірка не так плоха, только зимой кормить надо по-хорошему.

— Отчасти и верно; сегодня жирность молока определял: четыре с поэвиной выходит. Зимой кормить с весу будем и теплый скотный двор сдеием. Себе кой-как избушки, тяп-ляп, сколотили, а скотный двор уже поастоящему закатим. Уж лес повожен и срубы сделаны. После скотного изэнки раскатим и себе общую хоромину закатим.

Усаживаясь за чай, я про себя повторял:

— 22 лошади, 64 коровы и 46 овец на 7 хозяйств. Это хорошо!..

За чаем снова листали книгу, считая рамочные ульи, плуги, бороны, телеги и хомуты.

— Денег ведь мало вносим: вступных 5 руб. да пай 10 рублей, работаем по табели, но все хозяйство принято как вклад: у всех одно стремление есть — покончить все эти счеты и расчеты — крест поставить.

— То есть как? — испуганно спросил я.

— Понимаешь, очень просто: к коммуне перейти.

После чая листали журналы «Сам себе агроном» и в «Помощь земледельцу».

— Все охота по-новому поставить, да как-то боязно: думаешь, сил не хватит. Вот по журналу учишься, да только иной раз так ученый напишет — сразу видать, что практику не прошел. Сельского хозяйства не знает. Вот дельные штуки крестьяне культурники пишут. Надо обязательно ученым с этими крестьянами работать, друг дружку поправлять и проверку делать.

Заснули ребятишки, да дремала за столом хозяйка... и мы ушли на заваленку.

Точно мохнатой шапкой накрылась долина, сжались лесные горы, еще глуше и сердитее клокочет Катунь. Порывисто шумит ветер на вершинах. Гнутся березы, шебурча листвой. Сидели молча, слушая в горной долине голоса ночи. За рекой на черном силуэте горы вспыхнул костер.

— Вон, видишь, наверно, алтайские пастухи костры зажгли, — не спрашивая, а так, думая вслух, проговорил я.

— Нет, это наши сено косят в нагорном лугу. Дома только бабы со скотом да ребятишки, старухи с ребятишками остались, из мужиков один по заводу оставлен.

— Хорошо у вас, — первым заговорил я.

— Летом хорошо, а зимой хуже. Завоют ветры, понесет метель, а видел как по Алтаю скот держат? Заплетут плетень, сверху хвои набросают, и дрожит коровенка с осени до весны. Сенов почти не запасают. Из-под снегов мерзлые травы добывают. Ударит под весну гололедица — скот стадом вымирает. Мы весной чуть скот не порешили: переселились со степи рано, с собой сена не привезли, — у кержаков не достанешь. Подымали на траву несколько скотин на веревках. Теперь, шалишь, сенов поставили вдоволь да турнепсом коров угощать будем, у нас несколько десятин насажено. Вот завтра все осмотрим.

Ночь, как и все ночи — крепкий сон.

Проснулся от уток и гусей, гоготавших около меня под навесом. Утро, как и все утра, через сито дымчатые туманы горных вершин, брызжется солнце голубыми далями. С горы неслось перекликающее эхо деревенского стада. Вместе с гусями выполоскался на Катуни. Мастер уже сбегал на завод, принял и пропустил молоко. После завтрака мы с ним вместе отправляемся вверх по реке; я по своему маршруту, а он — на сенокос.

За деревней березняк, за березняком в светлой зелени дрожат поля. На узкой полевой тропинке, боясь притоптать придорожную пшеницу, мы идем гуськом, ладонями поглаживая колосья. Он на ощупь выбирает большой,

атый, но еще не зрелый колос, и, сильно сжав пальцами, каплет на ладонь очные соки зеленых хлебов.

— В налив «Ноя» [1]) пошла, погодку хорошую недельки бы на две надо.

У горного ручья прощались:

— А знаешь как этот ручеек по-алтайски называется? Сок-Ярык, одный ключ. Мы с будущей весны им долину напоим, поливы для пшены устроим. Земля теплом согреет и будет не холодный, а теплый ключ. ну, прощай.

И мы второй раз трясем друг другу руки.

— Ты все прямо по Катуни иди, по тропам в горы не поднимайся. Я забегу вон туда, овес посмотреть.

И на ходу, обернувшись, он, улыбаясь, но в то же время с гордостью, кнул:

— Овес-то у нас — золотой дождь...

Поднявшись на увал горы, я долго смотрел на край долины у Катуни, у полосы золотого дождя ходил человек...

Он, останавливаясь, наклонялся, точно колдуя, над овсом, и, казалось не, что человек и золотой дождь цветной долины целовались, прославляя чарные соки алтайской долины.

---

[1]) «Ноя» — один из культурных видов пшеницы.

«Гершензоновская Москва».

Д. Тальников.

I.

Письма покойного М. О. Гершензона, выпущенные недавно издательством Сабашниковых, должны неизбежно привлечь к себе внимание любителя литературы: своеобразный мастер слова, воскресивший с чисто-художественной и поэтической проникновенностью образы прошлого, исторические портреты литературных и общественных деятелей, картины быта,— писатель, перу которого принадлежит «Грибоедовская Москва», «Жизнь Печорина», книга о Чаадаеве и «Образы прошлого» — сколько обещает нам его интимное эпистолярное наследство блестящих зарисовок быта, литературно-общественных портретов и событий того недавнего прошлого, которому наше старшее поколение являлось современником,— прошлого, охватывающего 90-е и 900-е годы минувшего столетия и первые два десятилетия нового, т. е. годы, непосредственно предшествовавшие величайшим событиям нашей эпохи. Словом, мы ждем от этих писем какой-то увлекательной «гершензоновской Москвы», Москвы предреволюционной.

В этих ожиданиях — скажем заранее — читатель «Писем к брату» горько разочаруется. Увлекательности особой нет, но все же черты этой «Москвы» кое-какие имеются.

Вообще, подходя к анализу этих писем, необходимо сделать заранее — во избежание всяческих недоразумений и напрасных ожиданий — оговорку: это — не мемуары,— столь излюбленный сейчас род литературы,— не дневник, писанный Гершензоном. Письма его изданы наследниками, и вероятнее всего самим автором их и не были вообще предназначены для подобного использования: оттуда, может быть, и вытекает их особый характер, делающий их для печати не очень пригодными. У Гершензона — прекрасного писателя — есть брат: писатель писал брату своему; есть мать — он писал ей; таких писем к родственникам, оказывается, Гершензон написал в течение 36 лет около 4 000; из этого, действительно, «огромного» эпистолярного наследства в книгу, предложенную читателю, вошло 119 отобранных — очевидно, наиболее значительных — писем. Но какое впечатление производят в подавляющем своем числе и эти отобранные письма?

Это письма — не творческие, какие можно было ожидать от их автора, 'ворчески-значительные и содержательные, а обычные домашние, «семей-» письма, интересные, вероятно, тем, кому они в свое время были адре-.ны, но крупной самостоятельной общественно-литературной ценности читателя, на наш взгляд, не представляющие, — хотя редактор их, М. ювский, и видит в них «большой», не только узко-биографический инте-, — письма насквозь обывательские — особенно относится эта характе-ика к первой половине переписки, обнимающей юные, ученические годы шензона. Письма написаны, повторяю, без творческого под'ема, — ›рый мог бы оправдать их теперешнюю публикацию; автор в них обходит ıанием интересующие нас процессы своего духовного развития, свои ду-ıые переживания, формирования своей идеологии. Вообще мир идей в них › находит себе места. Так и представляется, что предназначены они не епетом и душевным волнением для своего единомышленника по «духу», я близких — близких по крови, по родству физиологическому. Так и ставляется, что писаны они по выработавшейся привычке человеком, ›рый весь день работает, творит усиленно, вкладывает maximum напря-:ния в эту свою работу, а свободную минуту, — выпотрошенный, опусте-й, — отдает родным, — обязательный, деликатный, связанный традицион-.ми узами родства и родственной самодисциплиной, — так сказать, отпи вает им все, что с ним случилось за день, чисто-внешнее сцепление собы-й, фактов своего домашнего обихода. И вот отсюда наше сомнение: можно пред'являть строгие требования к этим письмам, против напечатания ко-'рых, может быть, мог бы основательно возразить прежде всего сам их тор? Можно ли требовательно обсуждать эти письма?

С другой стороны, книга напечатана, пред'явлена читателю, критику,— к сказать, отдана на суд общественный, в нее внесено редактором, как ı знаем, все, имеющее общий, не только «узко-биографический» инте-с, — не только рисующее покойного писателя, «как человека», и расска-ıвающее о «наиболее крупных событиях» его жизни, но и повествующее о обытиях общественного значения»... Действительно, несмотря на свой емейный» характер, эти письма дают порою черты, типичные не только я личного портрета Гершензона, но и для московских людей его круга, о времени, людей той «Москвы», к которой он принадлежал идейно, ду-›вно. Они дают нам — пусть и неполный, случайный — материал для широ-ıх аналогий — и в этом их известная ценность. Может быть, было бы :осторожно назвать Гершензона на основании этих скудных писем «лето-ıсцем дореволюционной Москвы, бытописателем преимущественно ее ин-:ллигентских кругов», как это делает М. Цявловский, — но ее наблюда-:лем и участником назвать можно.

И поскольку переписка, как книга, нам пред'явлена, она уже без вся-ıх оговорок подлежит и критике, и всем суждениям о себе со всеми выте-ıющими отсюда последствиями. Мы имеем право пользоваться этим мате-ıалом, оторвавшимся уже от своей первоначальной базы интимности и ›иобревшим все права и характер об'ективного документа.

II.

Первая половина вошедших в сборник писем относится к годам юности Гершензона — и эта половина, как я уже сказал, наименее интересная. Читатель с тоской перелистывает эти обстоятельнейшие «семейные» письма 19- и 20-летнего юноши, мало искушенного в жизни, младенчески раскрывающего рот — как желторотый птенец — на все первые радости бытия. Радости эти, однако — и это весьма любопытно для характеристики писателя, страдавшего гипертрофией «книжности» и впоследствии — как увидит читатель — взалкавшего по бегству от культуры в «луга и поля», в прохладу лесную Кунцевского леса, — радости эти — отвлеченного, духовного типа: любовь к книге, уменье сидеть над нею с утра до ночи, углубляться в нее, предпочитать духовным интересам все остальные, в то время когда его сверстники еще играют в бабки, ухаживают за девушками и поют песни. Если бы этот юноша был Пушкиным или Толстым, каждая даже незрелая, детская строка его была бы для нас полна значительнейшего интереса историко-биографического и психологического. Гершензон в опубликованных письмах этого периода вырисовывается не ярко, бледным тусклым пятном, не дающим оправдания опубликованию этих документов.

Ну, вот те же книги: в письмах брату юноша считает своим долгом подробно отписывать, что он читал сегодня, вчера; что думает читать завтра — какой-то случайный не систематизированный каталог книг, университетских учебников (он учится «на медаль»), одни перечисления названий без всякой характеристики. За октябрь он прочитал «1 500 страниц», а именно... и тут идет перечисление. Помимо перечисления встречаются еще одни восторги, наивные, юные. Об Ибсене, владевшем в то время умами современников, он находит записать одно: «это мой идол; когда я начинаю драму Ибсена, я не встаю со стула прежде, чем кончаю ее». Единственно подробное упоминание о «Героях» Карлейля тоже сводится к пылкому дифирамбу, а не характеристике: «лучшая книга, которую когда-либо (а ему всего-то 23 года! *Д. Т.*) читал», «будет моим евангелием» и пр.

Такой же наивный характер детского лепета носят на протяжении этих лет и упоминания этих писем в области других интересов духовного порядка. Что может написать о Киеве юноша, впервые попавший в него? «Город произвел на меня самое лучшее впечатление» и точка. Совсем роспись в книге для посетителей. А вот самый пылкий восторг и сплошные восклицательные знаки — не больше! — от посещения Третьяковской галереи: «Чего я только там ни видел! Крамской, Репин, Айвазовский, Шишкин... Как описать мне тебе бытовые картины Маковского? Их надо видеть»... Вместо вкуса в живописи у нашего корреспондента, как видите, один пыл, да и чего требовать от юноши, впервые попавшего из Кишинева в столицу? Но тогда зачем это печатать? Кому это нужно? В своем слепом увлечении всякими документами мемуарного характера мы явно перебарщиваем.

Юноша посещает театр — очень похвально. Он аккуратно отписывает брату, где был, что видел, и аккуратно сколько платил за билет. Мелькают

великие, неповторяемые имена, при одном упоминании которых бьются волнением сердца театралов — Барнай, Поссарт, Кайнц, Ермолова, Федотова, Дузэ, Мазини, Тина ди Лоренцо. Но что же это опять? Одно перечисление имен, один каталог, без всякой характеристики впечатлений, без единой зарисовки образов, — а уж каким мастером был впоследствии на эти зарисовки прошлого Гершензон. «И что она создала из своей роли! — пишет он об Ермоловой. — Нет, таких мы с тобой не видали. Это сама жизнь...» — это все об Ермоловой, но это он мог бы написать и о Федотовой, Дузэ и т. д., и тут же: «Лилипутов еще не смотрел. Собираюсь пойти». О Фигнере: «Как он играет — это невозможно описать. Барная в этой роли он за пояс заткнет!» — неловко как-то за умного и талантливого писателя читать эти его никому не нужные, мизерабельные, обывательские оценки явлений искусства. О 5-й симфонии Бехтовена он может написать одно: « я млел»; о пении Зембрих — «растаял!.. то-есть, пела — ах! одно слово — восторг!..». Увидев драматурга Шпажинского в театре, восторженный провинциал спешит доложить брату в Одессу: «Ничего особенного: высокий господин в темных очках...».

Повторяю, даже странно как-то называть эти письма гершензоновскими тем, кто любит литературное письмо этого писателя. Не узнаешь в них писателя, имевшего тонкие художественные способности к исторически-психологической портретной живописи. Или он принадлежит к тем, кто может творить не на сыром материале жизни, а на документальной базе архивных материалов?

Кажется, единственная, более подробная театральная запись — и то отвлеченно-философского характера — о Дузэ, которая «воплощает не тип женщины, а только трагический элемент этого типа, усиленный в десять (!) раз». «Я видел, как многие плакали, и я сам страдал ужасно», но тут же типичная для автора писем рационалистическая отметка (а ему только 22 года): «дорого мне обошлась Дузэ: сегодня я не прочитал и 20 страниц, был в чаду»...

В дальнейшем, с ростом юноши, в его письмах начинают появляться более содержательные строчки: так, любопытны его замечания о манере толстовского письма в «Воскресении», о тютчевском стихотворении «Сумерки» — уже чисто гершензоновская страничка, но таких строчек в этих письмах, к сожалению, обидно мало.

III.

Большое место в письмах занимают и описания личных моментов жизни юноши в Москве, рассказы о бытовой обстановке этой жизни — о зачислении в университет (что было не так легко при еврейском происхождении нашего писателя), первом реферате, студенческом акте, о поисках квартиры, записи на лекции, получении входного билета, — мелочи обывательской жизни, которые, вероятно, могли интересовать близкого родственника корреспондента.

О полученной стипендии — сплошной восторг на 1½ печатных стра-
ıицах хорошего сабашниковского издания! Вообще, видимой материальной
ıеобеспеченностью, часто граничившей с бедностью, об'ясняется и ряд рассы-
:анных по письмам упоминаний чисто-денежного характера, для читателя
ıало интересных, и вообще весьма мелочного, прозаического свойства.

В театре он бывает в райке «за 50 коп.», там жарко, «как в аду;
латье держишь при себе, все время стоишь в галошах, потолок низко навис
ад головой»... Бегает по урокам, часто не обедает. 3-рублевка — большой
апитал, и, получив ее от брата, он «с превосходным аппетитом пообедал,
упил на гривенник конфект, на 4 коп. молока, на 5 коп. перьев». Кто-то
одменил калоши, он натер себе рану на ногах; хочет заложить пальто... —
бо всем этом пишет. Вот он — студенческий быт!

Материальные невзгоды, очевидно, приучили юношу вести строгий счет
зоим финансам, и этот бухгалтерский счет всегда сопровождает все деяния
ноши, столь пылкого к духовным интересам. И брату об этом обстоятельно
экладывается.

«Заплатил извозчику 30 коп. и переехал»... Бюджет: «11 руб. за ком-
ату, 1 рубль — служанке»... «Разовый билет в московской нормальной сто-
эвой стоит 40 коп., а абонемент на месяц — 10 руб.». И тут же аккуратно
ылкий юноша перечисляет, что «за это получают: суп с говядиной, жаркое
сладкое; вместо сладкого можно получать: стакан отличного кофе с мо-
эком или стакан чая со столовой ложкой варенья, или же — просто 5 коп.
а гардероб платы не взимается...» — всю эту скучнейшую прозу юноша
гарательно заносит в письма на ½ печатной страницы. Нужно ли это
итателю?

Черты остаются на всю жизнь. Юноша вырос, ему уже 28 лет. Он
растно коллекционирует портреты русских писателей, ищет их по буки-
істам, сам наклеивает, покупает, обменивает, но не забывает отметить:
обмен «доплатил 10 коп.»; потратил массу энергии и любви, как мы ви-
ім, и — «8 руб. 40 коп. денег» («я веду точный счет...»). Ему уже 30 лет,
он так же точно и обстоятельно отписывает брату, в каком часу встает,
аваривает на примусе кофе и яйца», и опись покупки своей: «½ дюжины
ıнишек по 60 коп., галстух за 60 коп., теплые перчатки за 1 руб., 4 пары
эрстяных носков по 55 коп.».

В рассказе о журфиксе у своего товарища В. Маклакова непременно
чно описываются блины «на славу»: «Я с'ел 5 штук и выпил стакан вина».
в другом письме эти блины не покидают читателя: «ели блины; на шестом
ине», к сожалению, кто-то помешал. О, московские блины!.. Шерстяные
ски, «5 штук» блинов — и жар душевный, и идеализм, таким восторжен-
ım представителем которого был Гершензон! — тема для весьма острых
ихологических сопоставлений...

Конечно, и эти простосердечные записи дают кое-какие маленькие,
ıвые, искренние черточки для психологического образа автора, но о «наи-
лее крупных событиях личной жизни», которых обещал нам редактор
сем, в них, как видите, говорится мало. Где эти события? Или ими не

гата была жизнь писателя — типичного русского интеллигента? Добрую ловину этих писем, заполненных таким, как мы видели, житейским мусом, мог бы написать родным любой студент той (и не только той) эпохи, к читателю, конечно, они не дошли бы.

Встречи, московские встречи... Описание их под художественным пем Гершензона могло бы представить крупнейший интерес. Перед читатем проходит ряд виднейших имен этой «гершензоновской Москвы», — литетурных, научных, политических, общественных, но — странное дело — нет книге ни одной яркой, увлекательной, — даже простой, не яркой, — хактеристики, образа, портрета. «Письма брату» походят, местами, если не какой-то «рапорт» по начальству, то на простую отписку по необходисти. Проф. Виноградов (учеником которого был Гершензон), Герье, Клюэский, Сеченов, Тимирязев («вот и вся наука!»), Струве, Маклаков, Щепн, Гольцев, Сологуб, А. Белый, Шестов, Булгаков и многие другие, — закрываешь книгу и ни одного живого образа не остается в памяти, ни ного живого штриха. Ведь не штрих же, в самом деле, то, что у Маклаза ели блины «на славу»!

Но и в этой области — во второй половине книги — встречаются все ке — пусть и в виде исключения — счастливые зарисовки и суждения, которых есть подлинное «гершензоновское»: описание поездки к Огаевой, встречи с Л. Н. Толстым. Вот С. А. Толстая, которая мечтает дожить о «золотой свадьбы: ведь полвека прожить с Толстым — это почти граниозно» — слова самой Толстой. Вот Толстой в редакции «Русских ведоюстей» (в 1898 г.): «Серая блуза, серые штаны, очень сутуловат и робок». Встреча с Толстым на Волхонке: он был в шубе с полуотложным воротником, так что «грязно-седая» борода «клочьями торчала наружу». «Был изрядный мороз: он шел, тяжело опираясь на палку и с некоторым усилием ереставляя ее, напружившись от холода, который был ему, очевидно, очень неприятен. Серые маленькие глубокие глаза скользнули по моему ицу». Очень интересно проявляется живой Толстой («неукротимый стаик») в свидании его с Гершензоном в 1909 г., где Толстой был очень раздражен, «не давал говорить» своему собеседнику, грубо обрывал его, а потом, сконфуженный, ушел: «да, нагрешил, нагрешил»...

Любопытна также характеристика крупнейшего еврейского поэта Бялика: «много я видел замечательных людей, но такого большого, как Бяик, еще не было за нашим столом... — пишет, немного наивно, Гершензон в 1917 г.). — Он так удивительно глубокомысленно умен и в своем мышении так существенен, конкретен; по сравнению с ним наше мышление ак-то беспочвенно и воздушно. И потому же, конечно, он с виду, по маерам, прост совершенно, точно приказчик. Говорит самым простым тоном, когда вслушиваешься, то слышишь нарастающую стальную крепость ысли, отчетливость и поэтичность русских слов, а в узеньких глазах — стрый ум. По сравнению с ним и Вяч. Иванов, и Сологуб, и А. Белый — дети, егкомысленно играющие в жизнь, в поэзию, в мышление» — очень любоытное и для процессов, нарастающих в психике самого Гершензона, строки...

Но, к сожалению, таких просветов в духовную жизнь Гершензона в письмах наредкость мало.

Личное, что показано в письмах, — как видит читатель, — не подыıется над уровнем среднего, обывательского. А об умственных и душевıх переживаниях их автора, о духовном процессе созревания личности ›чти ничего не говорится в этих документах, охватывающих период 1888 до 1917 гг., т. е. около 30 лет, — период, в начале которого мы :тречаем 19-летнего юношу и в конце которого мы расстаемся с 48-летним, ıого пережившим и передумавшим писателем.

Где крупнейшие события внутренней личной жизни Гершензона, риод его блужданий и скитаний? Где интерес его к науке, который в письıх не идет дальше перечисления названий читаемых книг (и то только студенческие годы)? Где процесс формирования его философски-историчеих и общественных концепций? Творческая жизнь писателя, как и вну›енняя жизнь человека, рост его личности, не лежат в поле этих чистоешних, формальных писем, и это их наиболее уязвимое место.

Мы знаем, что писатель Гершензон недаром с особой любовью и тантом углублялся в жизнь и творчество первых славянофилов, с которыми вствовал психологическое и общественно-философское сродство. Не «бра», не родственникам, к которым адресованы эти письма — 119 или все тысячи! — а, очевидно, далеким Киреевским, Хомяковым и Чаадаевым он давал свои думы, свои творческие переживания и восторги, свою подлиню жизнь духовную, и подлинные письма к ним, этим близким и живым я него мертвецам — это его книги, столь хорошо известные читателю.

Создать живой образ Гершензона вне этих книг невозможно.

IV.

Редактор включил в сборник и письма, «повествующие о событиях щественного значения», в которых Гершензон явился, по мнению редакра, «летописцем дореволюционной Москвы, бытописателем ее интеллигентих кругов». Так ли это в самом деле?

И с этой стороны книга также в значительной степени разочаровыэт, ибо и в этой общественной «летописи» письма остаются — как и летописи личной жизни их автора — только на поверхности событий, не ıая попыток углублений и осознания, не вскрывают этапов внутренней эьбы идей, что делало бы письма несравненно более значительными и со›жательными. Все же в описании и внешней стороны событий встречается ı интереснейших деталей и черточек, которые делают эти страницы кни наиболее интересными в ней и позволяют набросать некоторый эскиз инıлигентской Москвы 90-х и 900-х годов.

Особенно любопытны в изображении Гершензона всякие торжествене «обеды» и празднества московских интеллигентов — вообще без «обез» и соответствующих возлияний вещественных (напитки) и идейных ›чи) не обходится ни одно сколько-нибудь заметное московское торже-

ю. Москва интеллигентская любит поесть («блины на славу!»), попить и говорить.

Вот традиционный «Татьянин» день, который Гершензон описывает не ин раз. В описании 1890 г. (ему только 21 год) еще не чувствуется поздйшей язвительности, он доволен собою и окружающими — один из участков этого дела, но в общем получается достаточно незавидная карна. Университетский праздник начинается торжественным актом с гераал-губернатором и митрополитом, «Боже, царя храни» и «Gaudeamus» › 2 раза), а кончается «Стрельной» и «Яром» с цыганами. Юноша дробно описывает питье, как его кто-то «накачал кларетом» (и тут же в обках — обстоятельный юноша! — не забывает уточнить: «недурное вино ! руб. бутылка»). Все пьяны, и профессора тоже — «большей частью до ложения риз». «Поставили (!) на стол» Янжула и заставили его говорить ь: «Ну, что я вам скажу — вы пьяны, как истинные студенты, и я пьян, к истинный студент». И в следующем году опять такое же замечательное аздноваиие той же «Татьяны»: опять — «напился» (любопытно было бы глядеть на этого скромного «книжника»-труженика — напившимся! веятно, и пить-то по-настоящему он не умеет, но надо выдержать позу, не отставать от всех, — это интеллигентский обычай!), «поколотил много поуды, многих обнимал и целовал». Опять «Стрельна» — «тушил свечи фуражкой». Там же очутился и Ключевский — «его буквально рвали на части, асилу увели его». А потом — «ночь провел прескверно, рвал и икал» — и е забывает тут же отметить: «стоила мне вся эта история всего коп. 50, бо больше капитала и не было».

Тем временем автор растет духовно, и этот рост в письмах только езаметно выявляется в его отношениях, главным образом, к интеллигенции. Год его пером эти праздники и «обеды» — вся интеллигентская Москва. Вопрос об отношениях к интеллигенции, как известно, явился существенным ля мировоззрения Гершензона. Правда, до «суда над интеллигенцией» пока ще далеко, но черты скептицизма в этом вопросе становятся все более вственными, причем всю интеллигенцию — и радикальную, левую и либеральную — Гершензон трактует вкупе.

Описывая «обед» в честь Златовратского (1897 г.), на котором присутствовали Карышев, Кривенко, Маклаков, Скабичевский и др., он язвиельно характеризует речи, которые начались «после жаркого»: «аффекация в каждом слове, самодовольство, убожество мысли и слова — просто оразительно!». Язвит над тем, что «читает адрес «рабочий» в сюртуке, анишке и изящном галстухе». «На юбилей потрачено 2 000 рублей, а можно ыло учредить целую школу». Он «убедился, что между остатками 60-ников нами психологически гораздо больше общего, чем между ними и промежуочным между нами поколением; это общее — искренность, честность ысли и слова. Люди 70-х и 80-х гг. за очень немногими исключениями — лучшем случае равнодушные болтуны». Кто это «они» и «мы», не уточняет втор, но можно догадаться, что мы — «тип Булгакова и Водовозова». это время С. Булгаков был еще легальным марксистом и работал в

марксистском «Новом слове», где и Гершензон поместил 3 своих стихотворения.

Боюсь, что современному читателю никак не удастся расшифровать, 'о скрывается под фамилиями Карышева, Гольцева и многих других, упоінаемых в письмах, — каковы представляемые ими политические и обще-'венные платформы и в чем суть расхождений. Примечания к письмам этом смысле не дают ничего интересного, а что скажут читателю эти неюгие скупые, приведенные выше, строчки самого Гершензона — кажется, инственные в книге строчки, где говорится об идейных расхождениях?

В критике либеральной и радикальной интеллигенции Гершензон ста-ıвится чем дальше, все язвительнее, встречая в этой критике неожидан-ıе, — если б он мог это знать, — сочувствие у современного читателя. ıи «оживленно и шумно обедают», потом «приятно проводят время в разгорах»...

Вот «обед либералов» в «Континентале» по случаю 19 февраля (падеіе крепостного права). Автор не пошел на него — на этот торжественный ıаздник «гершензоновской Москвы»: «охота 2 рубля платить да часа 4 беральную болтовню слушать» — но он передает все, что узнал об этом іеде в редакции «Русских ведомостей» — оплоте московского либерализма. ı обеде было 150 человек, были Златовратский, Чехов, Станюкович, Эрль, Гольцев, Мамин-Сибиряк и были «всякие» тосты, речи. «Руководили ольцев и Тихомиров». «Самая пикантная» часть была в «отдельном кабите», где Тихомиров, «сам издатель из ловких, но либерал», сказал тост купца-издателя Сытина, пожелав ему вместо коммерческого интереса больше либерализма. Сытин остро ответил, что будь у него 5 миллионов питала и большое дело, — «никому не поклонился бы в ноги, чтоб руководил моим делом, как вам, первому практику нашего дела». А потом Сытин ›ибавил на-ухо соседу — язвительно и умно: «Он-то, конечно, шестидесятк, да только с хвостиком». И тут же об этом Тихомирове любопытная таль: «говорит о народе и колотит себя в грудь: «Народ нас кормит! ıждую нашу кроху должны мы отдавать ему», и при этом плохо рассчинным жестом смахивает со стола бутылку шампанского в 9 руб.».

Другой интеллигенции Гершензон не знает и не видит в своем — же типично «интеллигентском» — нигилизме, и его критицизм распространяется не только на либеральную, но и на левую интеллигенцию. Он старательно заносит в очередное письмо к брату рассказ старушки о заседании дакции «Русского богатства», где о чем-то «разглагольствовал» Скабичевий. Рассказчица вышла в соседнюю комнату («стало мне как-то грустно!»), вслед за нею вышел и Гаршин и говорит ей: «Вот то же и со мной; а ведь о цвет наших умственных сил» — и по щекам у него текут две слезы...».

А какова позиция самого Гершензона? Высмеивать интеллигенцию можи слева, и справа. Что он выдвигает взамен либерализма «равнодушных лтунов», «шестидесятников с хвостиками», взамен этого унылого бледного вета наших умственных сил»? Кто сам Гершензон? Читатель «Писем брату» напрасно будет вопрошать об этом: держась на поверхности

тов, письма упорно избегают касаться всего, что бросает свет на внут-
нюю, умственную и душевную жизнь их автора, и нашу характеристику
шензона придется строить по ним весьма амальгамично и только имея
пасе, как я уже сказал, его книги — записи его подлинной духовной
ни.

V.

Для Гершензона с юношеских лет характерно отсутствие настоящего
ественного миросозерцания, отсутствие гражданского пафоса, вообще
ія-то малая заинтересованность общественной и политической жизнью,
шой индифферентизм, «равнодушие» к ней, в котором он упрекает
их, причем нисколько не меняется существо дела от наличия «искрен-
и, честности мысли и слова», которые ставит себе в заслугу автор
м.

Ну, вот, казалось бы, такой жгучий и близкий для него вопрос, как
йский, который должен был бы сильнейшим образом встряхнуть юношу-
листа, вызвать в нем самые крайние и пылкие отклики, характеризую-
его общественный темперамент. Автор писем, ближайший ученик
Г. Виноградова, из-за своего еврейского происхождения не мог быть
гавлен при университетской кафедре и стать ученым, в чем было его при-
ание — это ведь потрясающая вещь! Матери-старухе, как еврейке, нельзя
ть при сыне в Москве и приходится хлопотать у влиятельных лиц и пр.
пр. — и что же? Как реагирует молодая мысль и пыл автора на этот про-
зол? Ставит он вопрос в общественную плоскость, переносит его туда из
еры личной заинтересованности? Сколько обывательской наивности
оноши в его надеждах на то, что «лучшие люди России» подпишутся под
есом об еврейском вопросе, составленным комиссией с участием Л. Тол-
ого и Вл. Соловьева, что адрес «будет представлен государю» и, «каков бы
был практический результат» его (характерное для будущего идеалиста
аков бы ни был»!), он будет иметь «громадное влияние», ибо «отныне ни
ин сколько-нибудь интеллигентный человек не решится худо гово-
ть об евреях!..».

Предстоит дикое выселение из Москвы евреев-ремесленников — только
тому, что они — евреи; «8—9 тысяч семейств обречены на голодную
ерть», какой-то знакомый господин «теряет полсостояния благодаря это-
», — и больше ничего, — и тут же автор приводит брату свои стихотворе-
і о «светлом ручейке» и о «незримых ранах печального сердца людского»!..

Вообще для юноши-корреспондента характерно это стояние в сторо-
от общественных дел, от революционных настроений современного ему
денчества — при всей пылкости, свойственной юности вообще и нашему,
: мы видели это, в частности (его восторги театральные и пр.). Он — тип
ного исследователя, академика, по природе своей, но в эти зеленые, не-
лые 19—20 лет, когда «кровь кипит и сил избыток», когда волнуют
ты о благе человечества — пусть позже откажется от них зрелая «муд-
ть», — как оставаться в стороне от «схватки», продолжая сидеть над

книгой и готовить реферат «с утра до полуночи»? А о сходках, волнующих все московское общество, всю молодежь, он узнает со стороны, со слов ͻугих, и брату отписывает о них, как об одной из очередных «новостей» осковского сезона, как о всякой другой новости житейской или театльной...

Он — студент, но знает только академическую студенческую жизнь; ͻщественная же жизнь идет мимо него. «Целая масса (!) студентов» ͻлжна быть исключена за невзнос платы из университета, он не возмуается этим фактом, приемлет его, как обычное нормальное явление, но ιто пылко восхищается московской «благотворительностью», заплатившей ι студентов. В 1890 г. он, 20-летний юноша, записывает мимоходом: «у нас ыли крупные студенческие беспорядки», «арестовано более 500 студентов», ͻ — «я слишком утомлен, чтобы более подробно рассказать». Подробнее ι передает рассказы («как говорят») о больших беспорядках 1901 г., об ıбиении курсисток и студентов городовыми — картинка нравов «уличной» осквы в pendant к Москве «отдельных кабинетов» и пышных особняков, ιе «оживленно и шумно обедают», а потом «приятно проводят время разговорах», — но дальше «разговоров» и сам автор писем не идет.

Как-то в одном письме промелькнул у нашего студента образ девушки, ıучавшей «экономический материализм» и доводившей его в спорах «до ·шенства», но вот в чем заключались эти споры, — то, что могло бы быть мым интересным для читателя, чем характеризовалась атмосфера идейͻй жизни молодежи тех годов — ни слова в письмах, наполненных через ͻай всяким обывательским мусором.

А 1905 год? Как он прошел мимо взрослого 35-летнего Гершензона? об этом читатель отобранных писем, — в которые, вероятно, включены .иболее значительные в общественном смысле страницы переписки, — не ͻжет ничего сказать, как будто этого года вовсе и не было в жизни «герензоновской Москвы»: передача кратких общеизвестных «новостей» 9 января — и дальше: «мы здоровы», «занимаюсь Чаадаевым», о предстояих родах жены. Об октябрьских событиях 1905 г.: «мы здоровы, но как ıжко было эти дни читать газету... нервы у нас очень расстроились, как, рочем, и у всех». И это все — все в большой книге писем — о 1905 годе. Іервы расстроились»...

VI.

А между тем этот год ясно обозначил перелом в идеологической ıзни интеллигенции «гершензоновской Москвы», тот перелом, который ͻдготовлялся уже и раньше, но намеки на который напрасно читатель 'дет отыскивать в лежащих перед ним «письмах». Эти годы были годами :ончательного выкристаллизования идеологии и самого Гершензона, годами :ончательного сформирования этого талантливого представителя части 'сской интеллигенции.

Мы знаем, — по другим источникам, — что в основе общественнолитического мышления Гершензона лежала идея примата личности над

общественностью, «правильного устроения каждого отдельного духа» над изменением общественных форм». Наиболее рельефным выражением этого идеалистического мировоззрения писателя явилась его известная статья о русской интеллигенции в сборнике «Вехи» — статья, которая придает особый смысл тому его, нам известному уже, язвительному высмеиванию интеллигенции, образцы которого мы выше видели в «Письмах к брату» — предвестникам будущего его беспощадного «суда над русской интеллигенцией».

Самый сборник «Вехи», инициатором которого был Гершензон, явился историческим переломом в процессе развития той значительной группы буржуазной интеллигенции, к которой примыкал Гершензон, — надолго определившим ее путь до революции, на протяжении самой революции и позже; без понимания этого памятника будет неполна и неясна не только «гершензоновская Москва», но и позднейший этап ее, — явление уже революционного времени: так называемая, «смена вех», «сменовеховство».

Но обо всем этом, крайне важном (еще бы не важно!) для личной жизни Гершензона, более важном, чем вопрос о затрате стольких-то копеек на шерстяные носки, — о том, чем он несомненно болел, а не только страдал на бумаге, ибо он был искренний и честный писатель, — ни слова в его письмах. Именно эта сторона личной жизни, которая выходит далеко за узкие пределы личного и звучит общественным фактом, совершенно обойдена в лежащих перед читателем тусклых обывательских письмах одного брата к другому.

«Вехи» — «сборник статей о русской интеллигенции», как гласил его подзаголовок, появился в Москве в марте 1909 года и на протяжении почти ½ года выдержал 4 издания (дата 4-го издания — сентябрь 1909 г.; в 1910 г. вышло 5-е изд.), — успех для того времени для «серьезной» книги исключительный. Авторами сборника были известные журнальные и общественные деятели, философы и идеологи «гершензоновской Москвы»: несколько бывших социал-демократов, к тому времени уже раскаявшихся — С. Н. Булгаков, П. Б. Струве, А. С. Изгоев, Н. А. Бердяев, потом Б. А. Кистяковский, С. Л. Франк и сам М. О. Гершензон. Все эти люди, за исключением Гершензона, оказались потом в эмиграции — и не случайно, конечно.

Сборник явился несомненным выражением той общественной реакции, которую вызвало поражение революции 1905 г.: под эту реакцию авторы сборника подводили соответствующую идеологию. Автор предисловия к сборнику, М. О. Гершензон, считает, что революция 1905—1906 гг. явилась «как бы всенародным испытанием тех ценностей, которые более полувека блюла наша общественная мысль». «Отдельные умы», — оказывается, — «уже задолго до революции ясно видели ошибочность этих духовных начал»... «Поражение интеллигенции» вызвало потребность «проверить самые основы ее традиционного мировоззрения, которые до сих пор принимались слепо на веру». И вот в «грехе прошлого» надо покаяться...

Итак, с несомненностью мы имеем дело с ликвидаторской «проверкой», ревизией всех общественных ценностей «левой» общественной мысли, своеобразный «суд над русской интеллигенцией».

Конечно, не для того, чтобы вести запоздалую и — увы! — бесплодную полемику с «веховцами», касаемся мы здесь основных пунктов этой реви-
и — история сама подвела соответствующие итоги, — но чтобы восстано-
ть в общих чертах идеологию той Москвы, которую мы назвали «гершен-
новской» в pendant к столь опоэтизированной и местами весьма идеализи-
ованной нашим писателем дворянской «грибоедовской Москве».

Что же об'единяет авторов сборника в их покаянии? Философски-
еалистическое мышление, которое сам Гершензон позже (в своей харак-
ристике Бялика) охарактеризовал как «беспочвенное»; «признание тео-
тического и практического первенства духовной жизни над внешними фор-
ми общежития, в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть един-
венная творческая сила человеческого бытия», и она, а отнюдь не «само-
влеющие начала политического порядка», является «единственно прочным
зисом для всякого общественного строительства». Основную ошибку
арой интеллигенции автор видит в том, что ее идеология покоилась на
изнании «безусловного примата общественных форм». Итак, не поли-
ка, не общественная борьба за изменение общественных форм, а
утреннее самоустроение, «царство божие внутри нас», — то, что делает
эль понятным для нас сейчас антиобщественные настроения и позиции
ршензона на протяжении всех его «Писем к брату», настроения, созревшие,
к он признает, «уже задолго до революции». И Гершензон определенно и
однократно отмечает, что авторы «Вех» ведут свое родство «от наших
чших умов»: Чаадаева, славянофилов, Достоевского, Соловьева и
лстого.

Бердяев в сборнике призывает к «эмансипации мысли» от политики,
зерждая, что «политическое освобождение» возможно лишь на «основе»
ховного и культурного возрождения; С. Булгаков скорбит о «религиоз-
й природе русской интеллигенции» и о «легионе бесов», сотрясающих
гантское тело России в конвульсиях». Отвергнутый Христос «стоит и
чится в гордое, непокорное, интеллигентское сердце», которое носит
ать Его» на себе (позже, уже в дни нашей революции, Булгаков, как из-
тно, успокоил свое непокорное сердце в лоне монашества). Струве там
призывает, несмотря на «отвратительное торжество реакции», не за-
ачивать «ошибок революции», превратившей народническую, — «не говоря
е о марксистской», — проповедь в «разнуздание и деморализацию»; счи-
т необходимым для интеллигенции «пересмотр всего своего миросозер-
ния» (в особенности «главного его устоя — социалистического отрицания
ной ответственности»), изживание характерных для «интеллигентского
цепенства» черт «противогосударственности» (враждебности к государ-
у) и «безрелигиозности». — в то же время протестуя против придавания
теллигенцией политике значения «альфы и омеги всего бытия своего и на-
ного» и возвещая «кризис социализма». В настоящее время Струве, как
естно, основательно «изжив» все указанные им черты «интеллигентского
цепенства», успокоился в лоне «отвратительной реакции», не находя ее
е более «отвратительной». Что ж, всякому свое.

Нас в данном случае более интересует Гершензон, чья судьба до последних его дней протекала в условиях нашей революции. Авторы «Вех», сходясь в общих настроениях, в частностях впадают во взаимные противоречия. Так, в противовес указанному Струве греху «отчуждения от государства», Гершензон обвиняет русского интеллигента в том, что он живет «вне себя» в буквальном смысле, т. е. признает единственно достойным об'ектом своего интереса «народ, общество, государство». Зато он мог бы подписаться под утверждением Струве, что «для религиозного миросозерцания не может быть ничего более дорогого и важного, чем личное самоусовершенствование человека, на которое социализм принципиально не обращает внимания» (о том же говорит статья Струве о Л. Толстом в «Русск. мысли» за август 1908 г.). Движение к «творческому личному самосознанию», уничтожение «тирании общественности», «искалечившей личность» — вот определенно выкристаллизовавшийся идеал Гершензона, под углом которого он рассматривает всю прошлую жизнь русской интеллигенции как «духовную нищету», «печальное искажение», где «преувеличенный интерес к вопросам общественности» вызвал «распад личности», сделал ее «калекою».

Здесь у Гершензона идет уже речь не о либерализме 80-х годов, который он высмеивает так язвительно в своих «Письмах к брату», а об определенной революционной идеологии. Он так образно рисует работу нашей интеллигентской мысли за «последние полвека»: «Кучка революционеров ходила из дома в дом и стучала в каждую дверь: «Все на улицу! Стыдно сидеть дома!» и все состояния высыпали на площадь, хромые, слепые, безрукие... Полвека толкутся они на площади, голося и перебраниваясь. Дома — грязь, нищета, беспорядок, но хозяину не до этого. Он — на людях, он спасает народ»...

«Никто не жил, — укоряет эту интеллигенцию Гершензон, — все делали (или делали вид, что делают) общественное дело». Видно, Гершензон болел долго («уже задолго до революции», как он признает об «отдельных умах» в своем предисловии к «Вехам») этим вопросом: речь его, поистине прокурорская, пышет ядом страсти и обличения: «интеллигент — раб политики», не видящий «божьего света», с ненавистными шорами «интеллигентской общественно-утилитарной морали». «Каждая личность духовно оскоплялась уже на школьной скамье». «Силу художественного гения у нас почти безошибочно можно было измерить степенью его ненависти к интеллигенции: Л. Толстого, Достоевского, Тютчева и Фета». «История нашей публицистики начиная после Белинского» (думаем, что включить нужно сюда не только «атмосферу Писарева и Михайловского», а и самого «неистового» Виссариона!) — «сплошной кошмар», так как она оперировала правилами «человеческой логики», «разума», идеями «общественности» (а не «мистическим, религиозным» началом сознания). Вообще, история нашей общественной мысли не «органическая», «национально-самобытная»: «шеллингизм, гегелианство, сен-симонизм, фурьеризм, позитивизм, марксизм, ницшеанство, неокантианство, Мах, Авенариус, анархизм»...

И что же в результате всего этого? «Сонмище больных, изолированных в родной стране — вот что такое русская интеллигенция». Народу она чужда: «бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять» ту власть ненавистную, «которая одна своими штыками и тюрьмами еще граждает нас от ярости народной»...

«Гершензоновская Москва» в этом пункте боязни народа, кажется, казалась чуткой: народ, действительно, в своей «буйной слепоте страстей» е пощадил ее.

«Уроки» 1905 г. Гершензон видит в «интеллигентском разброде после еволюции («гипноз общественности исчез и личность очутилась на своде»), «вялости и равнодушии» всеобщем к политике (хотя «реакция торжествует и казни не прекращаются»), в «лихорадочном» метании интеллигентской мысли «вне политики», ее увлечении модернистской поэзией, «проповедями христианства». Он аплодирует общественной реакции, ибо так или наче «тирания политики», «монополия общественности» кончились. Он ынужден признать, что в отдельной душе не замрет «политический интерес», в стране, где «подавлены мысль и слово» и миллионы гибнут в нищете невежестве, — там оставаться равнодушным к делам политики было бы ротивоестественно и бесчеловечно». Но — благодарение богу! — «над молодежью тирания гражданственности» (другого определения у него и нет) юмлена «надолго» (на долго ли?) и «обновленная личность», только она на «преобразует нашу общественную действительность».

К этому яркому идеологическому манифесту «гершензоновской осквы» добавить остается немногое для того, чтобы встал ясно и образ сихологический — и умственный и ее, и самого Гершензона со всеми его оль характерными симпатиями — идеализма в философии, экстатического истицизма — в психологии, аполитизма в лучшем случае (а консерватизма реакционности — в худшем, как доказал это «опыт» Струве) — в политике, символизма — в искусстве.

Для русского реакционного идеализма характерна еще статья о Гоголе ершензона в «веховской» же «Русской мысли» за тот же 1909 г. (позже на вошла в сборник «Исторические записки»). Ликвидация общественного наследства развернута Гершензоном по всей линии. Здесь идет уже борьба против нашей публицистики «после Белинского» (т. е. не против «кондора» «Писарева и Михайловского», и, конечно, само собою разумеется, ельтова-Плеханова), а против самого Белинского. Гершензон считает, что обществе укоренилось такое искаженное представление о «Переписке с друзьями», что даже у нас, где «почти все прошлое общественной мысли изображено в угоду политической тенденции, судьба этой книги остается беспримерной». Статья Гершензона — реабилитация «Переписки», ревизия становившегося (и, конечно, не поколебленного до сих пор никакими «проверками») взгляда на эту книгу как на сугубо-реакционное произведение. Понадобилось полвека», чтобы восстановить в правах автора «Переписки», к «равноправную с Белинским спорящую сторону». В «длящемся полвека. ныне неоконченном» споре между Белинским и Гоголем Гершензон ста-

новится, конечно, на сторону последнего: вся программа деятельности Белинского, построенная на политических идеях, вся его концепция общественного прогресса для Гершензона — «грубое заблуждение». У Гоголя — «ценность непререкаемой истины об индивидуальном духе, как о последнем плотном ядре, из которого все исходит». «В душе ключ всего». Гоголь противопоставляет Белинскому душу отдельного человека — «единственную реальную движущую силу истории». Хороша история в этом понимании!

Я не буду останавливаться на других работах Гершензона этого периода: думаю, что и сказанного достаточно, чтобы восстановить перед читателем основные вехи идеологии Гершензона и связанной с ним «гершензоновской Москвы», дать краткий идеологический комментарий к книге его писем, лежащих перед современным читателем, сделать более понятными уже просмотренные письма (его отношение к интеллигенции, полное пренебрежение к общественности) и подготовить его к заключительному аккорду этой «Москвы» — последним страницам книги, помеченным декабрем 1917 г. амих письмах, как я уже сказал, совершенно не показана эта внутрен-, идеологическая ткань жизни Гершензона: их полная незначительность том смысле достаточно хорошо характеризуется тем фактом, что о «Ве-:» и всем периоде их, о вызванном ими волнении в «Письмах» ровно нио не сказано. Зато под датой 1909 г. мы находим, кроме рассказа о дании с Толстым, где Толстой сразу об'явил автору, что он «опутан ким суеверием» (на вопрос о «боге, как творце мира»), еще всякого а соображения семейные о поездке на юг, о денежных делах и пр.

А о самом главном — ни слова.

VII.

Но вернемся к нашим «Письмам».

Шли года. И позже, во время революции наших дней, автор — уже емененный 48 годами жизни, большими знаниями, опытом, именем, — и тот 19-летний юноша первых писем — будет стоять в стороне от щественного движения, делиться с близкими только случайными расскаи о нем, переживать его (по крайней мере, в опубликованном в сборнике ериале этого периода) больше в житейских мелочах, обыденности, небдах обывательских, почти не замечая главного — или не упоминая о в письмах.

1 марта 1917 г., вслед за февральским переворотом, он пишет родным: ются такие дела»... Об отношении к событиям ни слова, но зато: «вве-ы хлебные карточки», удалось «достать провизии хоть на два-три дня, емного дров по бешеной цене». «Волновались мы страшно, газет не о, — я, можно сказать, не отходил от телефона», — пишет он II—17 г. Но дальше телефонных звонков, справок, волнений и словопре- («здешние писатели заняты составлением резолюции») — участие в общественных делах первейшей важности не идет. Эта — «веховская» — ин-

теллигенция может еще «подать голос», но для действия общественного, активного отстаивания даже своей идеологии, для борьбы за нее — она бессильна... «Но для дела вы мертвы давно»... Впрочем, нет и «порывов».

Даже в тусклых и скупых отметках этих писем читатель чувствует приближение грозы; какое-то смутное, все растущее волнение охватывает и автора. Собираясь читать в Киеве лекции («Кризис современной культуры» и «Пушкин»), он понимает, что «людям теперь не до философии и не до лекций», всюду «митинги», но понимает ли он, что кризис — подлинный, не только лекционный, что именно это — «кризис культуры» всего старого мира? Он жалуется, что с билетом 1 класса просидел с другом своим Шестовым «28 часов на маленьком чемодане» в коридоре, «в ужасающей тесноте, безвыходно, не спав, не евши». «На крышах вагонов было 600—700 чел. — чистый ад. Часть ночи даже (!) не было света, — свеча догорела и зловоние страшное». Это — апрель 1917 г., а что будет дальше?

«Все угрюмы и голодны, — описывает он брату Москву в сентябре (28 сент. 1917 г.). — Кто побогаче, запасает провизии на тысячи, достают даже сахар по 3 руб. фунт и всюду говорят т о л ь к о о провизии, о трамваях и других невзгодах. Скучно слушать...».

«Гершензоновская Москва», которая в свое время, как мы знаем по свидетельству этого же летописца, «оживленно и шумно обедала» и приятно проводила время в разговорах», — теперь уже только разговаривает и совсем не «приятно» — тонкому интеллигенту и идеалисту даже претит этот сугубый «материализм»: «скучно слушать»... Но идеализм — идеализмом, а... крупа — крупой: «Вы будете искать крупу, и я заранее сердечно благодарю вас». Духовные интересы, которые уживались прежде мирно и рядом с материальными, житейскими, сейчас решительно отодвигаются в сторону; наступает в жизни этой интеллигенции период, охарактеризованный ее другим бытописателем Е. Замятиным, как «пещерный». Все письмо, которое мы цитируем здесь, заполнено житейскими соображениями встревоженного — и не даром! — обывателя: «Надо теперь же сделать большие запасы. Овощей можно накупить, но абсолютно нет никакой крупы; выдают по карточкам ½ фунта риса на 15 дней человеку». Идеалистическая Мария вся ушла в «земные» дела Марфы. И Марфа бьет тревогу, перепуганная насмерть. Корреспондент просит счастливых южан-родственников: «Приискайте для нас и присылайте. Совсем нет муки, нет также макарон вовсе и картофельной муки». Это уже не письмо писателя, а вопль испуга перед грядущим: «Ежедневно варятся постные супы на грибах... Гильзы исчезли, верчу в бумажку, это очень неприятно... На посылки не жалей денег, лишь бы достать... Крупу лучше посылать мягкими посылками, не в ящичках...» — аккуратно, точно, обстоятельно. Все письмо (эпохи революции!) наполнено этим: в студенческие годы рядом с высчитыванием расходов шли новости театральные, учебные; здесь только одно. Где в этих письмах тонкий эстет, экстазный любитель прошлого, идеалист-мечтатель, верящий, что «в душе ключ всего»? Оказывается, вовсе не в душе...

...Не такое нынче время.
Чтобы няньчиться с тобой!
Потяжеле будет бремя
Нам, товарищ дорогой...

Эти письма тяжело и больно читать. Мы присутствуем при затянувшейся агонии «гершензоновской Москвы». Интеллигенция потерпела в эти дни поражение не только потому, что исторические пути шли против нее, но еще и потому, что она не умела и не хотела бороться, отстаивать даже свои идеалы; дальше «подачи голоса» за свой список в Учредительное собрание она и не пошла; и в дальнейшей борьбе на гражданских фронтах она была только беспомощным подголоском решительных правых и военных кругов... Антиобщественная, основательно забывшая дни гражданского своего под'ема в давние времена — прекрасные дни Аранжуэца! — равнодушная ко всем общественным идеалам («толстокожая»), антиисторическая, — серьезно считавшая душу отдельного человека «единственной реальной движущей силой истории», — она перед лицом великих событий оказалась растерянным, бессильным, на-смерть перепуганным обывателем.

...Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост...

А впереди ожидали новые невзгоды. Стоял Октябрь уж у двора...

VIII.

...Ты лети, буржуй, воробушком!..

Письма Гершензона об октябрьских днях представляют для нас крайний интерес именно потому, что это еще не «прошлое». Интересна позиция «гершензоновской Москвы» перед лицом этих дней. К сожалению, в сборнике имеется только два письма, носящих даты 20/XI и 11/XII—17 г. На них сборник и обрывается.

В этих двух письмах есть кое-что от политики, но и эти письма, конечно, не письма гражданина, «летописца» и современника великих событий... «Я не успел притти в себя от здешних событий... Ничего не могу делать, даже читать долго. Вчера подавал голос, да мало верю в продолжительность Учредительного собрания»...

...Протянут канат.
На канате — плакат:
«Вся власть Учредительному собранию»...

...«Скорее всего не то, что разгонят его, а просто оно внутренно разорвется, потому что в нем будут преобладать кадеты и большевики, у которых нет общего языка, а середина, т. е. с.-р. и пр., будут тонкой пленочкой, которая не выдержит растяжения в две противоположные стороны».

...А это кто? — Длинные волосы
И говорит вполголоса...
Должно быть, писатель —
Вития!..

И от высокой политики сейчас же переходит к быту, к житейскому ню: «все как-то сжалось, не решаются ходить вечером»...

...Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!!
...Запирайте етажи,
Нынче будут грабежи!..

«...Гости, вместо вечера, приходят в 3—4 ч. и сидят до 7—8. И когда риходят гости, подается самовар, чай, сахар наколот мелкими кусочками, тобы пить в прикуску, и больше ничего не подается, так-таки ничего, даже ерного хлеба, потому что и его нам едва хватает: выдают по ½ фун. на еловека. Мы питаемся, впрочем, ничего себе, только я, любитель хлеба, ɜсь день голоден».

Вообще письма этого периода — больше письма хозяйственника, чем исателя (может быть, и потому еще, что они написаны к родственникам). казывается, хозяйство теперь «дело трудное, чистая головоломка. Шестов элучил из Харькова два хлеба — дал нам один, и мы несколько дней ели волю; а хлеб этот был базарный, и, конечно, не свежий, — в былое время ы брезгали бы, а теперь лакомились им, как пирожным. Вместо яиц — яичый порошок... Почти нельзя достать керосина... Кусок марсельского мыла ія рук — полтора рубля, и все в этом роде».

Вот именно, все «в этом роде».

И в письме от 11/XII—17 г., сообщая о закрытии 12 газет (в том ісле и «Русских ведомостей») и о политических слухах, он пишет, что ɜрит только тому, что «мы на-днях останемся без хлеба». Это самое главɜе. «С завистью слушаем, что в Киеве хлеба едят сколько хочешь... Я все юхо сплю. Телефон не действует — да и мало ли еще трудностей; все іешнее теперь трудно». (Но ведь «в душе — ключ всего!» — снова мог бы итатель напомнить автору, если б у него хватило смелости шутить о веɜвке в доме повешенного!)

И голод, и «общее положение волнует, трудно заниматься. Я читаю, 'маю, курю, думаю о вас, о Саше, о мамаше»... — как в предыдущем ісьме: «Ничего не могу делать, даже читать долго». И последняя заключиɜльная фраза: «Даже толстокожих проняло, редко кто может работать». а этом книга закрывается.

А ведь юношей — 20—30 лет назад — он мог работать, когда раздаваісь первые аккорды этой революционной симфонии. И мог работать «над іадаевым» в 1905 г., когда эти аккорды зазвучали грозным предостереɐнием для «расстроенных нервов»...

Пальнем-ка пулей в святую Русь —
В кондовую,
В избяную,
В толстозадую!

И пальнули. Пальнули и в «толстокожих», которыми так возмущается ıензон. Но от невозможности спокойно работать до осознания истори-ого смысла событий — еще большой шаг.

IX.

Письма Гершензона, собственно, кончились. Если бы читатель заинте-вался дальнейшей судьбой героя этих писем и вообще героев этой :квы», то можно представить ему и эпилог романа — того скромного ıенного романа, который проходил перед читателем книги со студен-ой скамьи героя до самых октябрьских событий.

Что стало со всей этой «веховской» Москвой? Главные ее герои про-ıют «на том берегу», и имена их читатель часто может встретить в за-жных газетах, — вплоть до самых правых («Возрождение» Струве). Дру-эстались, вошли в жизнь, взялись снова за прерванную было работу и : опять от злосчастной «крупы» вернулись к идеализму — религии к юных лет, однако, надо заметить, с большой трещиной. Иные же идеализм и религиозный мистицизм умудрились согласовать с современ-й общественностью (Вяч. Иванов).

«Работы Гершензона, увидевшие свет в последние — революционные — цы, посвящены, главным образом, выражению его отвлеченных философ-ıх взглядов, непосредственно к вопросам животрепещущей обществен-сти как будто не имеющих отношения: писатель, как мы видим, собрав-:сь с духовными силами после временной растерянности, остался верен бе. Заголовки работ сами за себя говорят: «Тройственный образ совер-нства» (1918 г.), «Видение поэта» (1920 г.), «Ключ веры» (1922 г.), ольфстрем» (1922 г.). Эпилогом к «Письмам к брату», мне кажется, ıяются изданные еще самим писателем (в 1921 г.) тоже письма — письма цругу и былому единомышленнику, Вяч. Иванову. Я говорю о «Переписке двух углов».

Чудаки, конечно, — специфические русские интеллигенты, идеалисты сокой марки, — сидят они оба, Иванов и Гершензон, летом голодного 20 г. в здравнице московской «для работников науки и литературы», оем в одной комнате и переписываются друг с другом. Эта переписка, ıечно, носит совсем иной характер, чем «Письма к брату»: не домашний, :мейный», житейский, а исключительно идеологический, и тем любопытнее ı для нас.

Каков же круг интересов этих двух писателей, живущих в атмосфере ıгара гражданской войны в революционной Москве? Неужели события ни-ıу их не научили?

Позицию свою Вяч. Иванов характеризует, как «мистицизм», — но :диненный с «соборностью» (т. е. опять-таки старый излюбленный конек стического символизма); он «приемлет всю историю», и он против ухода культуры, против «опрощения», видит в нем «измену, забвение, бегство, кцию трусливую и усталую». Мировоззрение Гершензона он квалифици-

рует как «анархический утопизм и культурный нигилизм». Как же конкретнее проявляются эти оба мировоззрения?

С самого начала переписки Вяч. Иванов весьма огорчен тем метафи- ıческим обстоятельством, что его друг Гершензон «усомнился в личном :ссмертии и в личном боге» (мы уже знаем, как этого рода вопросы Тол- ой раздраженно об'явил «жалким суеверием» еще в 1909 г., в периоде }ех»). «Тоска по боге» оказывается здесь более реальной, чем одна симво- ıка (хотя Иванов и привык бродить «в лесу символов»). Гершензон, однако, дя по его ответу, вовсе «не усомнился в личном бессмертии» и по- ежнему считает «личность вместилищем подлинной реальности», но об их вещах «не надо ни говорить, ни думать (!)»: он вообще не любит и не ıчет «возноситься мыслью на высоты метафизики» — так он уверяет своего рреспондента, хотя в этом и дозволено будет читателю сомневаться, — зноситься в «запредельные умозрения», в «это заоблачное зодчество, ко- рому так усердно предаются столь многие в нашем кругу». Оказывается, ли верить Гершензону, — а не верить ему, знатоку своей «гершензонов- ой» Москвы нельзя, — и в 1920 году, в революционной Москве, после всех редряг и всего крушения «старого мира, как пес, безродного», потомки ıреевских, славянофилов, гоголевской «Переписки», Соловьева, современ- ıки Бердяева и Булгакова продолжали, как ни в чем не бывало, «усердно едаваться все тому же старому, молью из'еденному, занятию «запредель- ıго умозрения» и «заоблачного зодчества».

А это кто? — Длинные волосы
И говорит вполголоса...

Неисправимые чудаки...

Гершензон переживает более серьезную ломку и философских на- эоений, и мироотношения. Определившееся в «Вехах» его отрицательное ношение к интеллигенции известного порядка, к культуре русской извест- го типа (общественно-политической), сейчас перешло под влиянием, оче- дно, событий — в отрицание всякой культуры вообще, всего мира куль- рного творчества — и тоже, конечно, с точки зрения интересов лич-) сти, как единственного вместилища «подлинной реальности». Сейчас, сле событий 1917—1918 гг., в нем происходит такая же мучительная «про- эка», ревизия, какая была после 1905 г. и нашла свое выражение в «Ве- х» — только горизонты проверки шире, в «мировом масштабе», можно ıзать: ему сейчас «тягостны, как досадное бремя, как слишком тяжелая душная одежда, — все умственные достояния человечества, все накоплен- е веками и закрепленное богатством постижений, знаний и ценностей».

Это красноречивое восстание против культуры, бунт против «разума» точки зрения личности), суд над культурой, а в сущности, реакция на ее орванность от реальной жизни, на ее утонченность, на ее накипь метафи- ческую, на ее «заоблачность», которую ей придали люди гершензонов- ого склада мыслей. В сущности, это бунт против философского идеализма индивидуализма, если углубить вопрос, но Гершензон его не углубляет и

ерживает на грани «анархического утопизма» — в этом совершенно прав Иванов.

Но это потому, что Гершензон в своем культурном нигилизме ходит не столько из предпосылок логики и стройного научного мышления, сколько из психологических настроений, сближающих его отрицание культуры с рационалистическим отрицанием Руссо, Толстого. Банкротство современного ему мировоззрения, «кризис современной культуры» которой он читал еще лекции в самом начале революции) он импрессионистически по-шпенглеровски обобщил, как банкротство вообще всей культуры, полный мрачных предчувствий и пессимизма, социальную основу которых он и не пытается вскрыть. Строки его писем — вопль обанкротившегося индивидуализма известного общественного класса на историческом перекрестке —

И буржуй на перекрестке
В воротник упрятал нос...

индивидуализма, в свое время вызвавшего к жизни в литературе Метерлинка, символистов, Ибсена и — с другой стороны — Гамсуна с его «Паном», как бегство от культуры, толстовский бунт против культуры.

Какое бы «счастье», — мечтает Гершензон, чтобы бесследно смылась с души «память о всех религиях и философских системах, обо всех знаниях, искусствах, поэзии — и выйти на берег нагим, как первый человек, легким и радостным». Откуда такие настроения? Может быть, оттого, — предполагает сам автор, — что революция «изорвала» эти красивые и удобные одежды, они «повисли клочьями», и хочется «вовсе отбросить их прочь»?

Письма Гершензона к Иванову — перепевы одного мотива: «Я не сужу культуры, я только свидетельствую: мне душно в ней», но, по существу, это суд над культурой, в его миропонимании, — суд, который в глазах читателя становится судом над самим носителем этой, столь отвергаемой несправедливо культуры. «Я знаю слишком много, и этот груз меня тяготит». «Несметные знания» опутали его «миллионами неразрываемых нитей». И на что они мне?» «Я отдал бы все знания и мысли, вычитанные мною из книг, за радость самому лично познать из опыта хоть одно первоначальное, простейшее знание, свежее как летнее утро».

Это крик гипертрофированного интеллигента, на которого «культурное наследие давит тяжестью 60 атмосфер и больше», и он не знает, куда его девать, как изжить, во что реальное и ценное претворить. Точка приложения этих культурных богатств извне отсутствует; культура становится самодовлеющей, an und für sich, брандовское устроение личности ради самого устроения, но, лишенная цели вовне, она становится бесцельной, бессодержательной, лишенной смысла.

Эту бессодержательность ясно ощущает Гершензон в своей тоске по первобытной цельности, в своем бегстве от культуры, но осмыслить явление он не пытается, оставаясь на почве антиобщественного идеализма и все того же бессодержательного апофеоза личности и «революции» во имя ее.

:хема этой революции у Гершензона такова: «Лютерово христианство, еспублика и социализм — только полдела; нужно, чтобы личное стало опять онца личным. Исходная точка, к которой все должно вернуться — ость».

В душевном кризисе Гершензона значительную роль играют не-іенно и личные психологические моменты, и Вяч. Иванов прав, приписы-:го taedium vitae, его жизненную тоску и «отчаяние» отчасти его «неуто-ому голоду жизни». Гершензон со школьных лет, как мы видели, тип ртрофированного интеллигента, «книжника», аскета. Он с грустью отме-когда-то, студентом, что из-за Дузэ не дочитал определенных, поло-ных им самим себе страниц книги. Юношей он лишен был радостей при-, беспечности, всего, чем богато это золотое время человеческой жизни. «книги», один духовный восторг, полное торжество «иудаического» ла над «эллинистическим». За 50 лет мозговой жизни — с финальной строфой всего этого жизненного уклада, всех привычных культурных ев — он пресытился культурой. «Хочу свободы сознания и исканий, первоначальной свежести духа», — страстный вопль исходит от этих их страниц философской переписки. «Воля во мне с тоскою отвращается ультуры. Тогда мне не надо железных дорог и международной политики, утся мне пустыми распри систем и споры друзей о трансцендентном и ненентном боге»... «Уже много лет настойчиво и неумолчно звучит мне ый голос: не то, не то!»

«Я живу, подобно чужеземцу, освоившемуся в чужой стране; любим мцами, и сам их люблю, ревностно тружусь для их блага... но знаю себя ім, тайно грущу о полях моей родины, о ее иной весне, о запахе ее цве-и говоре ее женщин. Где моя родина? Я не увижу ее, умру на чужбине»...

Эта родина — вне мира культуры. «Хочется в луга и леса». Он вспо-ет далекий — «много лет назад» — тенистый родник в лесу под Кун-м, из которого он пил ковшиком в жаркий летний день.

Банкротство в общественной жизни, банкротство в личной, душевная двоенность», которую автор писем сознает в себе, тупик идейный от-ия и полной безнадежности, из которой исхода нет или же есть один — я-то «будущая родина» трансцендентная, «обитель в доме Отца», где инятся и примирятся все спорящие — те, кто на земле сидит «упрямо ый в своем углу и спорит из-за культуры» — таковы грустные итоги шензоновской Москвы», таково печальное завершение беспечальных, ейных» «Писем к брату».

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Илья Сельвинский. Записки поэта. Повесть. Гиз. М. 1928 г. Стр. 94. Со вкладным листом. Ц. 1 р. 25 к.

Повесть И. Сельвинского изложена в форме, имеющей достаточно давнюю традицию и в нашей литературе, не говоря уже о литературе западно-европейской. а излагает историю вымышленного сателя в его автобиографии, издаьских комментариях и образцах творства самого фиктивного автора. Вместе тем эта повесть по выполнению, как по заданию, существенно отличается своих предшественников того же нра.

Для романтиков, особенно культививавших этот род повествования, прием мышленного авторства служил или средом привлечения читательского внимания тор придумывался экзотический), или скировкой, применяемой в целях самоіранения. Меримэ дал примеры на оба случая: свои упражнения в стилиза под югославскую поэзию он приписал мышленному Иакинфу Магдановичу, а рник антиклерикальных пьес укрыл енем столь же воображаемой испанки — ары Газуль.

Пушкин закрыл именем Белкина авторо своих прозаических новелл, в успехе орых сомневался и уже потом присоил самую биографию изобретенного ора. В позднейшее время мы знаем такие имеры, как жизнеописание, предпонное собранию сочинений Кузьмы Прута, мистификаторскую попытку Волона (Черубина де-Габриак) и опыт в том роде Л. Никулина (Анжелика Сафьяа).

Во всех приведенных примерах, кроме чая Кузьмы Пруткова, биография бретенного автора занимает весьма скромное место. Задачей ее является заинтриговать читателя и оправдать те или иные особенности изложения беллетристики, ему приписанной. Биография Белкина выросла в самостоятельное произведение, «История села Горюхина» органически с повестями не связана, и автором их может почитаться в полной справедливости А. С. Пушкин.

Сельвинский переместил композиционный упор с продукции на биографию своего героя. Жизнеописание Евгения Нея занимает большую часть книги, а лирика этого «безвременно погибшего» юноши едва насчитывает двадцать названий, служа посильной иллюстрацией его идеологическим мытарствам.

Сельвинский захотел на конкретном примере молодого литератора разобраться в психике одного из тех молодых людей, которых он в другом месте называет «переходниками». Это люди, родившиеся в буржуазной среде, но созревающие уже в социальной обстановке, эту среду ликвидировавшей. Деклассированность их Сельвинскому представляется явлением совершенно особого рода (нет балласта прошлого благополучия), а изживание ее является основной формой процесса их жизненного развития.

Четко и подробно описано Сельвинским исходное положение исканий его героя, живо (не без современного романтизма и преувеличения) набросана характеристика литературного кафэ недавней памяти и современные литературные споры писательских кружков. Автор оставляет своего героя в ту минуту, когда он готов стать на путь конструктивизма (очевидно, призванного спасти это мятущееся сознание из противоречивого хаоса неприкаянных чувств), а из дальнейшего мы узнаем о преждевременной смерти Евгения Нея.

Сравнив это произведения с «Улялаевщиной», мы видим сродство тем. Разницей изложения является то, что в первой поэме ıцесс упорядочения и организации, вязанной революцией крестьянской хии, описан до конца. Декрет о продıоге является поворотным пунктом ıана и конструктивной осью, вокруг орой начинается строительство советго космоса в деревне. Проповедничее формулировки конструктивистов, ızведя в сознании Нея соответственное ınаправляющее смятение, тем и исчерıают свое действие. Сельвинский причивает своего героя на самом интерес; месте. Это говорит не в пользу его жденности в правоте конструктивизма, в защиту реализма повествования — структивизм еще недостаточно проен опытом, результатов воздействия повествователь еще не успел наблюсти, ıдумывать не захотел.

прочем, сомнительно, чтобы настания членов кружка, куда Ней приведен ıми поисками истины, могли бы сразу светить его сознание: расплывчатые ззвилистые формулы о необходимости ъ в лад с эпохой, найти центральную ку организации системы творчества, ги скрытую причину современных феноов социального бытия и прочее (стр. -41) могут служить толчком, а не сением. От самого решения и честного ıзнесения хорошо знакомых формул: ıальная революция, диалектический эриализм, диктатура пролетариата, наıники Нея стыдливо воздерживаются, ıу самому они не приходят в голову. н и его друзья, очевидно, претендуют открытие своей собственной деклассованно-интеллигентской философии ıени. Увы! Америки этого рода многогно открывались, и ничего утешитель) в себе не содержат.

аково содержание и характер стихоıной повести Сельвинского. Уже то 'оятельство, что приходится говорить о поэтическом произведении, показы' новизну его жанра. Сельвинский провосстановить поэзию в ее давних зах искусства больших форм. Вторая попытка, как видим, оперирует с матеıом меньшего социального значения, «Улялаевщина», но построена из личных, острых, прочувствованных и продуманных наблюдений. В истории пореволюционной интеллигенции она явится одним из любопытнейших литературных документов, а в истории развития поэтических форм нашей словесности займет место и будет служить датой.

Что касается до поэтического образа самого Нея и его творческих достижений — они настолько любопытны, что о них следует сказать особо.

Сельвинский характеризует своего героя как провинциального эрудита, углубленного в вопросы технической виртуозности стиха. В соответствии с этим даны примеры его лирических опытов, где Ней, испытывая многие влияния от Пастернака и Асеева до самого Сельвинского включительно, пытается создать нечто оригинальное. Не успев в данной области и признав, что рядовая техника столичных стихотворцев далеко впереди его кустарного изобретательства, он решительно открывает Америку равноударного стиха, правила сложения которого излагаются в начале книжки.

Сделано это настолько серьезно, что кое-кого может ввести в заблуждение: как никак, а две трети книги написаны «открытым» Неем «пятиударным стихом». Такой факт обладает убедительностью, достаточной, чтобы оборвать вопрос довольно естественного свойства: что, если это проза?

Стихом Ней объявляет строчку, имеющую пять ударений, при условии, что все остальные строчки имеют столько же ударений. По существу против такого количественного построения стиха ничего не возразишь, однако для его действительности нужно соблюдение некоторых дополнительных условий.

Концы стихов должны быть чем-нибудь отмечены конструктивно. Отметки эти должны делаться материалом самого стиха. Иначе говоря, концы строчек должны быть обозначены либо созвучиями любого рода, либо синтаксической остановкой. Этого Евгений Ней не принимает во внимание. Его строчки даже не ассонированы, и предложение, начатое в одном стихе, сплошь да рядом заканчивается в следующем или даже в следующих. При таком условии стих его имеет чисто типограф-

ское происхождение, и любой прозаический отрывок может быть напечатан в форме его «пятиударного стиха».

Беру для примера абзац, напечатанный жирным шрифтом в статье: «О переростках и комсомоле» («Правда» 27/I—27 г., стр. 6, кол. 4, абз. 8):

Перед комсомолом должно быть поставлено условие —
Не выпускать из своих рядов ни одного переростка
До тех пор, пока он, будучи в рядах,
Не получив достаточных знаний и достаточного навыка
В общественной работе, не закрепился на общественной работе,
Не стал «новым человеком» — активным участником
Социалистического строительства...

и сравниваю с таким отрывком из «Записок поэта» (стр. 51):

Лично ко мне Евгений относился с уважением,
Граничащим с подобострастьем. Мой опыт и стаж,
Мое остроумие, техническая виртуозность,
Все это было для Жени и его поэзии
Чуть не бедекером, не говоря уж о том,
Что он просил меня попросту исправлять
Неловкость его фраз или блеклость рифмы.

Верный своему принципу строить элементы поэмы из материала, принадлежащего изображаемой среде (локальный принцип) — Сельвинский осуществляет свою авторскую иронию над исканиями Нея в форме версификационной. Опасность данного случая для автора в том, что автору могут поставить в вину грехи героя. Впрочем, это часто бывает с прозаиками, и поэту, вступившему на путь конкуренции с прозой, не следует бояться таких последствий.

И. А. Аксенов.

Георгий Никифоров. Собрание сочинений. С портретом автора и критико-биографическим очерком А. Зонина. Т. I. У фонаря. Роман. Зиф. Москва 1927. Стр. 358. Тир. 6 000. Ц. 3 р. 20 к. Т. III. Седые дни. Стр. 286. Тир. 7 000. Ц. 2 р. 35 к. Тридцать три оказии. Повесть. Гиз. «Библиотека молодежи». М.—Л. 1927. Стр. 464. Ц. 1 р. 70 к.

Никифоров — рабочий писатель, сравнительно недавно пришедший в литературу. Сам о себе он пишет, что «всерьез» он начал писать и печататься с 1923 года. И в том, что он пришел в литературу, пройдя значительный трудовой и революционный стаж, много изведав в скитаниях по заводам и железнодорожным мастерским Центральной России, Урала и Сибири и в подпольи, кроется объяснение той жизненности, простоты и ясности, которыми были отмечены его первые литературные выступления. Его рост в сторону формальных достижений и углубления психологического анализа неуклонно продолжался на протяжении всего пятилетнего этапа литературной работы, и выпускаемое Зифом собрание его сочинений является, таким образом, итоговым просмотром его творчества за последние пять лет. При всем разнообразии сюжетов и героев в произведениях Никифорова властно и отчетливо звучит одна основная тема: упорная и ожесточенная борьба старого и нового мира, борьба труда и капитала во всех ее проявлениях: то открытый бой с оружием в руках (революционные повести «Седые дни» и «Тридцать три оказии»), то ухищрения и попытки побежденного капитала в мирной обстановке обманными путями, соблазнами («Или-или», «Сильнее всего»), предательством и разрушительной работой из-за угла («У фонаря») вернуть утраченные позиции. С особенной силой и убедительностью развита эта тема в романе «У фонаря». В нем в боевой обстановке лихорадочной работы по восстановлению и поднятию разрушенного промышленного хозяйства сталкиваются две враждебных силы: строители новой жизни, упрямые и твердые в преодолении путей, преград и опасностей, хозяйственники Цепилов, Котельников, Голандин и сознательные и стихийные разрушители их работы, хищники — примазавшийся коммунист директор Чувякин, инженер Славин, трусливые и злобные враги — управдел Инякин, артельщик Чесов и целый ряд их приспешников, подрядчиков, десятников и др. И между этими двумя лагерями — переживающий сложную и мучительную драму душевной раздвоенности и постепенно побеждающий в себе враждебное чувство к революции (или, вернее, побежденный ее стихийною мощью) интеллигент Рамзаев-Аносов. Бывший помещик

Вячеслав Аносов спасается бегством во время разгрома его усадьбы восставшими ··рестьянами. Захватив случайно с собою ;спорт убитого восставшими лакея Дени- Рамзаева, Аносов принимает решение ·обраться под его именем в стан своих агов — большевиков, разрушивших двонские гнезда и сделавших его бесприютим бродягой. Он решает вести разлагаю-/ю работу и подрывать советское строильство. Вскоре Рамзаев-Аносов как ртиец крестьянского происхождения и ергичный способный работник получил ступ к ответственной работе в высших зяйственных органах, ведающих восстановлением промышленности. Первая часть осовской программы оказывается выполнной. Но на пути к ее дальнейшему полнению становится ряд новых услой и обстоятельств «бытия» Рамзаева, :орне изменивших его «сознание». Серьезя и глубокая любовь к коммунистке іне Голандиной и ряд встреченных им на боте искренних и преданных делу людей епилов, Котельников, Голандин) в сравнии с примазавшимися, подобно ему, агами, растратчиками и злобными шепнами Инякиным, Чесовым, Чувякиным другими, — заставили его иными глаи посмотреть на путь, пройденный прогариатом, проникнуться уважением их творчеству, достижениям и почувювать уважение к самому себе. Он крывает свое прошлое сначала любимой зушке, а затем партийному суду. Его звидная искренность и преданность делу, торому он стал служить не за страх, а совесть, способствуют его оправданию. онарем», осветившим жизненный путь мзаева-Аносова и показавшим ему истинном свете классовую борьбу и ее іачи, была партия и участие через пар-о в хозяйственном строительстве победшего класса.

Роман «У фонаря» завершает собой знаельный этап в творчестве Георгия Никиювa, отмеченный долгой и упорной исдовательской работой. Если Гладков Цементе» задался целью показать, как янный единой волей коллектив творит ю возвращения к жизни мертвого и ложившегося завода, то Никифоров обросовестностью и точностью анатома рывает и показывает, как тот же коллектив перерождает и «перестраивает» душу ожесточенного врага пролетариата, заражает его энергией строительства и убеждает его не только в целесообразности, но и в неизбежности социального переустройства. Таким образом в романе «У фонаря» мы видим дальнейшее развитие основной темы творчества Никифорова: в нем изображена не только борьба труда и капитала, процесс борьбы, но и огромное победное достижение в этой борьбе, и притом победа не временная, под давлением насилия, а прочная победа, закрепленная перевоспитанием, перерождением личности. Заслуживает быть особо отмеченным чрезвычайно удачно использованный автором в романе прием освещения своих героев «изнутри», показа его интимных переживаний и затаенных мыслей. Аносов пишет ряд неотправленных им писем сестре, живущей в эмиграции, Чесов ведет дневник, прекрасным дополнением к портретным данным Инякина служат его письма «к мамаше». Язык Никифорова — яркий, меткий, выразительный — в романе «У фонаря» приобретает местами особо напряженную четкость, в особенности в портретах и характеристиках действующих лиц.

Юношеские повести «Седые дни» и «Тридцать три оказии» построены на переживаниях подростка (Андрейки в «Седых днях» и Алеши Плотицына в «Тридцати трех оказиях»), брошенного в водоворот революционной борьбы. Андрейка участвует вместе с братом, молодым слесарем Антоном, в московском восстании 1905 года, он несет разведочную службу в подполье и во время уличных боев на баррикадах. Алешка Плотицын, бежавший от жестокого отца и случайно попавший в революционную среду, также оказывается необходимым винтиком механизма подполья и проходит через подполье, фронт и революцию 1917 года суровую школу бойца-революционера. Обе повести написаны в бодрых, жизнерадостных, увлекающих непосредственностью переживаний тонах, омраченных лишь в финальной части «Седых дней» впечатлениями разгрома московского восстания. В повести «Седые дни» дан сгущенный, всецело поглощенный интересами подполья и тревогами нарастающих боев революционный материал,

«Тридцать три оказии», помимо основного пронизывающего повесть настороженного и обостренного интереса к приближающейся и развертывающейся революционной борьбе, дают богатый бытовой материал. Живы, рельефны и сочны образы грузчиков и артельной служаньки Мавры, интересны и привлекательны, хотя и несколько эскизно набросаны, фигуры клоуна Якова Ивановича (Кимбы) и подпольщиков Жихаря, Савелья и Авдеича. Авантюрный элемент повести — в борьбе группы подпольщиков с ухищрениями полицейского сыщика «Мухи». Революционная романтика, привлекающая юного читателя, представлена в обоих повестях Никифорова чрезвычайно умело и увлекательно, без лубка и пинкертоновщины, уснащающих большинство революционной литературы для юношества.

В том III помимо повести «Седые дни» ряда небольших рассказов вошла известная по предыдущим изданиям повесть Плесень» («Мзгла») о либеральном интеллигенте-купчике Люлякине, быстро поускневшем при первом столкновении полицейской действительностью и предавшем все свои студенческие мечтания за чечевичную похлебку сытого и спокойного обывательского прозябания.

Изданы книжки Зифом с показательной ля нового для наших издательств курса цательностью. Удачны и умело выполнены обложки работы художника Алексея равченко.

Ал. Вайсброд.

Леонид Завадовский. Железный круг. Повести и рассказы. Изд. «Недра». 928 г. Стр. 224. Тир. 5 000 экз. Ц. 1 р. к.

«Железный круг» — третья книга рассказов и повестей Л. Завадовского («Вражда» и «Песнь седого волка» вышли также издательстве «Недра»). Писатель еще осознал специфичности своего дарования, берется за темы, для развертывания которых нехватает знания жизни уменья (повесть «В зеленых кварталах»), выработал сочный язык, с успехом прошел курс мастерства композиции. збрал Завадовский и любимого героя — человека, близкого к жизни природы, жестокого и бесстрашного, как волк. Его сангвинический темперамент с трудом поддается узде разума, он часто не в состоянии сдержать велений своих инстинктов. Заточение в лесной глуши поддерживает примат подсознательного начала, прекрасно мотивирует поведение героев — обычно лесничих, страстных охотников.

Но Завадовский пытается привить мощь инстинктов не только людям, связанным условиями профессии с природой. В повести «В зеленых кварталах» он заставляет интеллигента — бывшего банковского служащего — принципиально голосовать за физический труд. «Пока работаешь (физически. **В. К.**) — чувствуешь себя великолепно. Устал — отдохнешь, проголодался — поешь, все просто, определенно — а тут опять ерунда всякая в голову лезет. Все равно ведь не додумаешься ни до смысла, ни до бессмыслия». Последней фразой («не додумаешься ни до смысла, ни до бессмыслия») банковский чиновник подкапывается под авторитет человеческой мысли, отказывается найти в истории культуры равно «как смысл, так и бессмыслие». Мысль не новая, повторяющая «суету сует» Екклезиаста, проповедь о возвращении человека на лоно природы Жан-Жака Руссо. У Завадовского есть мотивировка разработки темы, давность которой исчисляется тысячелетиями — быт годов военного коммунизма принуждал интеллигенцию опрощаться, заставлял невольно размышлять по вопросу о необходимости совместительства умственного труда с работой на земле (в огородах, главным образом). Но то, что большинство интеллигентов считало тяжелой обузой, герой Завадовского принял, как вход в рай. Почему — неизвестно, банковский чиновник изображен слишком обычным совслужащим, для того чтобы сделаться учеником Руссо и Толстого.

Лучшая вещь в сборнике — «Железный круг», рассказ о жизни волков, о непреложном законе размножения в природе. Писатель великолепно передал стихию «весенних» инстинктов животных.

Виктор Красильников.

Д. Крутиков. Черная половина. Роман. Изд. «Недра». 1928 г. 'р. 164. Тир. 5 000 экз. Ц. 1 р. 25 к.

«Черная половина — это старое, и свет-я — молодое, что выросло за эти восемь т. Комсомол, даже та тяга к суперфос-ту, о которой ты говорил», — так фор-лирует свои деревенские впечатления ıхон Малютин, вузовец, главный герой мана, будущее светило советской науки. ажданская война отбросила его от зяйственных забот на фронт, партия учила при демобилизации командировку рабфак, и он вступает в роман студентом дицинского факультета, с трудом выры-ющим неделю из бюджета летних кани-л для свидания с больным отцом. Семья ілютиных как раз такова, что парал-ли «черной и светлой половины» в ее драх напрашиваются сами собой: отец — ижник, пропитанный с ног до головы ященными словами, фарисей по натуре, ·и — добровольцы в Красную армию, ены партии. Характерное для родной ıьи противопоставление старших млад-м ощущается Тихоном в жизни каждой ы — «среда заедает» (жалуется секре-ь комсомольской ячейки. **В. К.**), парень собрание, а отец в ругань». Когда же ıется комсомольцу получить команди-зку на рабфак и расстаться с деревней, то разлука — навсегда, «вырастут они, 'чатся и уж в село ни ногой».

Крутиков воздерживается от предска-ий судьбы своего героя. Правда, Ти-ı — надежда московского универси-а, но он в состоянии побороть свои емления к славе ради славы, отличить ·чение к красивой пустой студентке от тоящего глубокого чувства к крестьян-й женщине. Хотя в деревню он, пожа-ł (в буквальном смысле слова), не вер-ся, двигать науку он будет прежде го на пользу той самой Чалмышни, движенцем которой сам является. Кру-ов нашел в современной студенческой де не героев «Любви с черемухой», інущуюся к учебе молодежь, достойную ну поколению старых общественных отников, и в этом достоинство его ıана.

'оман хорошо задуман и стройно орга-ован. Лирический (гамсуновский) авторский сказ, свежие описания природы, деревни чередуются с действенными диалогами героев. Образы их сделаны отчетливо, за исключением брата Тихона Якова; его портрет нуждается в дополнительных штрихах.

Виктор Красильников.

Б. Лекаш. Польша без маски. Перевод Е. Берлович под ред. и с предисловием Р. Арского. Изд. «Прибой». Л. 1928. Стр. 146. Ц. 50 коп.

В августе 1926 г. французский журналист Бернар Лекаш (о книжке которого «Когда Израиль умирает» мы дали отзыв в № 3 нашего журнала) проездом в СССР побывал в Варшаве, Вильне и аннексированной части Белоруссии. В настоящей брошюре он делится своими впечатлениями о новой Польше, добившейся самостоятельного политического бытия. Картина получается удручающая.

Правда, в Польше существует конституция, содержащая даже 125 статей, но там нет никаких свобод: ни свободы печати, ни свободы совести, ни свободы собраний. «Остались одни жандармы, цензора и палачи». Правительство бесцеремонно нарушает существующие законы. Как говорит Лекаш, «нелегальность стала в Польше хартией власти». Фактически в Польше действует фашистский режим. Но в Варшаве этот фашизм носит маску. Главой же фашизма, по словам этого наблюдателя, является никто иной, как сам «маршал» Пилсудский.

Неудивительно, что после армии полиция является самым многочисленным институтом режима. Характерно, что в бюджете на 1925 год на полицию предназначено 189 млн. злотых, а на министерство труда и социального обеспечения всего 18 млн., т. е. в 10 раз меньше. Эта полиция, пестуемая современным режимом, установила в стране неслыханную провокацию, с помощью так называемых «доверенных», которые в значительном числе вербуются из петлюровцев. Эти «доверенные» сочиняют заговоры, создают массовые протесты, и по их слову судьи приговаривают подсудимых к долголетней каторге. Замеча-

тельно, что в Польше сохранились суды по старым царским и германским законам, и на основании тех самых статей, по которым в свое время царизмом приговаривались Пилсудский и его сотоварищи, ныне эта братия, добравшись до власти, закатывает своих врагов, главным образом коммунистов, рабочих и крестьян. В стране царят пытки (особенно популярны пытки электрическим током), полиция по малейшему поводу стреляет по толпе, войска сжигают целые деревни, против безработных употребляются удушливые газы, выносятся каторжные приговоры. Все это называется новой свободной Польшей. Характерно, что в 1925/26 г. полиция стреляла в безработных 65 раз. В профсоюзах два года назад насчитывалось 680 000 членов, теперь осталось всего 130 000, и недаром Лекаш ехидно замечает, что в Польше профсоюзы можно найти только в тюрьмах. Заключенных приходится два на 1 000, т. е. в несколько раз больше, чем в других странах. А каковы условия сидения в польских тюрьмах, видно из многочисленных тюремных бунтов, голодовок, сопровождающихся стрельбой, насильственным кормлением и другими репрессиями.

Наряду с полицейским террором — царит террор клерикальный. «Действительный господин здесь, — говорит Лекаш,— это священник». Религиозное изуверство в стране сильнее, чем при царизме. Достаточно привести такой показательный факт: одного священника из диссидентской секты на суде обвиняли, между прочим, в том, что он не верит в сатану. Немудрено, что оставшиеся в Польше немногочисленные свободомыслящие находят, что современный режим вернул Польшу к худшим временам средневековья. В стране царит отвратительнейший антисемитизм. Фактически до сего времени в Польше существует для евреев процентная норма! Этого даже царизм стыдился, но бравые пилсудчики стыда не имут.

Все эти безобразия оправдываются необходимостью борьбы с коммунизмом. Красный призрак давит кошмаром владык современной Польши и толкает их на политику, которая обязательно погубит их. Достаточно напомнить процесс Белорусской Громады. С пришествием к власти Пилсудского все эти безобразия не только не прекратились, но, напротив, дошли до апогея.

Книжка Лекаша, разоблачающая оборотную сторону польского независимого государства, панской Польши, заслуживает широкого распространения. Это — не серьезное исследование, а ряд живых очерков газетного характера, написанных в ярких и увлекательных тонах, присущих французской журналистике. Она не может заменить серьезного исследования современной Польши, но общее представление о ее характере она все же дает.

Ю. С.

Мурановский сборник. Вып. I. Издание музея имени Ф. И. Тютчева в Муранове. М. 1928. Стр. 126. Ц. 1 р. 75 к.

Давший немало материалов для изучения Тютчева и Боратынского помещичий архив подмосковного сельца Муранова, где ныне учрежден музей-усадьба имени Ф. И. Тютчева, еще не совсем исчерпан. Неопубликованных материалов крупного значения в нем нет, но еще найдется кое-что интересное. Об этом можно судить по лежащему перед нами небольшому сборнику. Здесь мы находим несколько малоизвестных или вовсе не известных стихотворений Тютчева, несколько его писем, пару эпиграмм Соболевского, впрочем неудачных, малозначащее письмецо Боратынского, письмо Герцена, письмо Огарева и еще кое-какие мелочи. Самое ценное — извлечения из переписки Тютчева с И. С. Аксаковым о цензурных делах (60-х гг.) и письма Тютчева к кн. П. А. Вяземскому (40—50-х гг.). Любопытны по взаимным отношениям западников и славянофилов письма Герцена и Огарева к И. С. Аксакову.

Совсем не новость — уже бывшая в печати эпиграмма Соболевского на Греча, Шевырева и гр. Ростопчину (см. «Русский библиофил» 1915 г., № 7, стр. 18, и № 8, стр. 91). В комментарии тоже есть ошибки. Вяземский и Тютчев были вовсе не последними поэтами пушкинской поры: их пережили Ф. Глинка и Подолинский. Французская шуточная вывеска (стр. 105) переведена не особенно точно и грамотно.

У Тютчева был не «один перевод из Ламартина» (стр. 42): отрывок «Байрон», два раза напечатанный («Русский современ-› 1924, № 1, и «Новые стихотворения» чева, Лгр. 1926) Г. И. Чулковым, в значительной степени перевод из Ламартина ловек. Лорду Байрону»); Чулков положил здесь «какой-то иностранный зец», но знаменитого размышления артина не узнал.

Н. Лернер.

Н. Егоров. Записки сол-'а Берналя Диаза. 2-е изд. во «Брокгауз-Ефрон». Лгр. 1928. 206. Ц. 1 р. 30 к.

рналь Диас (а не Диаз) дель Кастильо, рого солдатом можно назвать лишь льшой натяжкой, был один из первых нских конкистадоров, прибывших вый свет. Под командой Кортеса он гвовал в завоевании Мексики. В ста-, удалившись на покой, он написал о к походах, и его «Достоверная история вания Нозой Испании» действитель-казалась достоверной, надежной кни-представляющей собою самый обиль-источник сведений о деяниях Кортеса товарищей. Диас участвовал в 119, чем похвалиться мог, впрочем, не он. Зато один он из 550, отправившихся 'е с Кортесом, оказался писателем, м талантливым. Не особенно скром-умеющий ценить себя, он едва ли гревал в себе литературное дарование. него было о чем вспомнить, да и оби-он был незаслуженным забвением. чно, Кортес был человек великолеп-но нехорошо поступил Гомара, что й «Хронике» не воздал должной чести подвижникам. Впрочем, не беда, уте-себя старик: мы участвовали в вели-целе: «Что нам осталось, и что от сталось? Все!»

› книга читается, как волшебная а, которая тем чудеснее, что в ней жи, и что ей уже не суждено повто-я нигде на земле. Жаль только, что Н. Егорове честный Диас нашел ьно сомнительного проводника к рус-читателю. Как ни длинны его за-, их гораздо приятнее было бы чи-в хорошем переводе, чем в полупересказе Д. Н. Егорова. Если уж сокращать книгу, то лучше было бы отбросить описание некоторых стычек, чем характеристики наиболее выдающихся конкистадоров: Диас так мастерски рисует портреты. Удручает читателя и редакторская малограмотность. «Алонсо имел чалую лошадь, се-то Кортес и выменял для него (?) за галуны», — очевидно, Кортес выменял лошадь для себя. «Высказав свое сожаление за события»... «Впереди мерещит (?!) сам великий град Мексико»... Не лучше язык и второй части, которую мы читали в первом издании (второе еще не вышло). «Нас было исчезающе мало»... «Сколько ни бросали бревен и сучей»... В устах Берналя Диаса курьезно звучат «решпект», «сия виктория». Это жалкие покушения косноязычного пересказчика на «сказовый стиль». В конце своего повествования русский Диас просит читателя не «злоключать» на основании его слов, т. е. не выводить дурных заключений. Такой пересказ в самом деле последнее злоключение, постигшее Диаса в нашем отечестве.

Н. Лернер.

Н. К. Пиксанов. Областные культурные гнезда. Историко-краеведческий семинар. Гиз. Москва 1928. 148 стр. Тир. 3 000.

Н. К. Пиксанова уже давно занимает проблема областных культурных гнезд. Еще в 1913 г., в книжке «Три эпохи», им предложена была тема о Воронежском культурном гнезде. С тех пор он неоднократно выступал в печати с новыми аргументами в пользу изучения областных культур и с предложением новых тем и заданий по этому вопросу. В рецензируемой книге подведены итоги прежним размышлениям, полнее обоснованы и тщательнее продуманы высказывавшиеся ранее принципиальные соображения, а в сопровождающих книгу темах дана широкая и очень ценная программа для самостоятельной проработки намеченных во введении вопросов.

Следует всячески приветствовать плодотворную инициативу автора, ставшего на путь изучения местных культур еще

тогда, когда такое изучение было совсем внове. Если в применении к старинному периоду русской литературы и истории такие попытки делались (преимущественно в трудах Буслаева, Пыпина, Костомарова, Келтуялы), то новое и новейшее время в этом отношении почти не было затронуто, и Н. К. Пиксанову, собственно, принадлежит почин в этом живом и насущном деле. Как историк литературы, автор естественно уделяет преимущественное внимание словесному творчеству, но им не обойдены факты, относящиеся и к искусству живописному, архитектурному, театральному; привлекается и публицистика и местные культурные движения в широком смысле. Это в одинаковой степени относится как к вступительным статьям, так и к иллюстрирующим их темам. Северно-русский культурный центр характеризуется, напр., не только деятельностью Ломоносова, но и работами скульптора Шубина, и состоянием поморского искусства вообще — его иконописи, зодчества, устной поэзии; сообщаются сведения о промышленной жизни русского Севера XVIII в. и т. д. Все эти данные в совокупности помогают нам уяснить закономерную связь такого огромного культурного явления, как Ломоносов, с культурными традициями и экономикой Поморья. В результате знакомства с другими местными культурами — ярославской, воронежской, саратовской, казанской и пр. — углубляется понимание литературного пути целого ряда деятелей, выходцев из провинциальных центров — Волкова, Кольцова, Никитина, Чернышевского, С. Аксакова, поэта Каменева и мн. других. Литературная деятельность Гоголя во многом находит себе объяснение лишь в результате обследования местной украинской жизни, с которой Гоголь был тесно связан. Изучение провинциальных культур, как показывает Н. К. Пиксанов, тем более настоятельно необходимо, что они в значительной мере влияли на культуры столичные, занимая порой рядом с ними не только равноправное, но иногда и преобладающее положение, как это было, напр., в 60-х гг. и позднее. Плодотворным представляется нам и принятое Н. К. Пиксановым распределение отдельных деятелей культуры по признаку их связи с усадьбой, столицей или провинцией и тем самым, в разрезе уже не чисто литературном, а бытовом, — по признакам социальным.

Что касается тем, предлагаемых Н. К. Пиксановым для самостоятельной проработки (их более 70), то они в общем подобраны весьма удачно, широко захватывают разнообразные проблемы преимущественно литературного краеведения, снабжены почти исчерпывающей библиографией и удачно составленными вопросниками. Самая постановка тем и сопровождающий их вспомогательный аппарат свидетельствуют о большой эрудиции автора и о его широких научных перспективах — качества, которыми автор зарекомендовал себя и в предшествующих своих пособиях (напр., «Два века русской литературы», «Старорусская повесть» и др.), прекрасно ориентирующих в очередных задачах историко-литературных и историко-культурных изучений.

В предисловии к книге Н. К. Пиксанов оговаривается, что он сознательно не стремится к тому, чтобы исчерпать всю тематику областного искусствоведения частью по меньшей осведомленности в некоторых вопросах, частью по недостатку места и времени. Но следует сказать, что существенное и важнейшее отмечено и разъяснено. Пожалуй, следовало бы уделить больше внимания нижегородскому культурному гнезду, которое автор минует в своем обстоятельном введении (впрочем, среди тем есть две, посвященные этому гнезду). Кое-какие темы поставлены слишком широко и общё, как, напр., «Борьба за украинскую культуру в царской России», «Белорусская культура и литература». Тема «Областные культурные центры в допетровской Руси» выиграла бы, если бы ее разбить на ряд частных тем (помимо указанных автором имен, по этому вопросу писали еще Буслаев, Пыпин, Коноплев, Кадлубовский и др.). Роль областного принципа в нашей старинной культуре очень наглядно дает себя знать в деятельности так называемых западно-русских братств, упоминание о которых в книге отсутствует. То же нужно сказать и о местном летописании, в частности сибирском, о литературе старообрядцев, в ряде случаев обличающей черты

областного приурочения. Плодотворным является также изучение провинциальных аучных обществ и организаций, главным бразом былых губернских архивных коиссий, группировавших вокруг себя учеую интеллигенцию края. Наконец, некоэрые темы (очень немногие) недостаточно набжены библиографическими указаиями. Таковы — «Литература общерусая и украинская», «Гастроли украинских оупп на великорусских сценах», «Петерург и Москва» (для этой темы, между эочим, очень полезны неуказанные Москва в истории и литературе», сборник, оставленный М. Коваленским, изд. «Униерсальной библиотеки», М. 1916, и «Душа етербурга» Анциферова). Две темы: Украинское культурное влияние в Велироссии в XVIII в.» — существенные анные в статье академика Перетца, Описи монастырских библиотек XVII в. спорные вопросы истории древней русской литературы» («Slavia», т. III). омимо работы С. Золотарева о писаелях-ярославцах должны быть приняты внимание и те его статьи, посвященные эоблемам областных культур, которые ечатались на страницах журнала «Родой язык в школе».

Все это, однако, лишь частные замечаия и дополнения, возможность и желаьность которых оговаривает сам автор. алочисленность их и сравнительная несуественность в общем плане работы — ишь лучшее подтверждение значительной нности книги Н. К. Пиксанова.

Н. Гудзий.

Г. Картер и А. Мейс. Тутанхамон. обница египетского фараона, открыя Карнарвоном и Картером. С прилоением статей профессоров Флитра и Г. Штейндорфа. Перевод с немецго А. Г. Горнфельда. Государственное дательство. Москва — Ленинград 1927 г. р. 138. Ц. 2 руб.

Египет непрестанно обогащает науку новыми и новыми дарами; его насыенная древностями почва в этом отноении неистощима. Одно блестящее отытие сменяет другое. И среди этих отытий нашего времени одно из первых мест принадлежит гробнице фараона Тутанхамона, обнаруженной в 1922 г. английским исследователем Картером. После длительных поисков в «долине царей» найдено было место вечного успокоения того египетского фараона, которому суждено было прославиться гораздо более после смерти и через ряд веков, нежели во время своего достаточно тусклого, кратковременного царствования. Само вскрытие гробницы, оказавшейся не разграбленной и лишь частично потревоженной (до сих пор гробницы фараонов открывались сильно разграбленными), вызвало громкий успех не только среди специалистов, но и среди широкой публики. О ходе раскопок сообщались телеграфные сведения во всех европейских газетах; на месте кружились тучи корреспондентов, репортеров, фотографов и т. д. Каждый вновь открытый предмет вызывал сенсацию. Создавались легенды, своего рода «героические сказания»; чего, например, только ни было написано о смерти Карнарвона, не то укушенного каким-то злокачественным москитом, не то быстро скошенного тропической малярией. Здесь фигурировали и заклятие фараоновой гробницы, и месть святотатцу через чреду столетий и т. п. Одним словом, новооткрытая гробница фараона была в моде, пожалуй, ничуть не меньше, чем прославленная в кино «Индийская гробница».

Но, помимо всех этих сенсаций и шумихи, сделано было действительно выдающееся по своему научному значению открытие. Гробница Тутанхамона оказалась наполненной богатейшими первоклассными вещами. Можно сказать, что здесь был открыт целый археологический музей с предметами, нередко уникального значения.

Если в открытых в первую очередь комнатах-кладовых вещи оказались в некотором беспорядке, свидетельствующем о попытке ограбления, тогда же ликвидированной, то покои, где находились саркофаги с останками фараона, сохранились в полной неприкосновенности. Весь пышный убор погребения был налицо. Количество обнаруженных вещей, как уже сказано, огромно. Здесь оказались собранными памятники искусства и быта,

превосходные предметы из золота, серебра и алебастра и т. д. Все это богато изукрашено и разнообразно орнаментировано. Блеск золота и драгоценных камней ослеплял при входе в гробницу. Человекообразные саркофаги (их было целых три), в которых покоился Тутанхамон, отличаются изумительной работой; из них последний был из массивного золота. Обращает особое внимание золотая маска фараона, передающая черты его лица. Трудно даже отметить, какие из найденных предметов наиболее интересны; весь комплекс их заслуживает всяческого внимания. Следует упомянуть о троне с великолепно расписанной спинкой, о чудеснейших алебастровых сосудах для благовоний, о кубках, парадных колесницах, ожерельях, любопытнейшем панцыре, изумительном ларце с замечательным изображением царской охоты и т. д. и т. д. Одним словом, какого предмета ни коснешься, каждый представляет исключительное значение. Да и немудрено. Сама эпоха, к которой относится правление Тутанхамона, одна из примечательнейших в истории Египта. Это — закат так ярко блеснувшей Эль-Амарнской эпохи, времени расцвета египетской экспансии, громкой военной славы и широких иноземных восприятий. Амарнское искусство впитывает многие эгейские и переднеазиатские мотивы, нарушающие вековые каноны традиционного египетского искусства. К этому же времени относится и смелая попытка предшественника Тутанхамона, фараона Эхпатона, установить культ солнечного диска (солярное единобожие) и нанести удар всесильному фиванскому жречеству Амона, разрушив старые храмы и конфисковав обильное храмовое имущество. Религиозная реформация фараона — «романтика и идеалиста» — имела определенные реальные основы. Но реформа не пережила реформатора, и в роли восстановителя порядка и реставратора старой религии выступил Тутанхамон. Он правил недолго и, повидимому, был послушной игрушкой в руках жрецов. Но все же вкусы Амарнской эпохи, стиль ее искусства дают себя знать. Все вещи тутанхамоновой гробницы отличаются изысканностью и утонченностью, отличающейся от величественного благолепия традиционных фараоновых погребений. Открытие гробницы Тутанхамона дает богатый материал для истории египетской культуры и египетского искусства.

Книга ближайших руководителей раскопок, Г. Картера и А. Мейса, написана живо и увлекательно. Авторы в яркой и доступной форме знакомят со всеми перипетиями произведенной работы и не могут не заразить даже равнодушного к археологическим сюжетам читателя своим энтузиазмом и подъемом. К большому сожалению, сочинение названных авторов появилось на русском языке в сокращенном виде. Переведен лишь первый том.

Обстоятельно и со знанием дела написана статья Флитнера. Что касается статьи Штейндорфа, то она подверглась таким переделкам и исправлениям, что от первоначального текста осталось немного.

Правильнее было бы дать оригинальную вводную статью. Рисунки (опять-таки не все из подлинника) подобраны не плохо, но воспроизведены не всегда удачно.

Внешне книга издана хорошо.

И. Бороздин.

В. Левицкий (В. О. Цедербаум). За четверть века. Революционные воспоминания. Том I. Ч. 1. Предисловие Н. Мещерякова. Гиз. 1926. Стр. 168. Цена 1 р. 35 к. Тираж 5 000. Ч. II. Предисловие П. Лепешинского. 1927. Стр. 220. Цена 1 р. 75 к. Тираж 4 000.

Автор воспоминаний — младший брат известного меньшевистского лидера Мартова и сам один из крайних меньшевиков-ликвидаторов. Тем не менее, мемуары его написаны в довольно объективном духе — по крайней мере, до сих пор. Его воспоминания пока кончаются первыми проявлениями раскола в РСДРП и касаются того периода, в течение которого будущие большевики и меньшевики более или менее согласно работали в рамках единой организации. Удастся ли автору и в дальнейшем выдержать этот тон, увидим, хотя, по правде сказать, сильно в этом сомне-

ваемся, ибо самый предмет не допускает спокойствия летописца.

Принадлежа к семье, в которой почти : молодые члены принимали то или иное астие в начинавшемся рабочем движе-и, автор воспоминаний с детских лет азался вовлеченным в сферу полити-:ких интересов и видел много. Кроме › личных товарищей и знакомых перед м в разное время проходили товарищи сотрудники его старших братьев Юлия артова) и Сергея (Ежова). Таким обра-и для его наблюдательности раскры-пось широкое поле, а нужно сказать, › наблюдательности этой он не лишен. рактеристики и описания, которые он :т людям, попадавшим в поле его зре-я, при всей их краткости и суммарности :нь часто позволяют читателю составить іе представление об упоминаемых авто-и лицах. А касается он так или иначе іти всех главных деятелей первого пе-эда рабочего движения, и не только эавших руководящую роль, но и сред-‹ и даже рядовых участников этого дви-ния — по крайней мере, в тех местах, :оторых ему самому пришлось бывать и іствовать. А побывал он и в Петербурге, Западном крае, и на юге (в Харькове, лтаве, Екатеринославе). Таким образом ‘атель встретит на страницах его воспо-іаний, с одной стороны, таких деятелей, ‹ Ленин, Мартов, В. Ногин, Кржижа-іский, Ванеев, Старков, Дан, а с другой— ‹ скромных рабочих, незаметных участ-‹ов движения, придававших ему проле-ский характер и обусловивших его внительно массовый масштаб.

Іервая часть I тома воспоминаний Ле-‹кого охватывает вторую половину 90-х ов, период назревания революционных троений в рабочих массах и психоло-ески связанных с ними кругах еллигенции. Перед читателем прохо-первые массовые забастовки питер-го пролетариата, организация «Союза ьбы за освобождение рабочего класса» других более мелких марксистских жков, студенческие вечеринки, аре-первых деятелей рабочего движения, ксистские легальные журналы «Но-слово» и «Начало», появление ревизи-зма на русской почве («экономизм»), ало «Искры», студенческое движение конца 90-х годов, заимствовавшее у пролетариата его основной способ борьбы — забастовку, первые публичные демонстрации, начальные шаги самого автора на политическом поприще, его арест и высылка из столицы.

Вторая часть I тома рассказывает о работе автора в двинской организации Бунда, а затем в Кременчугском комитете РСДРП, далее в полтавской организации «Искры», в Харькове, в Екатеринославе, и заканчивается описанием первых проявлений партийного раскола и отъездом автора за границу в целях ближайшего ознакомления с действительным характером и причинами вспыхнувших в искровских рядах разногласий.

С чисто литературной стороны первая часть, посвященная розовым дням юности как описываемого движения, так и автора воспоминаний, производит более свежее впечатление, чем вторая. И это естественно. И у Толстого «Детство» лучше «Отрочества» и «Юности», и у Гарина-Михайловского «Детство Темы» много лучше «Гимназистов» и особенно «Студентов». Но со стороны злобы дня вторая часть, трактующая об уже оформившихся проявлениях рабочего движения, предвещавших как революцию 1905 г., так и революцию 1917 г., содержит материалы, сильнее затрагивающие современного читателя. И здесь автор, невольно для себя, сообщает пикантные сведения, позволяющие предугадать грядущую эволюцию его самого и некоторых милых его сердцу персонажей.

Вот, напр., он рассказывает (стр. 41-42) о своем знакомстве с Р. А. Рейном, впоследствии одним из главных лидеров меньшевизма, известным под именем Р. Абрамовича, а в то время студентом, только начинавшим свою политическую карьеру. Конечно, подобно другим симпатичным автору деятелям, Рейн блещет всеми физическими, умственными и нравственными достоинствами. Но у него был и маленький недостаток: он был проникнут симпатиями к бернштейнианству. Это, впрочем, не помешало ему через два с чем-то года сделаться членом ЦК Бунда, а затем и меньшевистской партии, где он до сих пор остается главным украшением.

Или вот автор рисует фигуру Е. Я. Левина, редактора «Южного рабочего»,

затем члена ОК по созыву II съезда и участника этого съезда, примкнувшего после раскола к меньшевикам. Опять-таки пропускаем перечисление всех достоинств этого деятеля. Но вот что замечательно. Левин, по словам мемуариста, «прекрасно знал Маркса и марксистскую литературу и в борьбе между ортодоксами и ревизионистами был всецело на стороне первых» (стр. 90). Однако оказывается, что слово «всецело» употреблено автором всуе, для красоты слога, ибо через несколько строк он неожиданно сообщает, что, «отличаясь самостоятельностью и оригинальностью мышления», Левин в философии склонялся «к кантианству, в частности принимая учение Канта о нравственности». А это кстати показывает, что не только Левин, но и сам автор воспоминаний очень плохо разбирался в спорах между «ортодоксами» и «ревизионистами», которые в первую очередь пытались подменить материализм какой-либо разновидностью идеализма и особенно кантианством. После революции 1905 г. Левин отошел от движения и перешел в лагерь врагов пролетариата, сделавшись юрисконсультом Общества южных горнопромышленников, но какую философскую систему он тогда разделял, об этом история умалчивает.

И еще один факт из той же области. В Кременчуге автор в начале 1902 г. сходится с М. А. Бовшеверовым и его женой, вместе с которыми основывает местный комитет партии. Так вот, хотя этот Бовшеверов «в это время считал себя социалдемократом, но марксистом в полном смысле слова его назвать было нельзя. Он сочувственно относился к ревизионистским теориям Бернштейна, доказывал необходимость этического обоснования социализма и подходил к рабочему движению как революционер-идеалист заговорщического типа» (стр. 50). Казалось бы, фигура довольно определенная. Но у автора хватает наивности после изложения организационных взглядов Бовшеверова прибавить: «При этом он высказывал взгляды на роль и значение «профессиональных революционеров» и конспиративной централизованной революционной организации, сходные с теми, которые более ярко и глубоко были развиты вскоре Лениным в его известной книге «Что делать?». А по передаче Левицкого Бовшеверов доказывал, что заниматься массовой агитацией в Кременчуге не имеет смысла и что лучше заняться подготовкой отдельных революционеров для рассылки их по другим городам. Что общего имело это со взглядами Ленина, остается тайной автора.

Этим и другими замечаниями автор только свидетельствует о том, что те элементы, из которых впоследствии составилась меньшевистская партия, уже в то время плохо разбирались в марксизме и, субъективно считая себя марксистской, на деле были ничем иным, как разновидностью мелкобуржуазной демократии. «По своему настроению и взглядам, — говорит он (стр. 55), — все мы, за исключением Маргулиса, несколько тяготевшего к «экономизму», в большей или меньшей степени были искровцами или, по крайней мере, сторонниками политической агитации». Даже не желая придираться к словам, мы должны сказать, что этого мало. Кто не был тогда сторонником политической агитации? И эсеры, и будущие кадеты, и кто угодно! Поэтому автор прав, когда говорит, что он и его товарищи были искровцами «в большей или меньшей степени». И дальнейшая их эволюция показала, что они были таковыми скорее в меньшей, чем в бóльшей степени.

На мелких неточностях воспоминаний Левицкого останавливаться не стоит. Кое-какие из них, впрочем, отметить не мешает. Так, неизвестно на каком основании автор заявляет, что меньшевик В. Розанов «играл заметную роль в революции 1917 года» (стр. 96). Мы что-то этого не помним. Кстати заметим, что автор, обыкновенно сообщающий дальнейшую историю упоминаемых им лиц, для Розанова делает исключение и, указав на его мнимую роль в 1917 г., ставит на этом точку. Вероятно, ему не хочется упомянуть о последующей «роли» этого меньшевистского цекиста, арестованного в 1920 г. на квартире юденического шпиона В. Штейнингера и судившегося в Москве по делу «Тактического центра».

На стр. 119 Левицкий рассказывает, что сторонники и агенты «Искры», входя в состав местных комитетов, часто уделяли очень мало внимания массам, сосредоточивали свою энергию на проведении в

комитетах резолюций сочувствия «Искре», влияли на комитет в ее духе и корреспонировали в «Искру», но по конспиративым соображениям избегали работы в масах. Это — явное преувеличение. Вряд ли го было общим правилом. Иначе искровы не добились бы победы. То, что нам звестно об их работе из других источиков, противоречит сообщению Левицого, который в данном случае явно обобщает собственный опыт.

Мы уже отмечали объективный тон, коэрого старается держаться автор. Но, азумеется, активный участник описываеых событий время от времени в нем проывается, особенно когда он, сообщая биоафические данные о последних годах изни своих персонажей, невольно забеет вперед и касается событий пережиемой нами жгучей эпохи. Правда, он здесь старается говорить тоном летописι, но нельзя сказать, чтобы он при этом покойно зрел на правых и виновных». а для него, как боевого меньшевика, это психологически невозможно. Так, расазывая о невероятно идеализируемом ι известном ликвидаторе Б. Цетлине атурском), он замечает: «Внутренний онь веры и воспринятые им в юности идеы продолжал (продолжали?) гореть в м ровным и сильным светом, пока не был гушен (не были затушены?) внешнею лою» (стр. 46). А на стр. 64 поясняется, э Цетлин во время войны сделался «оборонцем», работал в Рабочей группе при военно-промышленном комитете, в конце 1917 г. вышел из состава меньшевистского ЦК (ясно, что для него и этот ЦК был слишком левым), участвовал в литературных и других предприятиях «оборонцев», т. е. крайнего боевого крыла меньшевиков, и в декабре 1920 г. умер в Витебской тюрьме от сыпного тифа. Значит, Батурский в последние годы жизни стал боевым контрреволюционером, для которого даже меньшевистская партия представлялась чем-то неслыханно революционным и крайним, участвовал в активной борьбе против пролетарской диктатуры (и это во время интервенции и гражданской войны!) и был арестован органами советской власти («внешней силой», по словам Левицкого). Вот к чему свелись «внутренний огонь веры» (во что?) и юношеские «идеалы»! Единомышленнику этого своеобразного «идеалиста» по человечеству дозволительно живописать своего героя в таких ярких красках, но Госиздату или авторам предисловий к воспоминаниям Левицкого следовало бы снабжать подобные места, — а их в книге не мало, — своими пояснениями.

Несмотря на эти неизбежные недостатки воспоминаний Левицкого, в общем работа его представляется крайне интересной, и мы с нетерпением ждем ее продолжения.

Ю. С.

Редакционная коллегия: Вл. Васильевский. Вс. Иванов. Ф. Раскольников. В. Фриче.

Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4; тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ

Стихи

За рубежом

От земли и городов

Литературные края

Критика и библиография